МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

АЛЕКСНДР МИХЙЛОВИЧ ОРЛОВ

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ



А. М. Орлов

Тайная история сталинских преступлений



Москва-Берлин
2015

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6
О66

Орлов, А. М.
О66 Тайная история сталинских преступлений / А. М. Орлов. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 423 с.

ISBN 978-5-4475-5748-5

Имя Александра Орлова (настоящее имя – Лев Лазаревич Фельбин, 1895–1973 гг.) было широко известно в кругах советской и международной разведки, где его до сих пор считают не только выдающимся теоретиком и практиком разведывательной работы, но и самым разносторонним, сильным и продуктивным советским разведчиком.

Опасаясь репрессий, Орлов вместе с семьей ухал в США, где написал книгу, разоблачающую преступления Сталина. Своей задачей автор ставил предать гласности тайную историю преступлений, совершённых Сталиным, и таким образом восстановить те недостающие звенья, без которых трагические события, произошедшие в СССР, приобретают характер неразрешимой загадки.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-4475-5748-5



Александр Михайлович Орлов (в отделе кадров НКВД значился как Лев Лазаревич Никольский, в США – Игорь Константинович Берг, настоящее имя – Лев (Лейб) Лазаревич Фельдбин; 21 августа 1895 года, Бобруйск, Минская губерния – 25 марта 1973 года, Кливленд, штат Огайо) – советский разведчик, майор госбезопасности (1935). Нелегальный резидент во Франции, Австрии, Италии (1933–1937), резидент НКВД и советник республиканского правительства по безопасности в Испании (1937–1938).

Неразгаданная тайна Орлова

Лев Никольский, Александр Берг, Вильям Годин, «Швед» – всё это псевдонимы одного человека: Льва Лазаревича Фельбина (1895–1873). Но в кругах советской и международной разведки он официально фигурировал как Александр Орлов. Под этим именем он и вошёл в историю спецслужб, где его до сих пор считают не только выдающимся теоретиком и практиком разведывательной работы, но и самым разносторонним, сильным и продуктивным советским разведчиком. Лев Фельбин родился в Бобруйске, в ортодоксальной еврейской семье торговца лесом. Доходы отца были невелики, но мальчик получил неплохое образование. С детства он мечтал стать кавалеристом. Конечно, в условиях царской России это было нереально. Родители хотели видеть сына адвокатом, и он согласился. Но тут началась война, и учёбу пришлось прервать. Льва призвали в армию и вскоре направили в военное училище. Октябрьскую революцию прапорщик Фельбин встретил с восторгом. Он вступил в партию большевиков и принял активное участие в гражданской войне. Потом попал в особый отдел 12-й армии, где его, умного, способного, физически хорошо развитого, заметили и вскоре назначили начальником контрразведки. На молодого человека обратил внимание и Дзержинский, который пригласил Фельбина на службу в ЧК. Нового сотрудника направили в Архангельск, в погранвойска. Здесь он познакомился с прелестной девушкой Марией Рожнецкой, которая стала не только его женой, но и другом, помощником на всю жизнь. Вскоре Фельбина-Орлова перевели в Москву. Работая в центральном аппарате, он осуществил мечту своих родителей – закончил юрфак МГУ, после чего получил назначение на пост командующего погранвойсками Закавказья. Здесь, кстати, он был представлен Сталину и Берии. Уже че-

рез год Орлова забирают в ИНО (иностранный отдел) ОГПУ. Он становится кадровым разведчиком-нелегалом. Главная задача, которую поставило руководство перед резидентом, – создание разветвлённой, хорошо законспирированной разведывательной сети в ряде европейских стран. Так в Германии появилась созданная Орловым легендарная «Красная капелла», которая в течение длительного времени снабжала СССР ценнейшей информацией, позволившей максимально приблизить победу над фашизмом. Разведывательную сеть, располагавшую связями в высших кругах британского общества, Орлов внедрил и в Англии. В течение тридцати лет в СССР отсюда поступали сведения, какими не располагали даже союзники Великобритании. По слухам, учитывая такие успехи, Льва Лазаревича хотели назначить руководителем ИНО, но тут вмешалась… любовь. Одна из сотрудниц НКВД влюбилась в Орлова и стала его преследовать. Когда он отверг все притязания женщины, в том числе и требование оставить семью, она покончила с собой. Чтобы замять дело, Орлова направили в Испанию. В 1936 году он становится резидентом советской разведки, руководит партизанским движением в тылу мятежников, по приказу из Москвы ищет и уничтожает троцкистов. Выполняя личное указание Сталина, Орлов организовал отправку в СССР испанского золотого запаса, за что был награждён орденом Ленина. Между тем, с родины приходили всё более и более тревожные вести. Раскрутившийся маховик репрессий перебросился и на чекистов: одних расстреливали по скоротечным приговорам, другие погибали при странных обстоятельствах, третьи просто исчезали… В мае 1938-го, в Антверпене, Орлову приказали явиться на борт советского судна, где вроде бы должно было проводиться ответственное совещание. Разведчик понял, что это ловушка. Он

подтвердил Москве своё согласие, а сам, забрав жену и дочь, через Францию и Канаду выехал в США. Затем переправил Сталину и Ежову два одинаковых письма. В них он предупреждал, что провалит агентуру многих стран, если семью или родственников, оставшихся в СССР, будут преследовать. Сталин распорядился оставить родственников мятежного резидента в покое. Однако решение это держалось в секрете. В том числе и от Орлова, семья которого меняла в США города и квартиры, опасаясь агентов НКВД. Злой рок преследовал разведчика со всех сторон. В 1940-м умерла его единственная и горячо любимая дочь Вера. Спустя ещё какое-то время ушли из жизни его мать и тёща. Больше опасаться было, очевидно, не за кого. И тогда Орлов пишет книгу, разоблачающую преступления Сталина. Первые публикации отрывков из этой книги в журнале «Лайф» были подобны взрыву. «Взрывная волна» докатилась и до директора ФБР Гувера. Дело Орлова назначается к слушанию в комиссии по безопасности… Но подследственный был во всеоружии: за 15 лет жизни в США легенда, которую тщательно продумал для себя Орлов, оказалась неуязвимой. На допросах Александр вёл себя спокойно и уверенно. Не скрывая того, что скрыть было нельзя, он ничего конкретного не говорил о советских разведчиках. В доказательство того, что не преследовал троцкистов, привёл выдержки из письма, которым лично предупреждал Троцкого о готовящемся на него покушении. Но Троцкий не поверил, и это стоило ему жизни. Рассказал Орлов и о том, как было вывезено испанское золото, как по указанию Сталина было начато печатание фальшивых американских долларов, но вскоре от этой затеи почему-то отказались. После сенатских слушаний Орловых, наконец, оставили в покое. Больше они не скрывались. Кроме преподавательской деятельности в Мичиганском уни-

верситете, он написал и опубликовал вторую книгу – «Руководство по разведке и партизанской войне». Но в один прекрасный день он встретился с посланцем КГБ, который предложил бывшему разведчику вернуться в Москву. Орлову посулили солидную генеральскую пенсию, квартиру в центре, почёт и уважение. При этом посланец подчеркнул, что Центр никогда предателем его не считал, что его заслуги перед советской разведкой оцениваются очень высоко. Можно лишь гадать, насколько искренним был представитель Москвы. Но Орловы отказались, сославшись на возраст и нежелание покидать могилу дочери. В 1971 году от сердечного приступа умирает Мария, через два года – Лев. Ныне все документы Орлова хранятся в Национальном архиве США. Есть они и в архиве КГБ-ФСБ. Но многое остаётся засекреченным, а то, что «просачивается», – зачастую преднамеренно искажается. Одни считают Александра Орлова верным рыцарем революции, другие – разведчиком-профессионалом экстра-класса. Кем считал себя он сам, мы вряд ли узнаем.

Предисловие

Я не принадлежу к какой бы то ни было политической партии или группе. В этой книге я не преследую никаких политических или узкопартийных целей. Моя единственная задача – предать гласности тайную историю преступлений, совершённых Сталиным, и таким образом восстановить те недостающие звенья, без которых трагические события, произошедшие в СССР, приобретают характер неразрешимой загадки.

Вплоть до 12 июля 1938 года я был членом Всесоюзной коммунистической партии, и советское правительство последовательно доверяло мне ряд ответственных постов. Я принимал активное участие в гражданской войне, сражался в рядах Красной армии на Юго-восточном фронте, где командовал партизанскими отрядами, действовавшими в тылу врага, и отвечал также за контрразведку.

Когда гражданская война кончилась, ЦК партии назначил меня помощником прокурора в Верховный суд. Здесь я принимал участие, между прочим, в разработке первого советского уголовного кодекса.

В 1924 году я был назначен заместителем председателя Экономического управления ОГПУ (в дальнейшем получившего наименование НКВД). На меня были возложены государственный надзор за реконструкцией советской промышленности и борьба со взяточничеством. Затем меня перебросили в Закавказье, в погранвойска, и я начал командовать подразделением, которое несло охрану границы с Ираном и Турцией.

В 1926 году меня назначили начальником экономического отдела Иностранного управления ОГПУ и уполномоченным госконтроля, отвечавшим за внешнюю торговлю.

1936 год ознаменовался началом гражданской войны в Испании. Политбюро направило меня туда – со-

ветником республиканского правительства – для организации контрразведки и партизанской войны в тылу противника. В Испанию я прибыл в сентябре 1936 года и оставался там до 12 июля 1938 года – дня, когда я порвал со сталинским режимом.

На тех должностях, что я занимал в ОГПУ-НКВД, мне удалось собрать, а затем и вывезти из СССР совершенно секретные сведения: о преступлениях Сталина, совершённых им, чтобы удержать в своих руках власть, о процессах, организованных им против вождей Октябрьской революции, и о его отношениях с людьми, чью гибель он подготовил.

Я записывал указания, устно даваемые Сталиным руководителям НКВД на кремлёвских совещаниях; его указания следователям, как сломить сопротивление сподвижников Ленина и вырвать у них ложные признания; личные переговоры Сталина с некоторыми из его жертв и слова, произнесённые этими обречёнными в стенах Лубянки. Эти тщательно скрываемые секретные материалы я получал от самих следователей НКВД, многие из которых находились у меня в подчинении. Среди них был мой бывший заместитель Миронов (в дальнейшем – начальник Экономического управления НКВД, ставший одним из главных орудий Сталина при подготовке так называемых московских процессов) и Борис Берман, заместитель начальника Иностранного управления НКВД.

В своих преступлениях Сталин не мог обойтись без надёжных помощников из НКВД. По мере того как рос список его злодеяний, увеличивалось и число соучастников. Опасаясь за свою репутацию в глазах мира, Сталин решил в 1937 году уничтожить всех доверенных лиц, чтобы никто из них не смог выступить в будущем свидетелем обвинения. Весной 1937 года были расстреляны без суда и следствия почти все руководители

НКВД и все следователи, которые по его прямому указанию вырывали ложные признания у основателей большевистской партии и вождей Октябрьской революции. За ними последовали в небытие тысячи энкаведистов – те, что по своему положению в НКВД могли в той или иной степени располагать секретной информацией о сталинских преступлениях.

Будучи в Испании, я узнал об аресте Ягоды, наркома внутренних дел. Там же до меня дошли известия об уничтожении всех моих бывших друзей и коллег, и, казалось, вот-вот наступит моя очередь. Тем не менее, я не мог открыто порвать со сталинским режимом. В Москве у меня оставалась мать, которая; согласно варварским сталинским законам, рассматривалась властями как заложница и которой угрожала смертная казнь в случае моего отказа вернуться в СССР. Точно в таком же положении была и мать моей жены.

На фронтах Испании, особенно, когда я выезжал во фронтовую зону при подготовке наступления республиканских войск, я часто оказывался под сильной вражеской бомбёжкой. В эти минуты я не раз ловил себя на мысли, что, если меня убьют при исполнении служебных обязанностей, угроза, нависшая над моей семьёй и нашими близкими, оставшимися в Москве, сразу рассеется. Такая судьба казалась мне более привлекательной, чем открытый разрыв с Москвой.

Но это было проявлением малодушия. Я продолжал свою работу среди испанцев, восхищавших меня своим мужеством, и мечтал о том, что, быть может, Сталин падёт от руки одного из своих сообщников или что ужас кошмарных московских «чисток» минует как-нибудь сам собой.

В августе 1937 года я получил телеграмму от Слуцкого, начальника Иностранного управления НКВД. В ней сообщалось, что секретные службы Франко и гит-

леровской Германии разработали планы моего похищения из Испании, чтобы выпытать у меня сведения о размерах помощи, оказываемой испанцам Советским Союзом.

Слуцкий сообщал также, что НКВД собирается прислать мне личную охрану из двенадцати, человек, которая отвечала бы за мою безопасность и сопровождала меня во всех поездках. Мне тотчас пришло в голову, что в первую очередь этой «личной охране» будет поручено ликвидировать меня самого. Я телеграфировал Слуцкому, что в личной охране не нуждаюсь, поскольку мой штаб круглосуточно охраняется испанской «гражданской гвардией», а за его пределами во всех поездках меня сопровождают вооружённые агенты испанской тайной полиции. Это, кстати, соответствовало действительности.

Советская личная охрана так и не была прислана, однако этот случай меня насторожил. Я начал подозревать, что Ежов, новый нарком внутренних дел, по-видимому, приказал своим секретным «подвижным группам» убить меня здесь же, в Испании. Предвидя такой оборот, я послал во фронтовую зону одного из своих помощников с заданием отобрать из немецкой интербригады и доставить ко мне десяток преданных коммунистов, накопивших достаточный боевой опыт. Эти люди стали моими постоянными спутниками. Вооружённые автоматами и связками ручных гранат, подвешенными к поясу, они неотлучно сопровождали меня.

В октябре 1937 года в Испанию прибыл Шпигельгляс, заместитель Слуцкого. Не кто иной, как он, за три месяца до этого организовал в Швейцарии убийство Игнатия Рейсса – резидента НКВД, отказавшегося вернуться в Москву. Шпигельгляс, у которого жена и дочь оставались в Советском Союзе, фактически в роли

заложников, не был уверен в своей собственной участи и, вероятно, сам подумывал, как выйти из игры. Но это отнюдь не делало его менее опасным. У него не было в Испании никаких явных дел, и его приезд только укрепил мои подозрения, особенно когда я узнал, что он встречался в Мадриде с неким Володиным, который, как выяснилось, был прислан в Испанию Ежовым в качестве руководителя террористической «подвижной группы».

Шпигельглясу и Володину приходилось считаться с тем, что меня защищала моя собственная охрана, так что в случае покушения может возникнуть перестрелка с серьёзными потерями для обеих сторон, к чему ни тот, ни другой не привыкли. Мне пришло в голову, не приказала ли Москва Володину похитить мою четырнадцатилетнюю дочь и затем шантажировать меня, вынуждая вернуться в СССР. Мои мрачные подозрения настолько обострились, что я отправился в загородный дом, где жили жена с дочерью, посадил их в машину и отвёз во Францию. Там, недалеко от испанской границы, мной была снята для них небольшая вилла. С ними я оставил надёжного телохранителя из испанской тайной полиции, который заодно исполнял и обязанности шофера. Сам я вернулся к своей работе в Барселоне.

Я выжидал, откладывая свой разрыв с Москвой, поскольку сознавал, что, действуя таким образом, продлеваю жизнь моей матери и тёщи.

Меня всё ещё не оставляла наивная надежда, что возможны какие-то перемены, что в Москве случится что-то такое, что положит конец кошмару бесконечного террора.

Наконец, Москва сама решила за меня. 9 июля 1938 года я получил телеграмму Ежова – в то время второго человека в стране после Сталина. Мне предписывалось выехать в Бельгию, в Антверпен, и 14 июля подняться

на борт стоявшего там советского судна «Свирь» для совещания с «товарищем, известным вам лично». При этом давалось понять, что прибыть туда я должен в машине нашего парижского посольства, в сопровождении Бирюкова, советского генерального консула во Франции, который «может пригодиться в качестве посредника в связи с предстоящим важным заданием».

Телеграмма была длинной и мудрёной. Ежов и те, кто перешли вместе с ним из аппарата ЦК в НКВД, были куда менее опытны, чем прежние энкаведистские главари, ныне ликвидированные. Эти люди так старались усыпить мои подозрения и делали это так неуклюже, что, сами того не желая, выдали своё тайное намерение. Было ясно, что «Свирь» станет моей плавучей тюрьмой. Я телеграфировал ответ: «Прибуду в Антверпен в назначенный день».

12 июля мои коллеги собрались перед нашим особняком в Барселоне, чтобы попрощаться со мной. Я чувствовал: они понимают, что меня ждёт западня, и уверены, что я в неё попадусь.

Часа через два я был на французской границе. Попрощался с охраной и с агентом испанской тайной полиции, который привык повсюду сопровождать меня. Отсюда мой водитель – испанец доставил меня в гостиницу в Перпиньяне, где ждали жена и дочь. Мы сели в ночной экспресс и утром 13 июля прибыли в Париж. Я чувствовал себя так, словно сошёл с тонущего корабля, – неожиданно, без заранее подготовленного плана, без надежды спастись.

Я знал, что НКВД располагает во Франции густой агентурной сетью, и в течение сорока восьми часов агенты Ежова нападут на мой след. Значит, из Франции следовало выбираться как можно скорее.

Единственным безопасным пристанищем представлялась мне Америка. Я позвонил в американское

посольство и попросил посла, Вильяма Буллита. Был как раз канун французского национального праздника – дня взятия Бастилии, и мне ответили, что посла нет в городе. Тогда, по совету жены, мы направились в представительство Канады. Здесь я предъявил наши дипломатические паспорта и попросил канадские визы под тем предлогом, что хотел бы отправить семью в Квебек – провести там летний отпуск.

СССР не имел с Канадой дипломатических отношений, так что можно было опасаться, что представительство откажет в просьбе. Но глава представительства, оказавшийся бывшим комиссаром Канады по делам иммиграции, отнёсся к нам сочувственно. Он любезно вручил мне письмо от своего имени к иммиграционным властям в Квебеке и попросил оказать мне помощь.

Одновременно с нами в здании представительства оказался и канадский пастор, каким-то образом связанный с трансатлантическим судоходством. Он сообщил, что канадский теплоход «Монклэр» как раз сегодня отправляется из Шербура, и ещё осталось несколько свободных кают. Я бросился в билетное агентство, жена побежала в гостиницу, где оставалась дочь. Все трое мы едва успели на вокзал к отходу поезда. Но спустя несколько часов благополучно поднялись на борт теплохода, а ещё через час с небольшим – покинули Европу.

Моя дочь пускалась в это путешествие с лёгким сердцем. Она всё ещё оставалась в блаженном неведении относительно того, что произошло. Жена и я не знали, как объяснить ей, что она никогда больше не увидит своих подруг, обеих своих бабушек, родину.

Начиная с 1926 года моя работа заставляла меня большую часть времени жить за границей, и любовь моей дочери к России и родному народу ничем не была омрачена. Из-за её болезни – она страдала сустав-

ным ревматизмом – у неё было мало возможностей наблюдать реальную жизнь и о страданиях своих соотечественников, не говоря уж о жестокостях сталинского режима, она вовсе ничего не знала. Мы с женой никогда не стремились развеять её иллюзии. Ей были свойственны глубокое отвращение к малейшей жестокости и бесконечное сочувствие любому человеческому страданию. Понимая, что из-за болезни её жизнь может быть слишком коротка, мы старались утаить от неё правду – это относилось и к сталинской тирании, и вообще к несчастной доле русского народа.

Трудно было объяснить ей, что произошло с нашей семьёй. Но она поняла. Она слушала нас, обливаясь слезами. Мир, который она знала, оказался выдуманным, её иллюзии – разлетелись в пух и прах. Она знала, что её отец и мать отстаивали дело революции в гражданскую войну. Теперь ей было больно за нас. В один день она выросла и стала взрослой.

Сразу по прибытии в Канаду я написал большое письмо Сталину и копию его отправил Ежову. В нём я сказал Сталину, который лично знал меня ещё с 1924 года, что я думаю о его режиме. Но главный смысл письма был в другом. Я ставил своей целью спасти жизнь наших матерей. Умолять Сталина сохранить им жизнь, взывать к его милосердию было бесполезно. Я выбрал другой путь, более подходящий, когда речь идёт о Сталине. Со всей доступной мне решительностью я предупредил его, что если он посмеет выместить зло на наших матерях, я опубликую всё, что мне известно о нём. Чтобы показать, что это не пустая угроза, я составил и приложил к письму перечень его преступлений.

Кроме того, я предостерёг его: если даже я буду убит его агентурой, историю его преступлений немедленно

опубликует мой адвокат. Хорошо зная Сталина, я был уверен, что он примет мои предупреждения всерьёз.

Я вступил в игру, опасную для себя и нашей семьи. Но я был убеждён, что Сталин отложит свою месть до тех пор, пока не достигнет наверняка поставленной им цели: похитить меня и заставить отдать мои тайные записки. Он постарается, конечно, в полной мере удовлетворить свою жажду мести, – но только после того, как убедится, что его преступления останутся нераскрытыми.

13 августа 1938 года, ровно через месяц после исчезновения из Испании, я прибыл в Соединённые Штаты с дипломатической визой, выданной мне главой американского представительства в Оттаве.

По прибытии в США мы с моим адвокатом сразу же направились в Вашингтон. Здесь я сделал заявление комиссару по делам иммиграции о том, что порываю с правительством своей страны и прошу политического убежища.

Охота за мной началась тотчас же и продолжалась четырнадцать лет. В этом противоборстве на стороне Сталина были колоссальное политическое могущество и полчища тайных агентов. На моей стороне – только моё умение предвидеть и опознавать их уловки, да ещё самоотверженность и храбрость моих близких – жены и дочери.

Все эти годы мы избегали писать нашим матерям и даже нашим друзьям в СССР, не желая подвергать их жизнь опасности. Никаких известий об их судьбе мы не имели.

В начале 1953 года мы с женой решили, что матерей наших уже нет в живых и можно рискнуть опубликовать эту книгу. В феврале я начал переговоры о публикации некоторых разделов с одним из редакторов журнала «Лайф». Переговоры ещё шли, когда умер

Сталин. Я был страшно разочарован, что он не протянул ещё немного, – тогда бы он увидел разошедшуюся по всему миру тайную историю своих преступлений и убедился, что все его старания утаить их оказались тщетными.

Смерть Сталина не означала, что я мог больше не опасаться за свою жизнь. Кремль по-прежнему ревниво оберегает свои тайны и сделает всё, что в его власти, чтобы разделаться со мной, – хотя бы в назидание тем, кто испытывает соблазн последовать моему примеру.

Александр Орлов

Нью-Йорк, июнь 1953 г.

Провокация

1

1 декабря 1934 года молодой коммунист Леонид Николаев вошёл в здание Смольного и выстрелом из револьвера убил наповал члена Политбюро Сергея Мироновича Кирова, главу ленинградской партийной организации. Убийцу схватили на месте преступления. Из Москвы немедленно выехала в Ленинград специальная комиссия, возглавляемая Сталиным, чтобы расследовать обстоятельства убийства.

Подробности этого преступления остались неопубликованными. Кто такой был этот Николаев? Как он ухитрился пробраться в строго охраняемый Смольный? Как ему удалось приблизиться вплотную к Кирову? Какие причины толкнули его на этот отчаянный шаг – политические или личные? Все обстоятельства преступления оказались окутаны покровом глубокой тайны.

В первом правительственном заявлении утверждалось, что убийца Кирова – один из белогвардейских террористов, которые якобы проникают в Советский Союз из Финляндии, Латвии и Польши. Несколькими днями позже советские газеты сообщили, что органами НКВД поймано и расстреляно 104 террориста-белогвардейца. Газетами была начата бурная кампания против «окопавшихся на Западе» белогвардейских организаций (в первую очередь Российского Общевоинского союза), которые дескать «уже не впервые посылают своих эмиссаров в Советский Союз с целью совершения террористических актов».

Столь определённые заявления, особенно казнь 104-х белогвардейских террористов, заставляли думать, что участие русских эмигрантских организаций в убийстве Кирова полностью установлено следственными органами. Однако на шестнадцатый день после убий-

ства (как по мановению волшебной палочки) картина полностью изменилась. Новая версия, появившаяся в советских газетах, возлагала ответственность за убийство Кирова теперь уже на троцкистско-зиновьевскую оппозицию. В один и тот же день, словно по команде, газеты открыли ожесточённую кампанию против лидеров этой уже отошедшей в прошлое оппозиции. Зиновьев, Каменев и многие другие бывшие оппозиционеры были арестованы. Близкий в те дни к Сталину журналист Карл Радек писал в «Известиях»: «Каждый коммунист знает, что теперь партия раздавит железной рукой остатки этой банды… Они будут разгромлены, уничтожены и стёрты с лица земли!»

Ненависть Сталина к бывшим лидерам оппозиции была хорошо известна. Поэтому в социалистических кругах за рубежом начали выражать опасение, как бы он не использовал смерть Кирова в качестве предлога для расправы с Зиновьевым и Каменевым. Некоторые иностранные газеты пустили слух, что Зиновьев и Каменев уже тайно казнены. Советские власти сочли необходимым опровергнуть эти слухи, а 22 декабря последовало сообщение ТАСС о том, что «ввиду недостатка улик» дело Зиновьева и Каменева будет рассматриваться не судом, а «Особым совещанием при НКВД СССР».

Итак, на протяжении немногим более двух недель советское правительство опубликовало две прямо противоположные версии убийства Кирова, – сначала обвинив в этом белогвардейцев, проникших из-за рубежа, а затем бывших вожаков оппозиции. Естественно, советские граждане с нетерпением ожидали судебного процесса, надеясь услышать, что скажет на суде сам Николаев.

Однако им не суждено было этого узнать. 28 декабря было официально опубликовано обвинительное

заключение, где утверждалось, что Николаев и тринадцать других лиц являлись участниками заговора, а уже на следующий день газеты сообщили, что все четырнадцать были приговорены к смертной казни на закрытом судебном заседании, и приговор приведён в исполнение. Ни в обвинительном заключении, ни в тексте приговора ни словом не упоминалось о какой-либо причастности Зиновьева и Каменева к убийству Кирова.

То обстоятельство, что Николаева судил тайный трибунал, ещё более усиливало всеобщее недоверие к официальной версии событий, возникшее из-за противоречивых правительственных заявлений. Вставал вопрос: что помешало погасить бродившие в народе слухи, поставив Николаева перед публичным судом? Никто не сомневался, что Кирова убил именно этот человек, схваченный на месте преступления. К чему же вся эта секретность? Что в этом деле было такого, что Сталин не мог вынести на открытый судебный процесс?

В эти дни меня не было в Советском Союзе, и я мог судить обо всём этом только по официальным сообщениям, появлявшимся в московских газетах. Но с самого начала я был уверен, что дело нечисто: не заслуживали доверия ни первая («белогвардейская») версия Кремля, ни версия о виновности Зиновьева и Каменева.

Первую версию я не мог принять всерьёз потому, что она содержала басню о ста четырёх казнённых белогвардейских террористах. Как бывший начальник погранохраны закавказских республик я прекрасно знал, что через строго охраняемые границы СССР террористы просто не могли нагрянуть в таком количестве. Кроме того, в условиях жёсткой советской паспортной системы и всеохватывающего полицейско-

го надзора сто четыре террориста никак не могли одновременно скрываться в Ленинграде. Всё это выглядело тем более подозрительно, что, вопреки обыкновению, газеты, сообщая об их казни, не упомянули даже их имён.

Другая версия – об участии Зиновьева и Каменева в убийстве Кирова – была не менее абсурдной. Из истории партии я отлично знал, что большевики всегда были против индивидуального террора и не прибегали к террористическим актам даже в борьбе против царя и его министров. Они считали подобные методы неэффективными и порочащими революционное движение. А кроме того, Зиновьев и Каменев не могли не отдавать себе отчёта в том, что убийство Кирова было бы на руку именно Сталину, который не преминет воспользоваться им для уничтожения бывших вожаков оппозиции. Так и случилось.

23 января 1935 года, почти через месяц после расстрела Николаева, в газетах было объявлено, что начальник ленинградского управления НКВД Филипп Медведь, его заместитель Запорожец и десять других энкаведистов на закрытом заседании Верховного суда приговорены к лишению свободы по обвинению в том, что, «получив сведения о готовящемся покушении на С.М. Кирова… не приняли необходимых мер для предотвращения убийства».

Приговор поразил меня своей необычной мягкостью. Только один из подсудимых получил десятилетний срок заключения; все же остальные, включая самого Медведя и его заместителя Запорожца, получили от двух до трёх лет. Всё это выглядело тем более странным, что убийство Кирова должно было рассматриваться Сталиным как угроза не только его политике, но и ему лично: если сегодня НКВД прохлопал Кирова, завтра в такой же опасности может оказаться он сам.

Каждый, кто знал Сталина, не сомневался, что он наверняка прикажет расстрелять народного комиссара внутренних дел Ягоду и потребует казни всех, кто нёс ответственность за безопасность Кирова. Он должен был так поступить хотя бы в назидание другим энкаведистам, чтобы не забывали, что за гибель вождей они в прямом смысле слова отвечают головой.

Самым же странным мне показалось то, что Сталин, едва получив сообщение об убийстве Кирова, отважился лично выехать в Ленинград. Я прекрасно знал, как относился он к собственной безопасности, и его поездка в Ленинград в такой неспокойной обстановке выглядела как нечто из ряда вон выходящее.

Необычайную осторожность Сталина и его постоянный страх за собственную жизнь лучше всего иллюстрируют такие примеры.

Известно, что во время официальных торжеств на Красной площади Сталин появлялся на мавзолее, охраняемый отборными воинскими частями и массой телохранителей из НКВД. Тем не менее под кителем он всегда носил массивный пуленепробиваемый жилет, специально изготовленный для него в Германии.

Чтобы быть уверенным в собственной безопасности во время частых поездок в загородную резиденцию, Сталин потребовал от НКВД выселить три четверти жителей улиц, по которым он проезжал, и предоставить освободившиеся комнаты сотрудникам НКВД. 35-километровый сталинский маршрут от Кремля до загородной дачи днём и ночью охранялся сотрудниками «органов», дежурившими здесь в три смены, каждая из которых насчитывала тысячу двести человек.

Сталин не рисковал свободно передвигаться даже по территории Кремля. Когда он покидал свои апартаменты и переходил, например, в Большой кремлёвский

дворец, охранники усердно разгоняли прохожих с его пути, невзирая на их чины и должности.

Ежегодно, отправляясь на отдых в Сочи, Сталин распоряжался подготовить одновременно его персональный поезд в Москве и соответствующий теплоход – в Горьком. Иногда он предпочитал уезжать непосредственно из Москвы – в таком случае использовался поезд, в других случаях – спускался по Волге до Сталинграда, а уже оттуда поезд, тоже специальный, доставлял его в Сочи. Никто не знал заранее ни того, какой вариант выберет Сталин на этот раз, ни дня, когда он пустится в путь. Его специальный поезд и специальный теплоход по нескольку дней стояли в полной готовности, но только в последние часы перед выездом он наконец сообщал доверенным лицам, какой вариант избирает на сей раз. Перед его бронированным поездом и следом за ним двигались два других поезда, заполненные охраной. Сталинский поезд был так оборудован, что мог выдержать двухнедельную осаду. В случае тревоги его окна автоматически закрывались броневыми ставнями.

Объявив себя вождем рабочего класса, Сталин никогда не бывал в рабочее время ни на одном из заводов, боясь встречаться лицом к лицу с рабочими.

Можно было привести множество других примеров сталинской, мягко выражаясь, осторожности. Вот почему я с трудом поверил сообщению, что Сталин рискнул отправиться в Ленинград, где только что действовала опасная террористическая организация и где органам НКВД не удалось уберечь Кирова. Уже сам факт сталинской поездки заставлял думать, что убийство Кирова было делом рук одиночки и что вся эта версия о раскрытой террористической организации является выдумкой.

Тайна убийства Кирова прояснилась для меня по возвращении в Советский Союз, в конце 1935 года. Прибыв в Ленинград через Финляндию, я зашёл в здание НКВД, чтобы связаться по специальному телефону с Москвой и заказать спальное место в ночном экспрессе, отправляющемся в Москву. Тут я встретил одного из вновь назначенных руководителей ленинградского управления НКВД, с которым мы вместе служили в Красной армии в гражданскую войну. В разговоре мы, естественно, коснулись тех перемен, которые произошли в Ленинграде после убийства Кирова. Выяснилось, что бывший начальник ленинградского управления НКВД Медведь и его заместитель Запорожец, приговорённые по «кировскому делу» к тюремному заключению, вовсе и не сидели в тюрьме. По распоряжению Сталина, их назначили на руководящие посты в тресте «Лензолото», занимавшемся разработкой богатейших золотых приисков в Сибири. «Им там живётся совсем не плохо, хотя, конечно, похуже, чем в Ленинграде, – сообщил мой старый приятель. – Медведю даже позволили захватить с собой его новый кадиллак». Он добавил, что капризная жена Медведя уже трижды побывала у него в Сибири, каждый раз намереваясь остаться там с мужем, однако всякий раз возвращалась обратно в Ленинград. При этом, как и прежде, ей выделяли в поезде отдельное купе первого класса и полный штат обслуги.

Мой приятель рассказал мне о панике, охватившей Ленинград в связи с убийством Кирова и сталинским визитом. В следствии по этому делу он помогал начальнику Экономического управления НКВД Миронову и заместителю народного комиссара внутренних дел Агранову.

Перед тем как возвратиться в Москву, Сталин назначил Миронова временно, на ближайшие месяцы,

исполняющим обязанности начальника ленинградского управления НКВД и фактически ленинградским диктатором. Когда я спросил, как это Николаеву удалось проникнуть в строго, охраняемый Смольный, мой приятель ответил: «Именно поэтому и были уволены Медведь и Запорожец. Хуже того: за несколько дней до убийства Николаев уже делал попытку пробраться в Смольный, его задержали, и если б тогда были приняты меры, Киров и по сей день оставался бы жив». Мне показалось, что разговор наш носит какой-то поверхностный характер: мой приятель явно не хочет рассказать об убийстве ничего конкретного. Я поднялся, чтобы уйти; тогда он в замешательстве пробормотал: «Дело настолько опасное, что для собственной безопасности полезнее меньше знать обо всём этом».

Намёк моего приятеля был гораздо более ценен для меня, чем остальная, весьма скудная информация, полученная тогда от него. Этот намёк не только укрепил мои подозрения насчёт того, что обе официальные версии фальшивы, но и показал мне, куда, по-видимому, ведут нити заговора. К тому времени вне критики поставил себя один-единственный человек в СССР, и ни к кому другому не могли быть отнесены эти слова: «для собственной безопасности полезнее меньше знать обо всём этом».

У меня не было сомнений, что в Москве мне удастся узнать правду о «кировском деле». Я рассчитывал на нескольких старых товарищей, которые занимали в НКВД столь высокие посты, что должны были представлять себе закулисную сторону этого убийства. Среди них был начальник Экономического управления НКВД Миронов, которого Сталин брал с собой в Ленинград для расследования убийства и который затем был оставлен в Ленинграде в качестве руководителя

ленинградского управления НКВД, с полномочиями диктатора.

Миронов поступил на службу в органы государственной безопасности по моей рекомендации. В 1924 году, будучи заместителем начальника Экономического управления ОГПУ, я смог, правда, с немалым трудом, убедить Дзержинского назначить Миронова начальником одного из отделов этого управления. Дзержинский по понятным причинам противился назначению на ответственную должность человека совершенно нового для «органов». В дальнейшем, когда я был назначен командующим погранвойсками Закавказья, я договорился, что Миронов будет исполнять мои обязанности заместителя начальника Экономического управления ОГПУ. Благодаря своим способностям, несколько лет спустя Миронов возглавил это управление и сделался одним из ближайших помощников Ягоды – народного комиссара внутренних дел. Я был уверен, что от Миронова узнаю наконец всю правду о «деле Кирова».

Вскоре после приезда в Москву меня пригласил в гости начальник Транспортного управления НКВД Александр Шанин, близкий друг Ягоды и один из помощников члена Политбюро Кагановича, занимавшийся вместе с ним реорганизацией советских железных дорог. После обеда хозяин дома предложил послушать пластинки. Шанин был большим любителем старинных русских песен, а тут ещё несколько рюмок ликера сделали его особенно сентиментальным. Показав на два альбома пластинок, Шанин сказал, что специально отложил их, чтобы послать Ване Запорожцу в его Лензолото «Ох, Ваня, Ваня, – вздохнул он, – что за человек был! Пострадал ни за что…» Шанин добавил, что Паукер, начальник личной охраны Сталина, только что послал Запорожцу в подарок импортный радиоприёмник.

Тот факт, что Шанин и Паукер посылают Запорожцу подарки, показался мне весьма знаменательным. Оба знали, что любое проявление симпатии к осуждённому ЦК считает демонстрацией враждебных настроений. По неписаному правилу, установившемуся при Сталине, советские сановники немедленно порывали все отношения даже со своими ближайшими друзьями, как только те попадали в немилость (я уж не говорю – в тюрьму). Такие осведомлённые сталинские приближённые, как Шанин и Паукер, конечно, усвоили это элементарное правило: следует одаривать и ублажать тех, кто успешно делает карьеру, и, наоборот, поскорее рвать с теми, чья карьера лопнула. Напрашивался единственно возможный вывод: Шанин и Паукер знали, что Запорожец вовсе не впал в немилость и посылка ему подарков отнюдь не компрометирует их.

Будучи в Москве, я действительно узнал подоплёку кировского дела, – притом быстрее, чем мог ожидать.

Это случилось так. Весной и летом 1934 года у Кирова начались конфликты с другими членами Политбюро. Киров, прямота которого была всем известна, на заседаниях Политбюро несколько раз принимался критиковать своего бывшего патрона Орджоникидзе за противоречивые указания, которые тот давал относительно промышленного строительства в Ленинградской области. Кандидата в члены Политбюро Микояна Киров обвинял в дезорганизации снабжения Ленинграда продовольствием. Одно из таких столкновений с Микояном, ставшее мне известным во всех подробностях, было вызвано следующим. Киров без разрешения Москвы реквизировал часть продовольствия из неприкосновенных запасов Ленинградского военного округа. Ворошилов, в то время народный комиссар обороны, выразил недовольство действиями Кирова, считая, что

тот превышает свои полномочия, позволяя себе вмешиваться в дела военного ведомства.

Киров объяснил на заседании Политбюро, что он пошёл на такой шаг, потому что запасы, предназначавшиеся для рабочих, были исчерпаны. К тому же он взял продовольствие у военных только взаймы, собираясь вернуть его, как только прибудут новые поставки. Однако Ворошилов, явно чувствуя поддержку Сталина, не удовлетворился этим объяснением и раздражённо заявил, что, перебрасывая продовольствие с воинских складов в фабричные лавки, Киров «ищет дешёвой популярности среди рабочих». Киров вспыхнул от негодования и со свойственной ему горячностью ответил: «Если Политбюро хочет, чтобы рабочие давали продукцию, их прежде всего необходимо кормить! Каждому мужику известно, – продолжал он, срываясь на крик, – не накормишь лошадь, – она воз и с места не сдвинет!» Микоян возразил, что, по его сведениям, ленинградские рабочие питаются лучше, чем в среднем по стране. Киров не мог отрицать этого. Но он привёл цифры роста продукции ленинградских предприятий и заметил, что этими достижениями с избытком окупаются добавочные пайки рабочих.

«А почему, собственно, ленинградские рабочие должны питаться лучше всех остальных?» – вмешался Сталин. Киров снова вышел из себя и закричал: «Я думаю, давно пора отменить карточную систему и начать кормить всех наших рабочих как следует!»

Эта кировская вспышка была расценена как проявление нелояльности по отношению к самому Сталину. С тех пор как Сталин сосредоточил в своих руках неограниченную власть, установилось неписаное правило: никто из членов Политбюро не должен выносить на обсуждение какой бы то ни было вопрос, не получив благословения Сталина.

Члены Политбюро ополчились против Кирова. Мелкие недоразумения искусственно раздувались и изображались как тяжёлые прегрешения. Летом 1934 года Орджоникидзе, народный комиссар тяжёлой промышленности и влиятельный член Политбюро, вызвал к себе на совещание председателя Ленинградского исполкома и нескольких руководителей ленинградской промышленности. Они захватили с собой всевозможные отчёты и сметы и отправились в Москву, где провели два дня в приёмной наркомата тяжёлой промышленности. Орджоникидзе всё было недосуг принять их, и совещание откладывалось со дня на день. На третьи сутки председатель Ленгорисполкома позвонил Кирову и сообщил ему о создавшемся положении. Решение Кирова не заставило себя ждать: «Если Орджоникидзе тебя и сегодня не примет, садись на поезд и езжай домой!» Председатель Ленгорисполкома так и сделал. Этот эпизод Орджоникидзе изложил на ближайшем заседании Политбюро. Распоряжение Кирова было расценено как «воспитывающее ленинградские кадры в духе партизанщины и неподчинения центру». Его попытки объяснить ситуацию ни к чему не привели. Не в состоянии более сдерживаться, он заявил: «Я и впредь всегда буду так поступать. Мои люди нужны мне в Ленинграде, нечего им прохлаждаться у Орджоникидзе в приёмной!»

Постепенно отношения Кирова с Политбюро обострились до предела, и он старался реже бывать в Москве. Членов Политбюро и самого Сталина особенно злила всё растущая популярность Кирова в народе. Никто из них, не исключая и Сталина, не был умелым оратором. Их публичные выступления были вялыми и нудными. А Киров, напротив, славился своими блестящими речами, зная, как подойти к массам. Он был единственным членом Политбюро, не боящимся

ездить по заводам и выступать перед рабочими. Сам когда-то рабочий, он внимательно выслушивал их жалобы и, насколько мог, старался помочь. Многие партийные и промышленные деятели высокого ранга, работавшие в разных городах, пытались добиться перевода в Ленинград: шёл слух, что Киров поощряет инициативу своих подчинённых и выдвигает тех, кто хочет и умеет работать. Его авторитет в Ленинграде был непререкаем. Наркомы в Москве меньше значили для директоров ленинградских предприятий своей отрасли чем Киров.

Огромная популярность Кирова ещё больше возросла после семнадцатого съезда партии, который состоялся в самом начале 1934 года. К съезду всё было намечено и расписано заранее, – даже энтузиазм, с которым делегаты должны были приветствовать вождей. Каждому члену Политбюро, появляющемуся на трибуне, было положено две минуты аплодисментов. Сталину следовало аплодировать целых десять минут. Однако появление Кирова в президиуме съезда вызвало бурю оваций. Ленинградская делегация приветствовала его с таким восторгом, что увлекла своим примером весь съезд. Киров был встречен овацией такой продолжительности, о какой другие члены Политбюро не могли и мечтать. В кулуарах съезда шептались, что на долю Кирова выпал почёт, который предназначался только одному человеку: Сталину.

Раздражённый чрезмерной независимостью Кирова, Сталин решил отозвать его из Ленинграда. Ему было объявлено, что его ждёт назначение на ответственную должность в Москве, в Оргбюро ЦК.

Однако Киров не спешил в Москву. Он выгадывал месяц за месяцем, ссылаясь на то, что необходимо довести до конца ряд важных дел в Ленинграде, начатых

при нём. Более того, он всё реже и реже появлялся на заседаниях Политбюро, что выглядело уже вызывающе.

Сталин мог, конечно, задержать Кирова в Москве во время любого из его приездов и воспрепятствовать его возвращению в Ленинград. Но это означало бы открытую ссору, после которой было бы крайне затруднительно назначить Кирова на какую-либо должность в ЦК. Больше того, удержать Кирова в Москве против его воли было не так легко, – разве что арестовать его? Однако тогда, в 1934 году, по отношению к члену Политбюро подобные действия были крайне нежелательны. Отстранение члена Политбюро всё ещё требовало сложной формальной процедуры. Задавшись такой целью, пришлось бы для начала сфабриковать против Кирова обвинение в какой-нибудь антиленинской ереси или в отклонении от генеральной линии партии и развязать против него кампанию критики, которая должна охватить все партийные организации. В данном случае такой путь был для Сталина неприемлем. Подавив троцкистскую и зиновьевскую оппозиции, Сталин много раз писал и заявлял устно, что, очистившись от ереси, партия окрепла и сделалась «сплочённой и монолитной как никогда». Но кампания, направленная против Кирова, наверняка вызовет слухи о новом расколе в партии и о разногласиях в Политбюро. При этом Сталин понимал, что и за рубежом опять появятся сомнения в прочности его режима, чего он никак не хотел.

Он пришёл к выводу, что сложная проблема, вставшая перед ним, может быть разрешена лишь одним путём. Киров должен быть устранён, а вина за его убийство возложена на бывших вождей оппозиции. Таким образом, одним ударом он убьёт двух зайцев. Вместе с ликвидацией Кирова будет покончено с ближайшими сподвижниками Ленина, которые, как бы ни

чернил их Сталин, продолжали оставаться в глазах рядовых партийцев символом большевизма. Сталин решил, что, если ему удастся доказать, что Зиновьев, Каменев и другие руководители оппозиции пролили кровь Кирова, «верного сына нашей партии», члена Политбюро, – он вправе будет потребовать: кровь за кровь.

Единственной частью государственного аппарата, которая могла помочь Сталину в подготовке этого убийства, являлось ленинградское управление НКВД, отвечавшее за безопасность Кирова. Но начальником этого управления был Филипп Медведь, связанный с Кировым тесной дружбой. Медведя следовало убрать и заменить другим человеком, «более надёжным». У Сталина был на примете такой человек: Евдокимов, давний сотрудник «органов». Несколько лет подряд Сталин брал его с собой в отпуск – не только в качестве телохранителя, но и как приятеля и собутыльника. Евдокимов получил от Сталина больше наград, чем любой другой энкаведист. Это была странная личность с застывшим, точно окаменевшим лицом, сторонившаяся своих коллег. В прошлом заурядный уголовник, Евдокимов вышел из тюрьмы благодаря революции, примкнул к большевистской партии и отличился в гражданской войне. Когда война закончилась, Евдокимов был назначен начальником областного управления ОГПУ на Украине. Там он лично возглавлял карательные операции против антисоветских повстанческих банд.

По распоряжению Сталина Ягода издал приказ о переводе Медведя из Ленинграда в Минск и назначении Евдокимова на его место. Узнав об этом, Киров пришёл в негодование. В присутствии Медведя он позвонил Ягоде и без обиняков начал допытываться, кто дал ему право перемещать ответственных ленинград-

ских работников без разрешения ленинградского обкома. Затем Киров позвонил Сталину и опротестовал недопустимый образ действий Ягоды. Приказ о переводе Медведя из Ленинграда пришлось отменить.

Поскольку с назначением Евдокимова в Ленинград ничего не получилось, у Сталина не было иного выбора, как обратиться за помощью к Ягоде и посвятить его в свои тайные планы, касавшиеся Кирова. Ягода сразу же вызвал из Ленинграда своего протеже и фаворита Ивана Запорожца, который в то время был заместителем Медведя. Они посетили Сталина вдвоём. Избежать личного разговора Сталина с Запорожцем было нельзя: последний никогда не взялся бы за такое чрезвычайное задание, касающееся члена Политбюро, если б оно исходило всего лишь от Ягоды и не было санкционировано самим Сталиным. Получив сталинский наказ, Запорожец вернулся в Ленинград.

Как раз в это время среди бумаг, поступающих в ленинградское отделение НКВД, оказалось секретное донесение, касавшееся молодого коммуниста по имени Леонид Николаев. Этот Николаев был так обозлён тем, что его исключили из партии и связанной с этим невозможностью устроиться на работу, что у него появилась мысль об убийстве председателя комиссии партийного контроля. Этим актом доведённый до отчаяния Николаев намеревался выразить свой протест против партийной бюрократии, чьей жертвой он себя считал.

Донос на Николаева поступил в «органы» от его друга, которому он имел неосторожность рассказать о своих намерениях. В этом, конечно, не было ничего удивительного. Закономерным было и то, что Запорожец, озабоченный полученным в Москве заданием, заинтересовался личностью Николаева. Встретившись с его «другом» и поговорив с ним, он пришёл к выводу,

что слова Николаева не приходится считать пустой болтовней. Дело приняло ещё более серьёзный оборот, когда «друг» выкрал и принёс Запорожцу дневник Николаева.

Дневник был сфотографирован и снова подброшен туда, откуда был украден. На его страницах Николаев подробно описывал свои злоключения: как он был беспричинно «вычищен» из партии, какое бездушное отношение встречал со стороны партийных чинов, когда пытался добиться справедливости, как его уволили с работы и до какой жуткой нищеты докатилась его семья – двое детей, жена и мать. Записи дневника были полны клокочущей ненависти к бюрократической касте, воцарившейся в партии и государственном аппарате.

Чтобы получить возможно более полное представление о личности Николаева, Запорожец решил лично встретиться с ним. Всё тот же «друг» организовал ему якобы случайную встречу с Николаевым, представив Запорожца под вымышленным именем, как своего бывшего сослуживца. Поболтав о том, о сём, они расстались. Николаев произвёл на Запорожца благоприятное впечатление. Теперь «другу» была поставлена новая задача: попытаться ещё более сблизиться с Николаевым, время от времени передавать ему небольшие суммы денег, прикинуться разделяющим его взгляды – и, конечно, сообщать НКВД о каждом его шаге. Сам Запорожец поспешил в Москву поделиться соображениями о том, как лучше использовать подвернувшийся случай. Там он ещё раз был принят Сталиным.

В Москве было решено, что Николаев подходит для реализации намеченного плана. Главное преимущество этого варианта заключалось в том, что Николаев напал на мысль о террористическом акте самостоятельно и

вдобавок не подозревает, что с какого-то момента его действия косвенно направляются аппаратом НКВД.

Инструкции, полученные Запорожцем, сводились к одному: постараться перевести террористические замыслы Николаева с некоего члена партийной контрольной комиссии, исключавшей его из партии, на Кирова. За время, пока Запорожец отсутствовал, николаевский замысел превратился в неотвязную манию: его поступок станет сигналом к восстанию против ненавистной партийной бюрократии. «Друг» Николаева предупредил Запорожца, что их подопечный делает попытки раздобыть огнестрельное оружие.

Услышав об этом, Запорожец выразил «другу» опасение, что Николаев, чего доброго, действительно застрелит какого-то работника партконтроля, не имеющего, разумеется, личной охраны. Между тем НКВД намерено взять террориста с поличным, непосредственно перед тем, как он попытается совершить террористический акт. Это удастся сделать, не допуская кровопролития, только в том случае, если Николаев откажется от покушения на какую-то незначительную персону и попытается убить, ну, допустим, Кирова, что заведомо обречено на провал, так как того охраняют денно и нощно. Как только Николаев с револьвером в кармане проникнет, в здание Смольного, его тут же схватят сотрудники НКВД, которые специально будут его поджидать. А от «друга» требуется теперь только одно: внушить Николаеву, что убийство какого-то незначительного чиновника из партконтроля не даст заметного политического эффекта. Зато выстрел, направленный в члена Политбюро, отзовется эхом по всей стране.

Леонид Николаев, как и следовало ожидать, ухватился за идею совершить террористический акт против Кирова. Теперь единственным препятствием к

исполнению намеченного было отсутствие револьвера. Николаев рассчитывал украсть револьвер у кого-то из знакомых партийцев. Выяснилось, что в этом нет необходимости: «друг», последнее время так часто приходивший Николаеву на помощь, ссужавший его деньгами, выручил и тут. Ему удалось «добыть» револьвер… В основном все необходимые приготовления были позади. С помощью «друга» Николаев придумал предлог, чтобы получить пропуск в Смольный. Друзья отправились за город – проверить оружие в действии.

Наконец настал решающий день: Николаев, с портфелем в руках, явился в Смольный и получил пропуск в комендатуре НКВД, ведавшей охраной здания. У входа в главный коридор Смольного охранники заглянули в пропуск и разрешили Николаеву войти. Но не успел он сделать и двух шагов, как один из них вернул его и потребовал показать, что в портфеле. Там лежал револьвер и записная книжка. Николаева, тут же задержали и препроводили в комендатуру. Уже за одно хранение огнестрельного оружия без специального на то разрешения полагалось три года тюрьмы. А если б ещё работники смольнинской комендатуры заглянули в его записную книжку – сразу выяснилась бы истинная цель Николаева, приведшая его в Смольный…

Но прошёл час или два – и всё чудодейственно переменилось: злоумышленнику вернули револьвер и записную книжку и предложили покинуть здание Смольного.

Поражённый происшедшим, Николаев прибежал к своему «другу» и всё ему рассказал. Тот не мог прийти в себя от изумления, видя перед собой Николаева после всего, что случилось, живым и невредимым.

Происшествие в Смольном было для Запорожца малоприятной неожиданностью. Выходит, он не сделал всё от него зависящее, чтобы обеспечить Николае-

ву свободный доступ к Кирову. А Москва уже рассчитывала, что именно в этот день получит информацию о результате покушения. Теперь всю ответственность за неудачу возложат, конечно, на Запорожца.

Когда ему сообщили о происшествии, он приказал коменданту Смольного освободить задержанного и вернуть ему портфель, револьвер и записную книжку. Ещё оставалась надежда, что Николаева удастся направить в Смольный вторично, на этот раз избежав промаха. Всё зависело от дальнейшего поведения Николаева.

А тот был крайне угнетён своей неудачей. В подавленном состоянии он выслушивал рассуждения «друга» о том, что надо бы сделать ещё одну попытку… Однако это продолжалось недолго. Дней через десять Николаев уже сам стал поговаривать о повторении попытки покушения. К нему вернулось прежнее чувство уверенности. «Друг», следуя инструкциям Запорожца, советовал на этот раз проникнуть в Смольный в вечернее время.

Вечером 1 декабря 1934 года Николаев вторично появился в Смольном – с тем же самым портфелем, где вновь лежали записная книжка и револьвер. На этот раз Запорожец всё предусмотрел. Получив пропуск, Николаев благополучно миновал охранников у входа и без помех вошёл в коридор. Там никого не было, кроме человека средних лет, по фамилии Борисов, который числился личным помощником Кирова. В перечне работников Смольного он фигурировал как сотрудник специальной охраны НКВД, однако не имел ничего общего с охранной службой.

Борисов только что приготовил поднос с бутербродами и стаканами чая, чтобы нести его в зал заседаний, где как раз собралось бюро обкома. Заседание бюро шло под председательством Кирова, и Николаев терпеливо ждал. Войдя в зал, Борисов сказал Кирову,

что его зовут к прямому кремлёвскому телефону. Спустя минуту Киров поднялся со стула и вышел из зала заседаний, прикрыв за собой дверь.

В тот же момент грянул выстрел. Участники заседания бросились к двери, но открыть её удалось не сразу: мешали ноги Кирова, распластанного на полу в луже крови. Киров был убит наповал. Тут же распростёрлось тело другого человека, не известного членам бюро. Это был потерявший сознание Николаев. Рядом с ним валялись револьвер и портфель. Кроме убитого и убийцы, в коридоре не было ни души. Члены бюро были немало удивлены тем обстоятельством, что отсутствовал даже кировский охранник. Прошло немного времени, и в коридоре появились сотрудники НКВД, прибывшие арестовать Николаева.

2

Сталин и Ягода были извещены об убийстве Кирова немедленно. Спустя некоторое время Ягода позвонил начальнику Ленинградского управления НКВД Медведю и сообщил ему, что выезжает в Ленинград, сопровождая Сталина.

Запорожец выполнил порученное ему задание. Но его роль на этом не кончилась. В ленинградском управлении НКВД никто, кроме него, не имел понятия, что, по замыслу «хозяина», террористический акт против Кирова должен был в конечном счёте привести к осуждению Зиновьева и Каменева. Запорожец знал, что Сталин, появившись здесь, наверняка захочет повидать Николаева, чтобы определить, годится ли тот для открытого судебного процесса. Необходимо было срочно получить от Николаева соответствующее «признание». В этом случае, как только Сталин прибудет, можно будет положить перед ним показания, в которых

Николаев чистосердечно заявляет, что убил Кирова по прямому указанию Зиновьева и Каменева.

Запорожец мобилизовал всю свою энергию, чтобы вырвать у Николаева такое признание, пока Сталин находится ещё в пути. Впрочем, он не предвидел особого сопротивления со стороны убийцы. По опыту работы в НКВД он знал, что даже ни в чём не повинный человек, ошеломлённый арестом и деморализованный неуверенностью в судьбе близких, остающихся на свободе, становится в руках следователей крайне податливым и склонен подписать всё, в чём его обвиняют. Ну а Николаев только что совершил чудовищное преступление – убил члена Политбюро. Теперь он был близок к беспамятству. В своей тюремной камере, обращаясь к надзирателям, он кричал, что ничего не имеет лично против Кирова и совершил террористический акт в минуту отчаяния. От своего «друга» Запорожец узнал, что Николаев очень привязан к жене и детям. На случай, если он станет отказываться от нужных показаний, Запорожец собирался пригрозить ему, что его близкие тоже пострадают. Этого было достаточно, чтобы Николаев подписал любое признание.

Мешала, правда, небольшая неувязка. Месяца за два до покушения «друг» познакомил Николаева с Запорожцем, представив последнего так: «Мой приятель, тоже рабочий человек». Теперь, если Николаев опознает этого «приятеля-рабочего» в заместителе начальника ленинградского НКВД, ему станет ясно, что «друг» – энкаведистский провокатор. Он сможет сопоставить ряд фактов – звеньев обдуманного заговора, выстраивающих цепь, – как бы это не завело слишком далеко! Здравый смысл должен был подсказать Запорожцу, что лучше передать Николаева кому-нибудь из коллег, который и выжмет из арестованного требуемое признание. Но Запорожец не был склонен уступать

заслуженные им лавры кому бы то ни было. Он жаждал во что бы то ни стало сам добиться от Николаева показаний, направленных против Зиновьева и Каменева, и доложить о них Сталину. Приходилось игнорировать то неприятное обстоятельство, что они с Николаевым уже однажды встречались. Встреча была вроде случайной, и оставалось надеяться, что Николаев, подавленный дальнейшими событиями, просто не узнает Запорожца, тем более что тот будет в форме НКВД.

Рассчитывая на полную деморализацию Николаева, Запорожец решил действовать без промедления и распорядился доставить арестованного к нему.

Едва войдя в его кабинет, Николаев узнал в высоком энкаведистском начальстве своего случайного знакомого и понял, что стал жертвой политической провокации. Запорожец обманулся в своих расчётах. Перед ним предстал не жалкий неврастеник, согнувшийся под тяжестью страшного преступления и ареста, а упрямый и бесстрашный фанатик. Николаев прямо заявил Запорожцу, что, ничего не имея против Кирова лично, он всё же доволен, что ему удался этот террористический акт, открывающий эру борьбы с привилегированной кастой партийных бюрократов.

Этот разговор закончился трагикомической сценой. Из кабинета Запорожца послышался крик, дверь кабинета рывком распахнулась, и Запорожец выскочил в приёмную, преследуемый Николаевым с поднятым над головой стулом. Николаева тут же схватили и отправили обратно в тюрьму.

Спустя некоторое время надзиратели услышали странный звук, доносившийся из николаевской одиночки. Николаев вновь и вновь бросался на стену, ударяясь в неё головой. В его положении не было другой возможности поскорее покончить счёты с жизнью. Вероятно, он полагал, что заодно он избавляет и свою

семью от перспективы следствия с применением пыток. Его пришлось связать и перевести в другую камеру, стены которой были обложены тюфяками. Отныне дежурство в камере нёс особо доверенный сотрудник НКВД. На рассвете следующего дня Запорожец снова пытался завязать разговор с Николаевым, но из этого опять ничего не вышло: Николаев прямо-таки пылал к нему ненавистью, – какие уж тут разговоры!

Появление Сталина в Ленинграде было большим событием. Ему был отведён в Смольном целый этаж и сверх того с десяток комнат выделен во внушительном здании НКВД. Эти помещения были полностью изолированы от всех остальных.

Сталин немедля принялся за дело. Первым, кого он вызвал к себе, был Филипп Медведь, начальник Ленинградского управления НКВД. Разумеется, этот вызов был чистой формальностью, – Сталин прекрасно знал, что тому ничего не известно об убийстве Кирова, кроме чисто внешних фактов. Медведь был быстро отпущен, и сразу же последовал вызов Запорожца. Сталин говорил с ним с глазу на глаз больше часу, после чего распорядился доставить Николаева.

Его разговор с Николаевым происходил в присутствии Ягоды – народного комиссара внутренних дел, Миронова – начальника Экономического управления НКВД, и оперативника, доставившего Николаева из камеры. Николаев, войдя в комнату, остановился у порога. Голова его была забинтована. Сталин сделал ему знак подойти ближе и, всматриваясь в него, задал вопрос, прозвучавший почти ласково:

– Зачем вы убили такого хорошего человека?

Если б не свидетельство Миронова, присутствовавшего при этой сцене, я никогда бы не поверил, что Сталин спросил именно так, – настолько это было непохоже на его обычную манеру разговора.

– Я стрелял не в него, я стрелял в партию! – упрямо отвечал Николаев. В его голосе не чувствовалось ни малейшего трепета перед Сталиным.

– А где вы взяли револьвер? – продолжал Сталин.

– Почему вы спрашиваете у меня? Спросите у Запорожца! – последовал дерзкий ответ.

Лицо Сталина позеленело от злобы. «Заберите его!» – буркнул он.

Уже в дверях Николаев попытался задержаться, обернулся к Сталину и хотел что-то добавить, но его тут же вытолкнули за дверь.

Как только дверь закрылась, Сталин, покосившись на Миронова, бросил Ягоде: «Мудак!» Не заставляя себя специально просить, Миронов направился к выходу. Несколько минут спустя Ягода слегка приоткрыл дверь, чтобы вызвать Запорожца. Тот оставался наедине со Сталиным не более четверти часа. Выскочив из этой зловещей комнаты, он зашагал по коридору, даже не взглянув на Миронова, продолжавшего сидеть в приёмной.

Дело Николаева окончилось полным провалом.

«Друг», оказавшийся агентом Запорожца, подбивал его проникнуть в Смольный, тот же «друг» достал ему револьвер – и Николаева уже не оставляло подозрение, что НКВД сам подстрекал его убить Кирова.

Значит, нечего было и думать об открытом суде по «делу об убийстве Кирова». Если б даже и удалось заручиться обещанием Николаева давать показания против Зиновьева и Каменева, на это обещание нельзя было положиться. Кто мог дать гарантию, что то же чувство фанатичного протеста, которое толкнуло Николаева на террористический акт, не овладеет им снова? У него мог вырваться крик, что это не Зиновьев и Каменев, а сам НКВД подстрекал его к убийству. Сталин не мог пойти на столь явный риск. Ему оставалось

поторопить НКВД с организацией закрытого процесса, где Николаев предстал бы перед тайным трибуналом.

В то же время следовало что-то объяснить народу относительно убийцы Кирова. Безусловно, Сталин не мог объявить, что молодой коммунист действовал в одиночку и по собственной инициативе, протестуя против засилья бюрократического режима, установленного партией. Выгоднее было представить его ставленником русских белогвардейцев. Так появился на свет миф о белоэмигрантах, которые якобы пробрались в СССР из Польши, Литвы и Финляндии для организации террористических актов.

Сталин, конечно, постарался замести следы топорной работы Запорожца. Прежде всего он распорядился ликвидировать «друга», не потрудившись даже допросить его. Затем были вызваны заместители Кирова, у которых следовало выведать, не слишком ли многое им известно об этом деле. Но они оказались людьми искушёнными и сообразили, что выказывать свою осведомлённость или проницательность в данном случае просто опасно. В их рассказах Сталина насторожила только одна деталь: услышав выстрел и выскочив из зала заседаний в коридор, они обнаружили, что постоянного кировского охранника поблизости почему-то нет, да и Борисов, только что вызвавший Кирова из зала, куда-то бесследно исчез. Они его никогда больше не встречали…

В общем-то в таинственном исчезновении Борисова не было ничего сверхъестественного. Он был арестован Запорожцем как знавший кое-что о роли НКВД в организации убийства. Не могу судить, что именно было известно Борисову, но сам этот факт неприятно поразил меня. Дело в том, что Борисов был известен своей абсолютной преданностью Кирову и, казалось

бы, не должен был сознательно подыгрывать Запорожцу в ущерб своему «хозяину».

Сталин знал, что Борисов арестован и находится в Большом доме. Поговорив с заместителями Кирова, он прибыл в это здание и потребовал привести Борисова. Их разговор был очень кратким, и очень скоро Борисов по распоряжению Сталина был в полной тайне ликвидирован. Итак, Сталин сразу же избавился от двух свидетелей.

Сталинский поезд увёз тело Кирова в Москву. Гроб для прощания с убитым установили, как было принято, в Колонном зале Дома Союзов. Газеты сообщали, что Сталин, стоя в почётном карауле, испытал такой приступ горя и любви к погибшему другу и соратнику, что приблизился к гробу и поцеловал мёртвого. Как бывший ученик духовной семинарии он в этот момент не мог не сознавать, что напрашивалась параллель между этим его поцелуем и поцелуем Иуды Искариота, запечатленным на лице Христа.

То обстоятельство, что Запорожец так неуклюже выполнил порученное ему тайное задание и что НКВД оставил следы своего участия в убийстве Кирова, заставило Сталина сначала отказаться от идеи обвинить в этом убийстве бывших вождей оппозиции. Но Сталин всегда отступал лишь на время. Поспешно расстреляв непосредственного убийцу и тайно уничтожив опасных свидетелей – посторонних, знавших или подозревавших о роли НКВД в этом преступлении, – Сталин вновь обрел спокойствие и принял решение вернуться к первоначальному замыслу. О том, что это произошло очень скоро, можно судить хотя бы по тому, что официальная пресса, вначале объявившая, что убийство Кирова – дело рук белогвардейских террористов, вдруг изменила тон. Ещё бы – в связи с этим убийством Сталин прямо распорядился привлечь к ответственности

Зиновьева, Каменева и других бывших лидеров оппозиции.

На закрытом судебном процессе, состоявшемся 15 января 1935 года, не удалось выдвинуть никаких доказательств соучастия Зиновьева и Каменева в этом преступлении. Тем не менее, под давлением членов военного трибунала и в результате неотступных домогательств Ягоды, на которого в свою очередь давил Сталин, Зиновьев и Каменев согласились признать, что они несут «политическую и моральную ответственность» за убийство, в то же время отрицая какую-либо причастность к нему. На этом шатком основании им вынесли обвинительный приговор и осудили обоих на пять лет лагерей.

Постоянные козыри Сталина

1

Этот процесс был первым в целой серии громких судебных процессов, направленных на уничтожение почти всех основателей большевистской партии и вождей Октября. Отныне убийство Кирова фигурировало на каждом крупном политическом процессе и каждый раз вменялось в вину всё новым группам обвиняемых.

Многие критики этих, так называемых московских, процессов считали, что сталинское решение истребить старых большевиков объясняется его неутолимой жаждой мести этим людям. Мести за то, что они не соглашались с его политикой. За то, что настаивали на выполнении ленинского завещания, где предлагалось сместить Сталина с поста генерального секретаря ЦК партии. Невольно приходила на ум сталинская концепция «сладости мщения», – он высказал её как будто в дружеской беседе с Каменевым и Дзержинским. Дело было летним вечером 1923 года, задолго до всех этих процессов. «Выискать врага, – будто бы откровенничал Сталин, – отработать каждую деталь удара, насладиться неотвратимостью мщения – и затем пойти отдыхать… Что может быть слаще этого?..»

Конечно, нет ничего удивительного в том, что Сталиным владели подобные изуверские мысли. Ведь он родился и вырос на Кавказе, где кровная месть существовала на протяжении столетий и встречается даже теперь. Так что не приходится сомневаться, что жажда мести играла немалую роль при уничтожении Сталиным большевистской «старой гвардии». Тем не менее, не в одной мести тут дело. Сталин был прежде всего реалистом в политике и руководствовался трезвым расчётом. Известно много случаев, когда он подчинял этому расчёту свои чувства и эмоции. На пути к власти

он неоднократно поступался своим самолюбием, высказываясь в пользу собственных врагов, притом наиболее ненавидимых. И, напротив, не считался даже с самыми близкими друзьями, когда это казалось ему выгодным. Так, несмотря на застарелую ненависть к Троцкому, он счёл целесообразным в первую годовщину революции воздать ему должное – притом не где-нибудь, а в газете «Правда», – как главному руководителю Октябрьского восстания, которому партия обязана тем, что петроградский гарнизон практически без сопротивления перешёл на сторону большевиков. Как видим, Сталин сумел тогда глубоко затаить жгучую ненависть к своему опасному сопернику. С тем большей силой она проявилась потом – и в конечном счёте погубила Троцкого.

С другой стороны, узы многолетней дружбы не помешали Сталину уничтожить Буду Мдивани и Сергея Кавтарадзе, оказавшихся в оппозиции к его политическому курсу.

Бухарин, лучше чем кто-либо другой знавший Сталина-политика, тоже подчёркивал его чрезвычайно мстительный характер. Впрочем, главной сталинской чертой он считал неутолимую жажду власти. В 1928 году, когда Бухарин ещё оставался членом Политбюро и главой Коминтерна, он как-то втихомолку, ночью, зашёл повидаться с Каменевым, чтобы выразить тому свою поддержку в обстановке коварных сталинских интриг. Говоря с Каменевым, Бухарин охарактеризовал Сталина такими словами: «Он беспринципный интриган, всё на свете подчиняющий своей жажде власти… Он всегда готов сменить свои взгляды, если считает, что это поможет ему избавиться от кого-либо из нас… Его интересует только власть. Пока что он, чтобы остаться у власти, делает нам уступки, но потом передушит нас всех… Сталин умеет только мстить, вечно

держит кинжал за пазухой. Нам бы следовало помнить его мысль насчёт „сладости мщения“!»

Свидетельство Бухарина тем более примечательно, что оно не предназначалось для митинга или собрания, не преследовало цели произвести впечатление, а было высказано с глазу на глаз человеку, который и сам достаточно хорошо знал Сталина.

Сталинское решение уничтожить большевистскую «старую гвардию» логически вытекало из всей истории его борьбы за власть. Он довольствовался ссылкой предводителей оппозиции в Сибирь и заключением их в лагерь лишь на то время, пока был занят укреплением режима собственной диктатуры. Как только эта цель оказалась достигнутой, и он счёл своё положение достаточно прочным, чтобы безнаказанно сжить со свету потенциальных соперников, – они были уничтожены, покинув политическую арену окончательно и навсегда.

Убийство Кирова, которое Сталину было необходимо для обвинения и ликвидации старых большевиков, не случайно было запланировано им на 1934 год. В этом году страна как раз начала выкарабкиваться из глубокого кризиса, в который она была ввергнута авантюристическими сталинскими методами индустриализации и коллективизации. Кстати, мало кто знает сейчас, что идея такой коренной перестройки экономики первоначально принадлежала Троцкому. Тогда Сталин решительно выступал против неё. Дошло до того, что на заседании ЦК он заявил, что для советской России строить Днепрогэс – то же самое, как если бы русский деревенский мужик вознамерился купить граммофон вместо коровы. Однако в дальнейшем, объявив оппозиционеров вне закона, он изменил своё отношение к их идеям и, более того, начал выдавать их за свои. Притом, если Троцкий настаивал на постепенной коллективизации сельского хозяйства по мере того, как

промышленность сможет поставлять машины, необходимые для эффективной работы крупных колхозов, – Сталин решился провозгласить «сплошную коллективизацию». В этой области, как и во многих других, Сталин стремился выказать себя ещё более последовательным и бескомпромиссным революционером, чем даже Троцкий!

Действуя и здесь привычными методами террора и принуждения, Сталин отказывался признать ту простую истину, что кнут не заменит тракторов и комбайнов. Сопротивление крестьянства коллективизации поставило страну на грань экономической катастрофы. Сталин ответил массовыми репрессиями, которые в свою очередь вызвали в ряде областей настоящие восстания сельского населения. На Северном Кавказе и в некоторых областях Украины в их подавлении участвовали вооружённые силы, вплоть до военной авиации.

Впрочем, Красная армия сама в значительной мере состояла из сыновей крестьян, которые понимали: в то время, как они подавляют восстание в одной части страны, в другой её части армейские подразделения точно так же брошены против их отцов и братьев. Неудивительно, что было много случаев перехода мелких подразделений армии на сторону восставших крестьян. На том же Северном Кавказе одна из авиационных эскадрилий отказалась вылететь на подавление восставших казачьих станиц. Она была немедленно расформирована, а половина её личного состава расстреляна. Один из сталинских приспешников, Акулов, назначенный заместителем начальника ОГПУ, был вскоре снят как не обеспечивший своевременной помощи со стороны ОГПУ одному из полков, попавшему в окружение: восставшее казацкое население расправилось с этим полком, не оставив в живых ни одного человека. Фриновский, начальник погранвойск ОГПУ,

отвечавший за подавление восстаний и проведение карательных операций, докладывал на заседании Политбюро, что в реках северного Кавказа плывут по течению сотни трупов – так велики были потери воинских подразделений. Соответственно этому и восстания были подавлены с невероятной жестокостью. Десятки тысяч крестьян были расстреляны без суда, сотни тысяч – отправлены в ссылку, в сибирские и казахстанские концлагеря, где их ждала медленная смерть.

Ещё одним следствием массовой коллективизации был голод, охвативший былую житницу Европы – Украину, а также Кубань, Поволжье и другие районы страны. Даже те иностранные журналисты, что обычно одобряли сталинскую политику, оценивали количество жертв голода в пять-семь миллионов человек… Согласно подсчётам ОГПУ в докладе, предназначенном для Сталина, число умерших голодной смертью составляло 3,3–3,5 миллиона. Причиной этого страшного мора были не какие-то природные стихии, неподвластные человеку, а безумие и произвол диктатора, неспособного предвидеть последствия своих действий и равнодушного к страданиям народа. Пресса Запада справедливо окрестила это бедствие «организованным голодом».

По стране бродили сотни тысяч бездомных детей и подростков, чьи родители умерли с голоду, были расстреляны или сосланы. Уделом детей стали попрошайничество и воровство. Для контроля за перемещениями взрослого населения была срочно введена паспортная система. Возникла сеть так называемых закрытых распределителей, снабжавших сталинскую бюрократию продовольствием и другими товарами в условиях всеобщего разорения и голода. Эти распределители ещё больше увеличили ненависть народа к правящей клике и поддерживавшему её слою. Привилегированные ли-

ца могли купить здесь, за тот же самый советский рубль в 20–30 раз больше, чем рядовой гражданин в обычном магазине.

Советские газеты не отозвались на страшный голод, поразивший страну, ни единой строкой. Они были заполнены крикливыми сообщениями об успехах индустриализации и восхвалениями «мудрого и любимого» Сталина. Цензура ужесточилась до предела. Корреспондентам иностранной прессы было запрещено выезжать за пределы Москвы и её окрестностей.

Сталинское руководство предприняло отчаянные усилия, чтобы создать впечатление некоего благосостояния хотя бы в столице – напоказ иностранным дипломатам и журналистам поезда с продовольствием, предназначенным для тех или иных, областей страны, нередко «конфисковывались» по дороге: их заворачивали на Москву. Милиция выбивалась из сил, вылавливая бездомных детей, хватая их на улицах и отправляя в тюремные камеры. А в театрах, как ни в чём не бывало, ставились помпезные спектакли, и знаменитые балетные коллективы выступали с прежним блеском. Пир во время чумы!

В стране нарастало всеобщее озлобление против режима, захватившее уже и партийных активистов. Даже аппарат ОГПУ был деморализован сомнениями и страхом за будущее. Бывали дни, когда и Сталин не мог не чувствовать, как почва уходит у него из-под ног. С тревогой выслушивал он ежедневные доклады ОГПУ, где отмечался масштаб волнений в стране и оживление оппозиционных настроений среди партийной массы. В Высшей партийной школе ходили по рукам листки с изложением платформы троцкистов. В Горьковской школе политпросвещения и Московском пединституте распространялись копии ленинского «завещания», находившегося под запретом. На стенах заводских

корпусов там и сям появились гневные надписи, направленные против Сталина.

Именно в эти критические дни, когда сталинская власть зашаталась, он, вероятно, и принял решение: если ему суждено пережить этот кризис и сохранить свою личную власть – в будущем следует избавиться от всех потенциальных соперников, которые сейчас злорадно ждут его падения.

2

Ещё задолго, до убийства Кирова Сталин с помощью разнообразных политических махинаций и «силовых приёмов» освободил себя от какого бы то ни было контроля со стороны партийных масс. В 1924 году, после смерти Ленина, он при поддержке Зиновьева и Каменева, напуганных огромной популярностью Троцкого, объявил так называемый «ленинский призыв в партию». В результате масса рабочих и служащих, которые в первый, самый тяжкий период революции держались в стороне от борьбы, хлынули теперь в партию, и партийцы, преданные революционным идеям, оказались разобщёнными в пассивной среде новичков. В дальнейшем, на протяжении 1924–1936 годов, Сталин организовал одну за другой чистки партии, в ходе которых многие мыслящие и получившие боевую закалку коммунисты в условиях сталинского курса объявлялись ненадёжными и лишались партбилетов. Вместо них в партию вовлекались советские служащие-бюрократы. В обмен на материальные блага и возможность карьеры они платили полным подчинением и готовы были выполнять любой приказ, исходивший сверху.

Особенно обескровили партию чистки, последовавшие за разгромом оппозиции. Внутрипартийные

разногласия уже не разрешались путём дискуссий и голосования, как при Ленине, а пресекались карательными мерами ОГПУ. Малейшее проявление независимости со стороны члена партии оказывалось достаточным, чтобы лишить его партбилета и уволить с работы. Основным положительным качеством партийца стало слепое повиновение парткому, а не преданность программе партии, как прежде. В этих условиях большевистская партия, представлявшая собой при Ленине живой и мыслящий организм, постепенно деградировала до состояния бездушной машины, лишённой какого бы то ни было влияния на политическую жизнь страны.

Правда, несмотря на чистки, к 1934 году в партии всё ещё насчитывалось небольшое число старых большевиков, приспособившихся в той или иной степени к сталинскому режиму. Отстранённые от участия в политике, они со свойственной им энергией отдались участию в индустриализации страны и укреплению её обороноспособности. Теперь пришло время убрать с дороги и этих людей, хорошо помнивших, что представляла собой партия при Ленине и Троцком, и понимавших, куда гнёт Сталин в своей политике.

Чтобы от них избавиться, Сталин организовал в 1935 году, под предлогом проверки и обмена партийных билетов, новую чистку, которая с циничной откровенностью была направлена против старых членов партии. Парткомы возглавлялись теперь молодыми людьми, вступившими в партию лишь недавно. Многие из них только что пришли из аппарата ЦК, где занимали разные мелкие должности. Даже партком всего огромного ОГПУ возглавлялся в 1934 году совсем молодым, двадцатипятилетним человеком, неким Балаяном, вступившим в партию всего за год до этого. Именно Балаян организовал комиссию по чистке

партии в Дзержинском районе Москвы, которая занималась исключением из партии старых большевиков с солидным дореволюционным тюремным и каторжным стажем.

Следующим шагом Сталина был роспуск Общества старых большевиков, последовавший в мае 1935 года. Это общество состояло из старых членов партии, активно занимавшихся подпольной революционной деятельностью при царском режиме и готовивших рабочий класс к революции. Ленин называл этих ветеранов «золотым фондом»; партийные массы относились к ним с любовью и уважением, считая их «совестью партии».

Обществу старых большевиков принадлежало издательство с типографией, где печатались различные марксистские труды и воспоминания членов Общества, воспроизводящие картины прошлого и участие старых большевиков в создании партии. Разумеется, в этих работах, которые были изданы по большей части ещё при Ленине, имя Сталина почти не упоминалось. В то же время целые главы посвящались деятельности других выдающихся большевиков. Одного этого было достаточно, чтобы Сталин возненавидел ветеранов большевизма. Их труды являлись бы вечным опровержением тех выдуманных сталинских биографий, которые он счёл необходимым заказать, дорвавшись до единоличной власти.

Члены Общества старых большевиков с негодованием следили за тем, с какой бесцеремонностью сталинские придворные «теоретики» искажают исторические события, выдумывают басни и не брезгуют даже прямой фальсификацией, чтобы состряпать для Сталина более впечатляющую биографию, представив его ближайшим, сотрудником Ленина. Старые члены партии стали свидетелями запрета, наложенного

на труды по истории партии, изданные при Ленине. Эти книги были заменены новыми, заполненными хвалой Сталину и клевещущими на других деятелей революций, которые на самом деле являлись неоспоримыми лидерами партии. Шло время. Сталинская жажда славы становилась всё более неутолимой, так что приходилось изымать из обращения даже эти новые книги по истории партии. На смену им появлялись совершенно уж фантастические писания, где роль Сталина выпячивалась настолько, что оставляла в тени самого Ленина. Старые большевики не могли вычеркнуть из памяти того, что видели в своё время собственными глазами. Не желали они и зазубривать, как школьники, новые легенды, прославлявшие нынешнего диктатора. Этих стариков, проведших лучшие годы своей жизни в царских тюрьмах или в ссылке, Сталин не мог надеяться подкупить. Правда, немногие из них, сломленные житейскими невзгодами и опасающиеся за судьбу своих детей и внуков, скрепя сердце, примкнули к сталинскому лагерю. Но остальные – подавляющее большинство – продолжали считать, что Сталин изменил делу революции. С горечью следили эти люди за торжествующей реакцией, уничтожавшей одно завоевание революции за другим.

После ареста и ссылки многих членов Общества старых большевиков, репрессированных за участие в оппозиции, оставшиеся на свободе замкнулись в себе. Они были бессильны противостоять сталинской тирании. Богатый политический опыт подсказывал им, что революции свойственны приливы и отливы. Теперь они втайне надеялись, что сталинскую реакцию смоет новая революционная волна. Пока что они помалкивали об этом. Но в обстановке сталинской диктатуры, делавшей восхваление вождя и его действий обязательным для всех, молчание рассматривалось как

признак протеста. Кроме того, пока эти люди имели возможность встречаться в стенах своего Общества и обмениваться мнениями по поводу происходящего Сталин не мог инсценировать судебные процессы и истреблять прежних руководителей большевистской партии.

После ликвидации Общества старых большевиков ветераны партии начали исчезать один за другим. Они переводились на разные должности в другие города, но лишь единицы достигли места назначения. Большинство были отправлены в Сибирь и бесследно исчезли.

Месяц спустя Сталин ликвидировал Общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Царская каторга, через которую прошли члены этого общества, означала приблизительно то же, что во Франции тех времён – ссылка на Чёртов остров. Сталин, как известно, не удостоился чести побывать в шкуре политкаторжанина.

Общество политкаторжан с 1921 года издавало журнал «Каторга и ссылка», посвящённый истории царской тюрьмы, каторги и ссылки, а также истории революционного движения в России до 1917 года. Даже беглый просмотр вышедших номеров этого журнала позволяет установить знаменательный факт: все легендарные герои российского революционного движения, упоминаемые здесь и дожившие до сталинской тирании, были репрессированы. Заговорщиков, угрожавших царскому трону, Сталин счёл теперь опасными для режима его собственной личной власти.

Ликвидация обоих обществ состоялась в тот период, когда множество других организаций продолжало существовать, широко субсидировалось и поощрялось свыше. Именно в эти годы по всей стране открылось большое количество клубов для привилегированной бюрократии: директоров промышленных предпри-

ятий, директорских жён, владельцев автомашин – и даже «Клуб западных танцев».

3

Угрозу своей власти Сталин усматривал не только со стороны ветеранов большевизма. Он опасался также молодого поколения, которое росло в затхлой атмосфере диктаторского режима. Ему было хорошо известно, что в царское время революционные партии вербовали в свои подпольные организации главным образом молодёжь, всегда отличавшуюся повышенным чувством справедливости и нетерпимостью к любому гнёту.

Сталин опасался молодёжи в некотором смысле даже больше, чем старых членов партии. Этих он почти всех знал лично, знал их образ мыслей и их намерения. Каждый из них был занесен в «чёрный список» ЦК и находился под неусыпным надзором ОГПУ. Напротив, в подрастающей молодёжи нелегко было разобраться, рассортировать её и исключить революционизирующие элементы. А между тем в критический момент они могли превратиться в реальную угрозу для сталинской тирании. Поэтому Сталин вновь и вновь требовал от ОГПУ расширения сети осведомителей среди молодёжи, особенно на промышленных предприятиях и в вузах.

Все его попытки контролировать молодёжь с помощью комсомола и других массовых организаций потерпели неудачу. По всей стране стихийно возникали молодёжные кружки, участники которых пытались найти ответ на политические вопросы, которые не полагалось задавать вслух. Не имея опыта какой бы то ни было нелегальной деятельности, их участники часто попадали в лапы НКВД.

Недовольство населения отражалось, конечно, и на комсомольцах, особенно происходящих из рабочей среды. Эту молодёжь горько обижало явное неравенство, царящее кругом – полуголодное существование большинства и роскошная жизнь привилегированной бюрократической касты. Сыновья и дочери простых рабочих видели, как их сверстники, дети высоких чинов, назначаются на заманчивые должности в государственном аппарате, в то время как их самих эксплуатируют на тяжёлых работах, где требуется ручной труд. Комсомольцам, завербованным на строительство московского метро, приходилось работать по десять часов в день, нередко по пояс в ледяной воде, а их сверстники из верхов в то же самое время раскатывали по Москве в лимузинах, принадлежащих их папашам. Безжалостная эксплуатация комсомольцев на строительстве метро привела к тому, что сразу восемьсот человек, бросив работу, направились как-то к зданию ЦК комсомола и швырнули там на пол комсомольские билеты, выкрикивая ругательства в адрес правительства. Это происшествие произвело большое впечатление на партийную верхушку. Сталин немедленно собрал на заседание членов Политбюро и потребовал созыва пленума московского комитета партии для обсуждения этой первой в истории комсомола стачки.

Отсутствие свободы слова и суровое подавление любой критической мысли заставили комсомольцев организовывать нелегальные кружки для обсуждения волнующих вопросов. Реакция властей последовала без промедления: в 1935–1936 годах тысячи комсомольцев были арестованы и отправлены в лагеря Сибири и Казахстана. Одновременно десятки тысяч юношей и девушек, в чьей лояльности власти не были уверены,

отправились туда же, будто по собственной воле, – «строить новые города».

Не рассчитывая на рабочий класс и другие слои населения, Сталин начал поиски иной социальной опоры, которая в случае чего, могла бы поддержать режим его личной власти. Самым смелым шагом в этом направлении следует считать восстановление казачьих войск, упразднённых революцией.

В царское время казаки являлись оплотом трона и орудием подавления революционного движения в России. Казачьи войска составляли самостоятельную часть российской армии, пользовались особыми привилегиями и правом самоуправления. Их шефом был лично царь, а главнокомандующим считался наследник престола. В течение жизни многих поколений казаки с детства обучались военному делу, воспитывались в строго монархическом духе и были убеждёнными врагами революции. Реакционность казаков укоренилась в них столь глубоко, словно они принадлежали к какой-то особой расе, карательные экспедиции, поручавшиеся казакам, топили в крови любую революционную вспышку.

После Октябрьской революции казачество, разумеется, примкнуло к контрреволюции. Из казаков состояли белые армии-генералов Каледина и Краснова. Добровольческая армия белых на Дону, возглавляемая генералами Алексеевым и Корниловым, тоже была казаческой. Донские и кубанские казаки считались главной силой генерала Деникина. Оренбургские и уральские казаки образовали армию Дутова, сражавшуюся против красных. На протяжении трёх лет гражданской войны казачество ожесточённо сражалось с Красной армией, беспощадно убивало красноармейцев, попавших в плен, а также всех, кто мог быть заподозрен в симпатиях к советской власти.

Теперь Сталин воскресил казачьи войска со всеми их привилегиями, включая казачью военную форму царского времени. Тот факт, что эта акция совпала по времени с разгоном обществ старых большевиков и политкаторжан как нельзя более ярко свидетельствовал о характере сталинских перемен.

На праздновании годовщины ОГПУ, которое состоялось в декабре 1935 года в Большом театре, всех приглашенных поразило присутствие неподалеку от Сталина, в третьей от него ложе, группы казачьих старшин в вызывающей форме царского образца, с золотыми и серебряными аксельбантами. В их честь московский танцевальный ансамбль исполнил казачью пляску. Сталин и Орджоникидзе весело аплодировали. Взгляды присутствующих чаще устремлялись в сторону воскрешённых атаманов, чем на сцену. Бывший начальник ОГПУ, отбывавший когда-то каторгу, прошептал, обращаясь к сидевшим рядом коллегам: «Когда я на них смотрю, во мне вся кровь закипает! Ведь это их работа!» – и наклонил голову, чтобы те могли видеть шрам, оставшийся от удара казацкой шашкой.

Сталину казаки были нужны, как и царю, для подавления вспышек недовольства: более надёжных исполнителей по этой части найти было трудно.

В сентябре 1935 года советские граждане с удивлением прочли в газетах правительственное постановление, которым в Красной армии взводились звания, упразднённые Октябрьской революцией. До этого дня командиры Красной армии различались по занимаемым должностям: «комроты», «комбат», «комполка» и т. д. Новое постановление восстанавливало почти полную иерархию прежних титулов. Командирские оклады были удвоены, огромные средства отпущены на строительство клубов, домов отдыха и жилых домов, предназначенных исключительно для командного со-

става. И это было только начало. В дальнейшем Сталин восстановил генеральские звания (хотя ранее народу прививалась – притом успешно – ненависть уже к самому слову «генерал») и военную форму, близкую к дореволюционной, вплоть до золотых и серебряных аксельбантов.

Введение особых воинских званий вкупе с новыми привилегиями для командиров ликвидировало последние остатки товарищеских отношений, сохранявшихся в армии ещё со времён гражданской войны. Всё это преследовало две цели: во-первых, дать командному составу Красной армии реальные стимулы, которые заставили бы их защищать советскую власть, а во-вторых, показать народу, что революция со всеми её обещаниями кончилась и сталинский режим достиг полной стабильности.

4

7 апреля 1935 года советское правительство опубликовало закон, небывалый в истории цивилизованного мира. Этим законом провозглашалась равная со взрослыми ответственность, вплоть до смертной казни, для детей от двенадцати лет и старше за различные преступления, начиная с воровства.

Народ был поражён этим чудовищным актом. Хорошо зная, что в сталинских судах царят равнодушие и беззаконие, люди испытывали тревогу за детей, которые легко могли стать жертвами ложного обвинения, а то и просто недоразумения. Это нововведение поразило даже тех, кто занимал видное положение среди сталинистской бюрократии.

Желая смягчить жуткое впечатление, произведённое этим законом, правительство прибегло к смехотворной уловке: оно распустило слух, что новый закон

направлен главным образом против… беспризорных, которые расхищают продовольствие из колхозных амбаров и железнодорожных вагонов.

Согласно марксистской теории, преступление является порождением социальной среды, которая сформировала преступника. Если эта точка зрения верна, то она – безжалостный приговор всему сталинскому строю, который даже детей превратил в преступников, притом в столь небывалом количестве, что правительство не придумало ничего лучшего, как распространить на них законодательство, рассчитанное на преступников взрослых. Тот факт, что на восемнадцатом году существования советского государства Сталин решился на введение смертной казни для детей, более ярко, чем другие, говорит о его истинном нравственном облике.

Опубликование нового закона застало меня за пределами Советского Союза. Советские дипломаты, находившиеся за рубежом, выражали возмущение этим чудовищным актом сталинского произвола. К тому же Сталин ещё раз показал: на мировое общественное мнение ему наплевать. Один советский посол сказал мне, что он предложил своим подчинённым отменить пресс-конференцию для иностранных корреспондентов и сам избегает встреч с дипломатами других стран из боязни вопросов, касающихся этого позорного закона.

В подобной же щекотливой ситуации оказались и лидеры зарубежных коммунистических партий. В августе 1935 года на съезде Объединения французских учителей делегатам-коммунистам был задан вопрос относительно этого закона. Сначала они не нашли ничего лучшего, как вообще отрицать, что подобный закон принят в Советском Союзе. Когда же на следующий день им показали газету «Известия» с его текстом, они заявили буквально следующее: «При коммунизме дети

настолько сознательны и хорошо образованы, что вполне в состоянии отвечать за свои поступки».

То обстоятельство, что столь постыдный закон был оглашён без всякого стеснения, ещё труднее поддаётся объяснению, если принять во внимание, что Сталин всегда старался утаить от мира теневые стороны своего режима. Мы знаем, что он постоянно отрицал даже существование в СССР концентрационных лагерей, хотя это ни для кого в мире не являлось тайной. Миллионы заключённых, томившихся при нём в сибирских лагерях, сплошь и рядом попадали за колючую проволоку без какого бы то ни было суда, и о них никогда не упоминалось в советских газетах. Что касается смертных приговоров в СССР, то на каждый такой приговор, вынесенный судом и преданный гласности, приходилось не менее сотни казней, совершённых в полной тайне.

Обстоятельства, породившие варварский закон, стали мне известны только по возвращении в Москву.

Я узнал, что ещё в 1932 году, когда сотни тысяч беспризорных детей, гонимых голодом, забили железнодорожные станции и крупные юрода, Сталин негласно издал приказ: те из них, кто был схвачен при разграблении продовольственных складов или краже из железнодорожных вагонов, а также те, кто подхватил венерическое заболевание, подлежали расстрелу. Экзекуция должна была производиться в тайне. В результате этих массовых расстрелов и других «административных мероприятий» к лету 1934 года проблема беспризорных детей была разрешена в чисто сталинском духе.

Теперешний закон, таким образом, вовсе не был направлен против беспризорников – в этом уже не было необходимости. Его цель была совершенно иной, и выяснилось это, когда Сталин своими инквизиторскими методами начал готовить старых «соратников» к первому московскому процессу 1936 года.

Как я уже упоминал, Зиновьев, и Каменев на какое-то время утолили сталинскую жажду мести, согласившись на тайном судилище 1935 года признать свою «морально-политическую ответственность» за убийство Кирова. Но ненадолго: для ликвидации их обоих, а заодно и других заслуженных членов партии Сталин нуждался в недвусмысленном «признании» Зиновьева и Каменева в том, что именно они организовали покушение на Кирова и вдобавок намеревались убить его самого. Чтобы заставить Зиновьева и Каменева показывать такое на самих себя, и притом в открытом судебном заседании, требовались новые, особо утончённые и эффективные инквизиторские методы. Надлежало найти в душе этих сталинских заложников самую уязвимую, самую чувствительную точку и использовать соответствующий приём пытки.

Такая болевая точка была найдена: привязанность старых большевиков к своим детям и внукам. Лидерам оппозиции уже однажды угрожали карой, которая может постигнуть их детей. Это произошло в ходе подготовки тайного судилища 1935 года. Тогда они не поверили этим угрозам, полагая, что даже Сталин не пойдёт на такое чудовищное преступление. А теперь бывшим оппозиционерам, находящимся в заключении, просто показали копию газетного листа, где был опубликован правительственный указ, обязывающий суд применять к детям все статьи уголовного кодекса, а стало быть, и любую кару, включая и смертную казнь. Стало ясно, что Сталина они недооценили и что их дети и внуки оказались в смертельной опасности. Так новый закон вошёл в арсенал средств сталинской инквизиции в качестве одного из наиболее действенных орудий моральной пытки и психического давления. Секретарь ЦК Николай Ежов лично распорядился, чтобы текст этого закона лежал перед следователями на всех допросах.

Мистические процессы

1

Чудовищные обвинения, выдвинутые Сталиным против старых партийцев, ошеломили весь мир. Обвиняемые, представшие перед судами в Москве, пользовались известностью далеко за рубежами страны. Это были люди, вместе с Лениным и Троцким поднявшие массы российских трудящихся на величайшую социальную революцию и основавшие государство, подобного которому не знала история.

Что могло заставить этих выдающихся деятелей вдруг изменить своим идеалам, своей партии, рабочему классу и совершить ряд гнуснейших преступлений – таких, как шпионаж, предательство, подрыв советской промышленности, вплоть до массового убийства рабочих – и всё это ради единственной цели – восстановить в СССР капитализм?

Московские процессы поставили мир перед дилеммой: либо все товарищи и ближайшие помощники Ленина действительно превратились в изменников и фашистских шпионов, либо Сталин является небывалым фальсификатором и убийцей.

Замешательство, вызванное чудовищностью обвинений, ещё более возросло, когда все обвиняемые признали свою вину в ходе публичного процесса. Ещё более усилилось недоверие к подобному суду. Странное поведение обвиняемых на суде породило самые разнообразные предположения и догадки: будто бы они давали свои показания под действием гипноза или показания были вырваны пытками, или же подсудимых пичкали специальными снадобьями, парализующими их волю. Только одно никому не приходило в голову: что Сталин прав и что старые товарищи Ленина

сознавались в кошмарных преступлениях потому, что действительно совершили их.

Сталин, безусловно, понимал, что мир не поверит голословным заявлениям прокуратуры, будто основатели большевистской партии продались Гитлеру или японскому императору и старались восстановить в СССР капиталистические порядки. Поэтому естественно было бы ожидать, что он сделает всё, что в его силах, чтобы только подкрепить обвинения хоть какими-нибудь объективными доказательствами. Тем не менее, ни на одном из трёх московских процессов государственный обвинитель не смог предъявить ни одного документа, доказывающего вину обвиняемых: ни конспиративного письма, ни шпионского донесения, ни хотя бы политической прокламации либо листовки.

Эта особенность московских процессов представлялась ещё более странной, если вспомнить, что, согласно обвинительному заключению, масштаб заговора, инкриминированного подсудимым, был гигантским: он охватывал всю территорию Советского Союза, а его участники подозревались в нелегальных поездках в Германию, Францию, Данию, Норвегию, где якобы совещались относительно убийства руководителей советского правительства и расчленения СССР. По всему Советскому Союзу были раскиданы десятки активно действующих террористических и диверсионных групп, которые будто бы совершали покушения на жизнь вождей, взрывали мины и выводили из строя целые промышленные предприятия. В общем, сотни человек в течение целых четырёх лет подготавливали распад государства. Чем же объяснялся тот факт, что НКВД не сумел обнаружить ни единой бумажки или иного вещественного доказательства?

В беседе с несколькими иностранными писателями Сталин объяснил это так: обвиняемые, старые и опыт-

ные конспираторы, заранее уничтожили все документы, которые могли бы им повредить. Считая себя знатоком сыскной практики охранного отделения и современного НКВД, Сталин, вероятно, про себя посмеивался над наивностью собственного разъяснения, которое не выдерживало никакой критики.

Партийцы-подпольщики в царской России были не менее опытными конспираторами, чем обвиняемые на московских процессах. Вернее, на скамье подсудимых и до революции, и теперь, при Сталине, сидели одни и те же люди. Тем не менее, полиция постоянно находила на их конспиративных квартирах массу документов, которые затем предъявлялись суду как вещественные доказательства их революционной деятельности. После Февральской революции в архивах охранного отделения были обнаружены сотни секретных партийных документов, включая письма самого Ленина.

НКВД, подобно дореволюционному охранному отделению, получал в своё распоряжение разного рода «зацепки» и документальные свидетельства с помощью агентов-провокаторов. Замечу, что в распоряжении НКВД было гораздо больше возможностей для вербовки секретных сотрудников, то есть осведомителей, чем у охранного отделения. Последнее, стремясь принудить революционера стать агентом-провокатором, не могло угрожать ему смертью в случае отказа. НКВД не только угрожал, но имел действительную возможность убивать строптивых, так как не нуждался в судебном приговоре. Дореволюционный департамент полиции мог отправить в ссылку самого революционера, однако не имел права сослать или подвергнуть преследованиям членов его семьи. НКВД такими правами обладал.

Когда советское правительство опубликовало отчёт о судебных заседаниях по первому процессу, западная пресса, с самого начала подозревавшая, что Сталин

просто сводит счёты с бывшими лидерами оппозиции, подчеркнула тот факт, что суду не было представлено никаких объективных доказательств вины подсудимых. Реакция Запада встревожила Сталина, и он потребовал от государственного обвинителя Вышинского дать на следующем процессе публичное объяснение. И вот в своей речи на втором московском процессе, состоявшемся в январе 1937 года, Вышинский заявил:

– Приписываемые обвиняемым деяния ими совершены… Но какие существуют в нашем арсенале доказательства с точки зрения юридических требований?.. Можно поставить вопрос так: заговор, вы говорите, но где же у вас имеются документы?..

Я беру на себя смелость утверждать, в согласии с основными требованиями науки уголовного процесса, что в делах о заговорах таких требований предъявлять нельзя.

Таким образом, сам государственный обвинитель с циничной откровенностью признал, что обвинение не располагало какими бы то ни было вещественными доказательствами вины подсудимых. У любого думающего человека не мог не возникнуть вопрос: если следователи не смогли предъявить арестованным никаких улик, что же заставило старых большевиков сознаться в преступлениях, которые по советским законам караются смертью?

Люди, севшие ныне на скамью подсудимых, не раз представали перед царскими судами и прекрасно ориентировались в основах уголовного законодательства. Они знали, что не обязаны доказывать свою невиновность, что, напротив, бремя доказательства возлагается на государственного обвинителя. Казалось бы, самым разумным для них было хранить молчание и ждать, пока расследование их «дела» не потерпит фиаско. Вместо этого подсудимые, к изумлению всего мира,

единодушно сознавались во всех преступлениях, какие только им ни приписывались. Этот необъяснимый феномен повторялся на всех трёх московских процессах. Зная, что следственные органы не располагают ни малейшими уликами против них, арестованные партийцы из каких-то таинственных побуждений согласились обеспечить своих обвинителей единственным компрометирующим материалом, на котором вообще строились процессы – своими собственными признаниями!

Вдобавок они делали это с такой готовностью, что юристам и психологам всего мира оставалось только ломать голову: что же происходит? На каждом из процессов подсудимые без малейшего колебания сознавались в самых чудовищных преступлениях. Они называли себя предателями социализма и пособниками фашистов. Они помогали прокурору подыскивать самые ядовитые и уничижительные эпитеты, нужные тому для характеристики их личностей и деятельности… Они старались превзойти друг друга в самобичевании, объявляя себя самыми активными участниками заговора, главными виновниками. С необъяснимым усердием обвиняемые играли роль собственных обвинителей.

Итак, подсудимые во всём соглашались с тем, что говорил обвинитель, и даже не протестовали, когда он грубо искажал факты их биографий. Так, уступая давлению Вышинского, Зиновьев признал, что он, в сущности, никогда не был настоящим большевиком. Ещё более характерным оказался диалог Вышинского с Христианом Раковским. Раковский был участником революционного движения с 1899 года, после революции Ленин назначил его на пост руководителя советской Украины.

Вышинский. Чем вы занимались в Румынии официально? Какие у вас были средства к существованию?

Раковский. Я был сыном состоятельного человека. Мой отец был помещиком.

Вышинский. Значит, вы жили на доходы в качестве рантье?

Раковский. В качестве сельского хозяина.

Вышинский. То есть помещика?

Раковский. Да.

Вышинский. Значит, не только ваш отец был помещиком, но и вы были помещиком, эксплуататором?

Раковский. Ну конечно, я эксплуатировал. Получал же я доходы, а доходы, как известно, получаются от прибавочной стоимости.

Вышинский. Ну ладно. Для меня важно было установить источник ваших доходов.

Раковский. А для меня важно сказать, на что я их тратил!

Вышинский. Это другой разговор. А сейчас вы поддерживаете отношения с различными помещичьими кругами?

Обвинитель так и не дал возможности Раковскому сказать, что он делал с наследством, полученным от отца. Почему же? Только потому, что Вышинский отлично знал – да и многие в партии знали, – что Раковский отдал всё унаследованное им состояние в фонд революционного движения. На его деньги существовала Румынская социалистическая партия, которую он же сам и основал, и ежедневная социалистическая газета, – он же её и редактировал. Наряду с этим Раковский субсидировал несколько революционных организаций в разных странах и оказывал материальную поддержку революционному движению в России, А здесь ему не позволили даже сказать, что всё полученное им наследство было отдано партии! Вышинскому было важнее всячески выпячивать «помещичье прошлое» Раковского.

Даже в томе «Малой советской энциклопедии», вышедшем уже после исключения Раковского из ВКП(б) за участие в антисталинской оппозиции, пришлось указать, что этот человек стал профессиональным революционером с шестнадцати лет, принимал активное участие в рабочем движении многих стран, неоднократно подвергался за это аресту. Более того, энциклопедия сообщает, что в мае 1917 года он в связи с революционными событиями в России был освобождён русскими солдатами из румынской тюрьмы в Яссах.

Нежелание старых большевиков даже пальцем пошевельнуть в свою защиту само по себе уже настораживало. Но ещё более показателен такой факт: проявляя столь странное равнодушие к собственной защите, обвиняемые в то же время постоянно отстаивали правоту Сталина и его политику, оправдывая даже московские процессы, которые он затеял против них.

– Партия, – говорил Зиновьев в своём последнем слове, – видела, куда мы идём, и предостерегала нас. В одном из своих выступлений Сталин подчеркнул, что эти тенденции среди оппозиции могут привести к тому, что она захочет силой навязать партии свою волю… Но мы не внимали этим предупреждениям.

Подсудимый Каменев в последнем слове сказал:

– В третий раз я предстал перед пролетарским судом… Дважды мне сохранили жизнь. Но есть предел великодушию пролетариата, и мы дошли до этого предела.

Вот уж, действительно, необычайное явление! Очутившись на краю пропасти, под гнётом обвинения, старые большевики рвутся на помощь Сталину, вместо того чтобы спасать себя, – будто не им грозит смертная казнь. А ведь из простого чувства самосохранения они должны были хотя бы в последнем слове сделать отчаянную попытку защитить себя и спастись, а вместо

этого они тратят последние минуты жизни на восхваление своего палача. Они заверяют окружающих, что он всегда был слишком терпелив и слишком великодушен по отношению к ним, так что теперь имеет право их уничтожить…

Оценивая их поведение, можно подумать, что каждым из них владело единственное непреодолимое желание: поскорее умереть. Но это не так. Они отчаянно боролись за жизнь, – но не доказывая свою невиновность, как поступают обвиняемые перед настоящим, беспристрастным, справедливым судом, а лишь стремясь возможно более точно соблюсти уговор со Сталиным: оклеветать себя, восславить его.

Сталин знал, что уже первый из московских процессов был встречен на Западе с недоверием. Было трудно поверить, что недавние вожди советского народа вдруг превратились в предателей и убийц. Естественно, возникли предположения, что эти люди оклеветали себя, будучи подвергнуты пыткам, и что Сталин просто прикрывает судебной процедурой убийство ни в чём не повинных людей. Сталину было чрезвычайно важно рассеять такое впечатление. Но как? Если он попытается уверять, что старых партийцев не пытали, это лишь укрепит подозрение в том, что пытки всё-таки были. И вот на двух последующих московских процессах не кто иной, как сами обвиняемые, встают и опровергают упорные слухи о том, будто к ним применялись пытки.

Например, Бухарин, выступая на третьем московском процессе, назвал «заграничными выдумками», будто он и другие подсудимые подвергались пыткам, воздействию гипноза и наркотических средств, «сказками и безусловно контрреволюционными баснями».

Интересно, кстати, было бы узнать, какими путями Бухарин проведал, что пишет о нём зарубежная пресса.

Как известно, в Советском Союзе никто, даже и те граждане, что находились на свободе, не имели доступа к иностранным газетам, – что же тут говорить о заключённых!

Обвиняемый на втором процессе Радек, славившийся остроумием, кажется, даже слегка переусердствовал в стремлении обелить сталинское следствие. Он сказал, выступая в зале суда:

– Два с половиной месяца я мучил следователя. Здесь поднимался вопрос, не мучили ли нас в ходе следствия. Я должен сказать, что со мной дело обстояло как раз наоборот: это я мучил следователя, а не он меня!

Что за парадокс: старые большевики были ужасно удручены тем, что мир сомневался в их виновности! Их прямо-таки выводил из себя тот факт, что в других странах их продолжали считать порядочными людьми и жертвами сталинской инквизиции, а вовсе не шпионами, предателями и убийцами. Накануне того дня, когда по приказу своего заклятого врага им предстояло получить пулю в затылок, они беспокоились о том, как бы в мире не подумали, что Сталин – бесчестный обманщик, заставивший их клеветать на себя и друг на друга.

Одной из особенностей московских процессов явилось поразительное единомыслие, связывавшее обвиняемых, обвинителя и защиту. Все они стремились доказать, что подсудимые несут ответственность за любые бедствия, обрушившиеся на советский народ – за голод, за частые железнодорожные катастрофы, за аварии на заводах и шахтах, сопровождавшиеся гибелью рабочих, за крестьянские восстания и даже за непомерный падёж скота, – в то время как Сталин, и никто кроме, является спасителем народа и «надеждой мира». Заявления подсудимых не отличались от деклараций

прокурора. Речи защитников содержали ещё более резкие выпады по адресу обвиняемых, чем позволял себе государственный обвинитель.

Хотя сам Вышинский отметил, что следственные органы не смогли обнаружить документальных свидетельств и, таким образом, обвинение основывается лишь на признаниях обвиняемых, защитник Брауде заявил на суде:

– В настоящем деле, товарищи судьи, не может быть спора о фактах. Товарищ прокурор был совершенно прав, когда заявил, что со всех точек зрения – с точки зрения документов, собранных по делу, с точки зрения допроса вызванных в суд свидетелей… все факты подтверждены, и в этой части защита не имеет намерения входить в какое-либо противоречие с обвинением.

Другой защитник, Казначеев, в своей речи на втором из московских процессов сказал:

– Факты дела основаны не только на показаниях обвиняемых, но и отягощены весом свидетельств, имеющихся в нашем распоряжении. Тяжесть вины подсудимых не поддаётся измерению!

Кто-нибудь может подумать, что так называемые защитники произносили подобные речи, утратив всякое чувство стыда и стараясь не встречаться глазами со своими подзащитными, а те, напротив, метали в их сторону гневные взгляды, поскольку их доверие к защите оказалось так подло обмануто. Ничего подобного! Защитники не могли испытывать угрызений совести, да и подсудимые вовсе не были охвачены негодованием. Все участники сталинских процессов знали, что каждый из них, будь то обвиняемый или защитник, прокурор или судья, действует не по своей воле, а вынужден играть роль, назначенную ему в строгом соответствии с заранее подготовленным сценари-

ем. Перед каждым маячит роковая дилемма. Для обвиняемого она выглядит так: играть роль уголовного преступника – или погубить не только себя, но и свою семью. Для обвинителя и председателя трибунала – провести судебный спектакль, назначенный Сталиным, без сучка и задоринки или погибнуть ни за что, за малейшую ошибку, которая даст повод заподозрить, что всё дело шито белыми нитками. Для защитника – в точности исполнить тайную инструкцию, полученную от прокурора, или разделить судьбу своих подзащитных…

Одна из целей Сталина состояла в том, чтобы запугать недовольные массы рабочих и тех членов партии, кто всё ещё сочувствовал оппозиционерам. Требовалось показать им, какая судьба ждёт любого, кто осмелится поднять голос против сталинской диктатуры. В соответствии с этой целью обвиняемые со своей стороны обратились к членам партии с недвусмысленными предостережениями.

Подсудимый Богуславский сказал: «Я начал с пустяка, который, на первый взгляд, может показаться невинным… В один прекрасный день вы сворачиваете с дороги, совершаете ошибку, вы настаиваете на своих ошибках и, как правильно сказал вчера государственный обвинитель, это может привести и приводит, как в нашем случае, к фашистскому контрреволюционному болоту».

Подсудимый Розенгольц выразил ту же сталинскую угрозу такими словами: «Жалкой и несчастной будет судьба того, кто допустит хоть малейшее отклонение от генеральной линии партии!»

Намечая сценарии судебных спектаклей, Сталин не смог сдержать своей страсти к самовосхвалению. Естественно, что ход этих процессов отразил симпатии и антипатии, чувства и мысли сценариста.

Вышинский, соответственно, уснащал свои обвинительные речи обильными дифирамбами «великому, гениальному, мудрому, любимому и дорогому Сталину», а одно из выступлений закончил так:

– Мы, наш народ будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге во главе с нашим любимым вождем и учителем – великим Сталиным – вперёд и вперёд, к коммунизму!

Бухарин на суде восклицал: «Он (Сталин, разумеется, – А. О.) – надежда человечества! Он – зиждитель!» Другой подсудимый, Розенгольц, провозглашал: «Да здравствует партия большевиков с её традициями энтузиазма, героизма, самопожертвования, которых нет нигде в мире, кроме как в нашей стране, идущей к светлому будущему под руководством Сталина!»

От прокурора и подсудимых не отставали и защитники: «Что же касается сталинского руководства, против которого была направлена эта борьба, – рассуждал защитник Коммодов, – …170 миллионов заслонили своего вождя стеною любви, уважения и преданности, которую не сломить никому! Никому и никогда!»

И такую-то мешанину из всякого рода фальсификаций, пропаганды и саморекламы Сталин пытался выдать за объективный суд!

2

Каждый, кому привелось читать или хотя бы просматривать официальные стенограммы московских процессов, наверняка заметил, что все они направлены в первую очередь против Троцкого. Он был особенно ненавистен Сталину, и ненависть только усиливалась оттого, что с 1929 года Троцкий находился за границей, в изгнании, и был вне пределов досягаемости.

Не имея возможности казнить этого выдающегося руководителя двух русских революций – 1905 и 1917 года – вместе с остальными сподвижниками Ленина, Сталин временно удовлетворил свою жажду мести, заставив всех участников московских процессов – подсудимых, прокурора и защитников – поносить Троцкого и изображать его главным преступником и моральным выродком.

Задавшись целью представить Троцкого в качестве организатора и руководителя всего «контрреволюционного подполья», Сталин выдумал «нити заговора», тянущиеся в СССР из тех стран, где в разное время жил Троцкий – Дании, Франции, Норвегии.

Сталин наметил два вида этих связей Троцкого с «контрреволюционным подпольем». Во-первых, Троцкий якобы ведёт тайную переписку с руководителями этого подполья, находящимися в СССР. Во-вторых, они специально приезжают к нему из Советского Союза, чтобы отчитаться перед ним и получить новые директивы.

Мы уже знаем, что на московских процессах государственный обвинитель не смог предъявить ни одной строчки из этой «тайной переписки», хотя она шла якобы в течение нескольких лет. Тем более важно было доказать, что, по крайней мере, тайные свидания «заговорщиков» с Троцким действительно происходили, и не раз. Ради подкрепления этой версии руководство НКВД внушило троим обвиняемым – Гольцману, Пятакову и Ромму, – что им надлежит признать на суде, будто бы каждый из них в разное время встречался с Троцким за границей и получал от него директивы для подпольной организации. Показания этих обвиняемых сделались главным козырем обвинения и, как рассчитывал Сталин, должны были принести немалый эффект. Однако неожиданно для него выяснилось, что

существенные детали этих встреч с Троцким не выдерживают критики. Это обстоятельство лишило всякого юридического смысла «признания» обвиняемых об их свиданиях с Троцким.

Промах, допущенный в этом вопросе Сталиным, объясняется просто. Дело в том, что Троцкий жил за границей с 1929 года, когда его выслали из СССР. Естественно, только там он и мог встречаться с «заговорщиками». Идея таких встреч казалась Сталину настолько соблазнительной, что он упустил из виду весьма немаловажное обстоятельство: власть НКВД на заграницу не распространялась, следовательно, там нельзя было пресечь проверку фактов и установление истины. В этих условиях юридический спектакль, основанный на мнимых свиданиях «заговорщиков» с Троцким, был сопряжён с большим риском.

Разоблачение сталинской выдумки в данном случае произошло так.

На первом из московских процессов подсудимый Гольцман признался, что, будучи послан со служебным поручением в Берлин в ноябре 1932 года, он тайно встретился там со Львом Седовым, сыном Троцкого, и, по поручению одного из руководителей заговора (И. Н. Смирнова), передал ему для Троцкого некие отчёт и шифр для дальнейшей связи. В ходе одной из следующих встреч Седов якобы предложил Гольцману съездить вместе с ним к Троцкому, жившему тогда в Копенгагене.

«Я согласился, – показывал Гольцман на суде, – но предупредил его, что по соображениям конспирации мы не должны ехать туда вдвоём. Я договорился с Седовым, что буду в Копенгагене через два или три дня, остановлюсь в гостинице „Бристоль“ и там встречусь с ним. Я направился в гостиницу прямо с вокзала и в вес-

тибюле встретил Седова. Около 10 часов утра мы отправились к Троцкому».

Гольцман признал, что Троцкий сказал ему: «…необходимо убрать Сталина… необходимо подобрать людей, пригодных для выполнения этого дела».

Когда признания Гольцмана были опубликованы в газетах, Троцкий объявил их ложными и тут же, через иностранную прессу, обратился к советскому трибуналу и государственному обвинителю Вышинскому с требованием пусть они спросят Гольцмана, с каким паспортом и под каким именем он приезжал в Данию.

Вышинский, конечно, не задал Гольцману таких вопросов. Зная, что датские власти регистрируют имена и паспортные данные всех въезжающих в страну иностранцев, он боялся, что западные журналисты начнут наводить в Дании справки и вся эта история будет публично разоблачена как чистейшая выдумка. Между тем показания Гольцмана были существенно важны для процесса в целом: на них базировались обвинения, выдвинутые против остальных подсудимых. В обвинительном заключении было сказано (и в дальнейшем подтверждено ещё раз в тексте приговора), что подсудимые были намечены как исполнители террористических актов согласно директивам, полученным в Копенгагене от Троцкого именно Гольцманом.

Трибунал приговорил всех подсудимых, в том числе и Гольцмана, к расстрелу. 25 августа 1936 года, на следующий день после вынесения приговора, он был приведён в исполнение. «Мёртвый не скажет», – гласит известная пословица. Сталин и Вышинский полагали, что их судебный спектакль теперь уж никогда не будет разоблачён. Однако они просчитались.

1 сентября (не, прошло и недели после расстрела «заговорщиков»!) газета «Содиалдемократен», официальный орган датского правительства, опубликовала

сенсационное сообщение; гостиница «Бристоль», где якобы в 1932 году происходила встреча Седова с Гольцманом и откуда оба они, по свидетельству Гольцмана, направились на квартиру Троцкого, была в действительности закрыта в связи со сносом здания ещё в 1917 году.

Мировая пресса немедленно подхватила сенсацию. Со всех сторон, от врагов и недоумевающих друзей, в Москву потекли запросы: как же так? Сталин хранил молчание.

В США под председательством известного философа Джона Дьюи была образована комиссия по расследованию обвинений, выдвинутых Москвой против Троцкого. Тщательно изучив факты, касающиеся «копенгагенского эпизода», она пришла к таким выводам:

«Общеизвестно и доказано, что в Копенгагене в 1932 году гостиницы „Бристоль“ не существовало. Очевидно, таким образом, что Гольцман не мог встретиться с Седовым в этой гостинице. Тем не менее, он ясно заявил: он уговорился с Седовым, что „остановится“ в этой гостинице и встретится с ним именно здесь, и такая встреча действительно состоялась в вестибюле этой гостиницы…

Таким образом, мы вправе считать установленным: …что Гольцман не встретился здесь с Седовым и не направился с ним к Троцкому; что Гольцман не виделся с Троцким в Копенгагене».

Помимо разоблачения «показаний» Гольцмана, комиссия абсолютно точно установила, что Седова вообще не было и не могло быть в Копенгагене в период с 23 ноября по 2 декабря 1932 года, то есть в дни, когда здесь находился Троцкий. Редко случается, чтобы частная комиссия, не облечённая государственной властью, не имея доступа к правительственным источникам информации и не нанимая специальных агентов, оказа-

лась в состоянии собрать такое количество бесспорных доказательств – свидетельских показаний и документов, – как это удалось сделать комиссии Дьюи, в частности по вопросу о встрече Седов-Гольцман. Я приведу всего два примера таких свидетельств.

Во-первых, это зачётная книжка Седова, бывшего в то время студентом Высшей технической школы в Берлине, экзаменационные листы с подписями и печатями этой школы и подписями преподавателей, журнал посещаемости занятий с датами и подписями, – все эти документы однозначно свидетельствуют, что в те дни, когда Троцкий находился в Копенгагене, его сын сдавал экзамены в Берлине.

Во-вторых, личная переписка Седова с родителями, не оставляющая сомнений в том, что с 23 ноября по 3 декабря 1932 года он находился именно в Берлине. Так, в одном из писем, адресованном родителям накануне их отъезда из Дании, он пишет:

«Дорогие мои, ещё около полутора суток вы будете всего в нескольких часах езды от Берлина, но я не смогу приехать повидать вас! Немцы не дали мне разрешения продлить моё пребывание здесь, а без него я не получу датской визы, да если б и получил – не смог бы вернуться в Берлин».

Ещё более выразительным свидетельством является открытка, посланная Седовой-Троцкой сыну из датского порта Эльсберг в день отъезда из Дании. В этой открытке с почтовым штампом «Эльсберг, 3 дек. 32» Седова-Троцкая с огорчением пишет, что им не удалось повидаться перед отъездом и кончает такими словами: «Я всё ещё надеюсь, что произойдет чудо – и мы увидимся с тобой здесь».

3

Узнав о сообщениях датских газет об отсутствии в Копенгагене гостиницы «Бристоль», Сталин пришёл в бешенство: «На кой черт вам сдалась эта гостиница! Сказали бы, что они встретились на вокзале. Вокзалы всегда стоят на месте!» Сталин приказал Ягоде произвести детальное расследование и доложить ему фамилии сотрудников НКВД, виновных в такой дискредитации всего судебного процесса. В надежде как-то выправить положение Ягода сразу же отрядил в Копенгаген опытного сотрудника Иностранного управления НКВД, чтобы тот посмотрел на месте, что можно сделать для ликвидации промаха или хотя бы смягчения столь скандального эпизода. Сотрудник вернулся ни с чем. Множество людей, причастных к этому делу, недоумевало: как вообще могло случиться, что НКВД выбрало для столь серьёзного дела несуществующий «Бристоль». Ведь в Копенгагене имеется бесчисленное множество реально существующих гостиниц, – казалось бы, есть из чего выбирать! Специальное расследование, проведённое по требованию Сталина, выявило следующее.

Когда Гольцман, не выдержав инквизиторского нажима следователей, согласился наконец подписывать всё, что ему будет предъявлено, организаторам процесса потребовалось выбрать место мнимых встреч Гольцмана с Седовым, притом такое место, чтобы оттуда легко было попасть на квартиру Троцкого.

Ежов решил, что наиболее подходящим местом является гостиница. Название соответствующей копенгагенской гостиницы следовало получить от так называемого Первого управления Наркоминдела, собиравшего информацию обо всех зарубежных странах. Однако начальник Секретного политического управле-

ния НКВД Молчанов, обеспечивавший «техническую сторону» подготовки судебного процесса, счёл неосторожным прямо обращаться в Наркоминдел за названием гостиницы в Копенгагене. Он знал, что это название вскоре будет фигурировать на открытом процессе и сотрудники Наркоминдела смогут сообразить, что к чему. Но Молчанов перемудрил. Он приказал своему секретарю позвонить в Первое управление Наркоминдела и попросить рекомендовать несколько гостиниц в Осло и Копенгагене – якобы для размещения группы видных сотрудников НКВД, направляемых в скандинавские страны.

Молчановский, секретарь, так и сделал. Но, перепечатывая полученный список гостиниц для своего шефа, он перепутал, какие из названных гостиниц находятся в Осло, а какие в Копенгагене. Так возникла ошибка, сыгравшая столь роковую роль на судебном процессе. Молчанов, как на грех, остановился на названии «Бристоль», действительном для Осло, но не существующем в Копенгагене.

Откуда же было знать об этом Гольцману, подписавшему своё признание о связях с Троцким?

Машина инквизиции

1

До сих пор я ограничивался кратким изложением официальных судебно-следственных материалов, уделяя внимание тем обстоятельствам, которые позволяют прояснить сущность московских процессов. Теперь следует ввести читателя за кулисы этих судебных заседаний и показать ему шаг за шагом, как был организован этот многоактный, величайший в человеческой истории обман, и какими средствами Сталину и его подручным удалось превратить выдающихся борцов и вождей революции в послушных марионеток, разыгрывающих что-то вроде кукольного спектакля.

В начале 1936 года Молчанов собрал около сорока видных сотрудников «органов» на специальное совещание. Среди собравшихся были начальники наиболее важных управлений НКВД и их заместители.

Молчанов сообщил им о раскрытии гигантского заговора, во главе которого стояли Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие бывшие руководители оппозиции. Организация заговорщиков, тайно действовавшая в течение нескольких лет, создала террористические группы почти во всех крупных городах. Она поставила целью убить Сталина и вообще членов Политбюро и захватить власть в стране. Кратко обрисовав особенности и масштабы раскрытого заговора, Молчанов информировал присутствующих, что по приказу народного комиссара внутренних дел Ягоды все они, кроме начальников управлений и их заместителей, освобождаются от текущих обязанностей и поступают в распоряжение Секретного политического управления НКВД для проведения следствия. Он подчеркнул, что Сталин лично будет наблюдать за ходом расследования, а помогать ему в этом будет секретарь ЦК Ежов.

Итак, партия доверила органам НКВД исключительно ответственное задание, и по ходу работы следователи должны будут проявить себя не только как чекисты, но и как члены партии.

Молчанов недвусмысленно дал понять собравшимся, что Сталин и Политбюро считают обвинения, выдвинутые против руководителей заговора, абсолютно достоверными и, таким образом, задачей каждого из следователей является получение от обвиняемых полного признания. Возможным попыткам заговорщиков настаивать на своём алиби не стоит придавать значения: известны случаи, когда некоторые из них пытались давать указания террористическим группам, уже находясь в тюрьме.

Молчанов сформировал из присутствующих несколько следственных групп, выяснил с ними технические детали предстоящего следствия и порядок координации всей работы. В заключение он процитировал им секретный циркуляр за подписью народного комиссара внутренних дел Ягоды, в котором Ягода предупреждал следственные органы о недопустимости применения к обвиняемым любых незаконных методов следствия – таких, как угрозы, обещания или запугивание.

Всё услышанное поразило участников совещания. Посыпались вопросы: как же могло случиться, что такой гигантский заговор был раскрыт без их непосредственного участия? Ведь вся оперативная деятельность НКВД и вся сеть тайных информаторов, доносивших о каждом шаге участников оппозиции, были сосредоточены в их руках. А их даже не укоряют за то, что они проглядели гигантскую организацию заговорщиков, – как же так? Разве не их прямым делом является раскрытие заговоров, – а тут выясняется, что этот заговор существует уже несколько лет…

Схема предстоящего судебного процесса и его подготовки были детально разработаны Сталиным и Ежовым. Практическое исполнение операции, запланированное ими, было возложено на народного комиссара внутренних дел Ягоду.

Согласно сталинскому плану, следовало доставить в Москву из ссылки и различных тюрем около трёхсот бывших участников оппозиции, имена которых были широко известны, подвергнуть их «обработке», в результате которой примерно пятая часть узников окажется сломленной, и набрать таким образом группу из пятидесяти или шестидесяти человек, сознавшихся, что они участвовали в заговоре, возглавляемом Зиновьевым, Каменевым и Троцким. Затем, используя эти показания, организаторы судебного процесса смогут направить его острие против Зиновьева и Каменева и методами угроз, обещаний и прочих приёмов из арсенала следствия, заставить самих этих деятелей признать, что они возглавляли заговор против Сталина и советского правительства.

Чтобы ускорить осуществление сталинского плана, было решено подсадить в камеры к обвиняемым несколько тайных агентов НКВД, которые и на предварительном следствии, и перед судом изображали бы участников заговора и выдавали Зиновьева и Каменева за своих предводителей.

У руководителей следствия уже имелся некоторый «задел» в лице Валентина Ольберга – тайного агента НКВД, Исаака Рейнгольда, крупного советского чиновника, лично знакомого с Каменевым, и Рихарда Пикеля, в прошлом возглавлявшего секретариат Зиновьева. Все трое сыграли решающую роль в следственной подготовке первого московского процесса.

Ольберг был давним агентом Иностранного управления НКВД и когда-то работал в Берлине тайным

информатором в среде немецких троцкистов. В 1930 году, по поручению немецкого резидента ОГПУ, он пытался попасть в секретари к Троцкому, жившему тогда в Турции, но этот номер не прошёл: он был явно неспособен завоевать доверие Троцкого. Когда к власти в Германии пришёл Гитлер, ОГПУ отозвало Ольберга в СССР и направило его на временную работу учителем в Таджикистан. Там, в Сталинабаде, Ольберг прозябал недолго: вскоре он снова понадобился Иностранному управлению для выполнения зарубежных поручений. Оно послало его в Прагу – следить за деятельностью левых германских партий, обосновавшихся в Чехословакии.

Вторично отозванный в СССР в 1935 году, Ольберг вскоре переводится в Секретное политическое управление НКВД, возглавляемое Молчановым. В этот период ЦК партии и «органы» усиленно занимаются проблемой роста троцкистских настроений в Высшей партийной школе. Студентам ВПШ, изучавшим Маркса и Ленина «по первоисточникам», понемногу становилось ясно, что «троцкизм», заклеймённый Сталиным как ересь, в действительности представляет собой подлинный марксизм-ленинизм.

Наиболее серьёзное положение создалось в Горьковском пединституте, студенты которого образовали даже нелегальные кружки по изучению трудов Ленина и Троцкого. Здесь ходили по рукам запрещённые партийные документы, в том числе знаменитое «ленинское завещание». Ольберг считался одним из наиболее опытных агентов, поэтому НКВД решил направить его на работу в этот пединститут.

Отбор преподавателей в высшие партийные школы производится в СССР с особой тщательностью. Сюда подходили только особо надёжные партийцы, никогда не принадлежавшие к какой бы то ни было оппозиции,

вдобавок имеющие высшее партийное образование и большой педагогический опыт. Прошлое каждого лица, намечаемого на такую преподавательскую работу, и его автобиография перепроверялись во всех партячейках и отделах кадров, где он когда-либо работал, после чего собранные данные направлялись на утверждение в специальную комиссию, куда входили представители НКВД и ЦК партии.

Естественно, Валентин Ольберг никогда не смог бы удовлетворить этим строгим требованиям, если б не протекция. Ольберг не был членом ВКП(б) и даже гражданином Советского Союза. Из официальной стенограммы первого московского процесса явствует, что он гражданин Латвии, вдобавок прибывший в СССР как турист по паспорту Республики Гондурас, купленному в Чехословакии. К тому же Ольберг не имел высшего образования, что уж никак не позволяло ему рассчитывать на должность преподавателя кафедры общественных наук. Несмотря на всё это, Молчанову удалось настоять перед Отделом высшей школы ЦК партии, что его секретный сотрудник может и должен быть назначен в Горький. В ЦК снабдили Ольберга копией приказа о назначении его преподавателем истории революционного движения.

Впрочем, назначение Ольберга всё же не обошлось без осложнений. Прибыв в Горький, он представился члену бюро обкома партии, некоему Елину, имевшему партийное поручение знакомиться с новоназначенными преподавателями и инструктировать их по политическим вопросам. Разговаривая с Елиным, Ольберг запутался в ответах, противоречиво осветил своё прошлое и кончил признанием, что он вообще не историк, не член ВКП(б) и даже не советский гражданин. Подозревая, что Ольберг подделал документы, Елин немедленно доложил о своих сомнениях Горьковскому

областному управлению НКВД и в ЦК партии. Молчанов, узнав об этом, начал лихорадочно названивать в ЦК. Ежов вызвал Елина и распорядился оставить Ольберга в покое: «Пусть преподает в институте!» Этот эпизод, как мы увидим позже, сыграет роковую роль в связи с первым московским процессом и приведёт к гибели Елина.

Когда в начале 1936 года развернулась подготовка к этому процессу, Молчанов использовал Ольберга в качестве провокатора: фигурируя в роли подследственного, Ольберг должен был дать ложные показания, порочащие Льва Троцкого и тех уже арестованных старых большевиков, которых Сталин решил предать суду.

Ольберга не пришлось вынуждать к этому. Ему просто объяснили, что поскольку он отличился в борьбе с троцкистами, теперь его выбрали для выполнения почётного задания: он должен помочь партии и НКВД ликвидировать троцкизм и разоблачить Троцкого на предстоящем судебном процессе как организатора заговора против советского правительства. Ему было сказано, что, независимо от того, какой приговор суд вынесет ему лично, его освободят и направят на ответственную должность на Дальнем Востоке.

Ольберг подписывал все «протоколы допросов», какие только НКВД считал нужным составить. Подписал, в частности, признание, что он, Ольберг, был послан Седовым в СССР, по указанию Троцкого, с заданием организовать террористический акт против Сталина. По прибытии в Советский Союз он поступил работать преподавателем в город Горький, где установил контакт с другими троцкистами; они совместно разработали план убийства Сталина. Этот план, по Ольбергу, заключался в том, чтобы послать в Москву для участия в первомайской демонстрации студенческую делегацию,

состоящую из убеждённых троцкистов, и руками этих студентов убить Сталина, когда он будет стоять, как обычно, на мавзолее. Ольберг показал также, что он является агентом гестапо, причём Троцкому это, разумеется, было известно.

Чтобы придать «троцкистскому заговору» больший размах, Молчанов приказал Ольбергу обрисовать в качестве террористов также его ближайших друзей по Латвии и Германии, бежавших в 1933 году в СССР от гитлеровских преследований. Необходимость в предательстве такого рода застала Ольберга врасплох. Он понимал, из каких соображений Сталин ополчился против Зиновьева, Каменева и Троцкого, но не мог понять, зачем всемогущему НКВД накапливать ложные свидетельства против этой маленькой кучки беглецов, которым посчастливилось найти в СССР убежище. Ольберг умолял Молчанова не заставлять его клеветать на своих личных друзей, но тот напомнил ему, что приказы следует исполнять, а не критиковать.

Ольберг не отличался ни смелостью, ни сильной волей. Хотя он знал, что является лишь мнимым обвиняемым, как в дальнейшем станет мнимым подсудимым, тем не менее суровая тюремная обстановка и безнадёжность положения прочих обвиняемых по этому делу сделали его робким и боязливым. Он опасался, что сопротивление домогательствам Молчанова обернется немедленным переводом его из мнимых обвиняемых в категорию «настоящих», и подписал в конечном счёте всё, что ему предлагалось засвидетельствовать.

В официальном отчёте о судебном процессе – первом из московских процессов тех лет – из всех друзей Ольберга был упомянут лишь один: молодой человек, по имени Зорох Фридман (Ольберг именовал его «агентом гестапо»). Однако в неопубликованных про-

токолах допросов, подписанных Ольбергом в НКВД, я в своё время видел и другие имена. Всё это были его друзья, которых ему было приказано оклеветать. Хорошо помню, что среди них были братья Быховские, по профессии химики, нужные Молчанову в качестве «изготовителей бомб» для террористов. Встречалось там также имя некоего Хацкеля Гуревича, готовившего якобы убийство Жданова, который сменил Кирова на посту первого секретаря Ленинградского обкома.

Другим эффективным орудием в руках НКВД стал Исаак Рейнгольд. Я знал его ещё с 1926 года. Это был крупный тридцативосьмилетний мужчина с привлекательным, энергичным лицом. Он элегантно одевался и внешне походил скорее на дореволюционного аристократа, нежели на советского партийца.

Не будучи старым членом партии, Рейнгольд благодаря своим незаурядным способностям и родству с народным комиссаром финансов Григорием Сокольниковым, быстро выдвинулся на ответственные должности в правительстве. Двадцати девяти лет он вошёл в состав советской экономической делегации, которая вела переговоры с французским правительством, и был назначен членом коллегии народного комиссариата финансов. На даче Сокольникова Рейнгольд встречал многих видных большевиков, в том числе Каменева. Подобно тысячам молодых партийцев, Рейнгольд примкнул было вначале к оппозиции, однако вскоре отошёл от неё, перестал активно участвовать в партийной работе и отдавал все свои силы административной деятельности. К моменту ареста он был председателем Главхлопкопрома.

Когда в начале 1936 года руководство НКВД и Ежов отбирали кандидатов для предстоящего процесса, их выбор пал на Рейнгольда по той простой причине, что его личное знакомство с Каменевым и Сокольниковым

давало шанс использовать его как свидетеля против них обоих. С другой стороны, принадлежность Рейнгольда, пусть кратковременная, к оппозиции позволяла его шантажировать.

Итак, Рейнгольда арестовали. Следователи заявили ему: НКВД располагает информацией, что Каменев вовлёк его в террористическую организацию, и потребовали, чтобы он помог разоблачить Каменева и Зиновьева как руководителей заговора, направленного против советского правительства. Молчанов всячески убеждал Рейнгольда, что только показания, разоблачающие этих людей, могут спасти его, Рейнгольда, жизнь. Тем не менее, Рейнгольд неистово отрицал своё участие в каком бы то ни было заговоре и уверял Молчанова, что до 1929 года в глаза не видел Каменева.

Так ничего и не добившись, Молчанов передал Рейнгольда следственной группе, возглавляемой заместителем начальника Оперативного управления НКВД Чертоком, отъявленным негодяем и садистом. Черток и его люди бились с Рейнгольдом чуть ли не три недели. Они подвергали его непрекращающимся допросам, длившимся иногда по сорок восемь часов без перерыва на еду и сон; играли на его семейных чувствах, подписывая в его присутствии ордер на арест всей его семьи. Однако трёх недель оказалось недостаточно, чтобы сломить волю и железное здоровье Рейнгольда.

Когда обычные инквизиторские приёмы были исчерпаны, Молчанов, по совету Ежова, прибег к такому трюку. Рейнгольда на несколько дней оставили в покое. Затем неожиданно подняли среди ночи, доставили из камеры к следователю и предъявили ему фальшивое постановление Особого совещания при НКВД. В этой бумаге, заверенной официальной печатью, говорилось, что Исаак Рейнгольд приговорён к расстрелу за участие

в троцкистско-зиновьевском заговоре, а члены его семьи подлежат ссылке в Сибирь.

Молчанов на правах старого знакомого Рейнгольда посоветовал ему написать прошение о помиловании непосредственно на имя секретаря ЦК партии Ежова. Пусть, дескать, тот распорядится отсрочить исполнение смертного приговора и пересмотреть дело. Рейнгольд последовал совету и тут же написал длинное заявление, адресованное Ежову.

Следующей ночью Рейнгольда опять привели к Молчанову. Молчанов сообщил ему, что Ежов прочитал заявление и распорядился, чтобы постановление Особого совещания было отменено, однако лишь при условии, что Рейнгольд согласится помочь следствию «вскрыть преступления троцкистско-зиновьевской банды». Получалось, что судьба Рейнгольда отныне в его собственных руках. Его отказ от показаний, направленных против Зиновьева и Каменева, автоматически приведёт смертный приговор в исполнение, и, напротив, согласие признать то, что требует следствие, означает спасение, Молчанов не сомневался, что Рейнгольд, проведший последние сутки под угрозой нависшей над ним гибели, жадно ухватится за ежовский вариант. Но Рейнгольд оказался более мужественным человеком, чем ожидал Молчанов. Он выдвинул встречное условие: он согласен подписать любые показания, направленные как против него самого, так и против других людей, но только в том случае, если представитель ЦК партии заявит ему, что партия считает его ни в чём не повинным, однако интересы партии требуют именно таких признаний, каких домогаются от него. Молчанов предупредил Рейнгольда, что попытки диктовать какие-то встречные условия могут расценить как отказ принять требование Ежова.

Это может плохо кончиться. Однако Рейнгольд стоял на своём.

На следующий день Молчанов доложил Ягоде, как обстоят дела с Рейнгольдом. Стремясь получить наконец хоть какие-то свидетельства вины Каменева и Зиновьева, Молчанов, был склонен принять условие, выдвинутое Рейнгольдом. Но Ягода был решительно против. Он запретил Молчанову «торговаться с такой мелкой сошкой, как Рейнгольд», будучи уверен, что Рейнгольд и без того сдастся, если его ещё некоторое время подержать на грани жизни и смерти.

Между тем время шло. Сталин с нетерпением ожидал результатов следствия, а в активе НКВД было пока лишь одно свидетельское показание, направленное против обвиняемых троцкистов, да и то было подписано Ольбергом, тайным энкаведистским агентом. Вдобавок в нём не содержалось никакой компрометирующей информации о Зиновьеве и Каменеве. Требовалось что-то срочно предпринять, дабы следствие сдвинулось с мёртвой точки.

Наконец Ежов вмешался лично. Он выразил удивление, почему это НКВД пытается «ломиться в открытую дверь» Ежов вызвал, Рейнгольда из тюрьмы и от имени ЦК заявил ему, что свою невиновность и преданность партии Рейнгольд может доказать, только помогая НКВД в изобличении Зиновьева и Каменева. После этого разговора поведение Рейнгольда полностью изменилось. Из непримиримого противника следователя Чертока он превратился в его ревностного помощника. Он подписывал всё, что требовалось следствию, и даже помогал следователям редактировать собственные показания.

В противоположность Ольбергу Рейнгольд ни разу не поинтересовался, какой приговор могут ему вынести. Он полагался на порядочность и совестливость

Сталина и Ежова. Со временем мы увидим, какую огромную помощь Рейнгольд оказал НКВД в подготовке фальсифицированного процесса. На суде он оказался не только главным орудием НКВД, но и основным помощником прокурора Вышинского. Рейнгольда использовали несравненно шире, чем Ольберга. Являясь иностранцем и постоянно живя за границей, Ольберг не мог стать непосредственным свидетелем «враждебной деятельности» Зиновьева, Каменева и других бывших партийных вожаков. Напротив, Рейнгольд, крупный советский работник, вполне мог сойти за участника тайных встреч и совещаний с бывшими вождями оппозиции.

Рейнгольдом было подписано, в частности, показание, где говорилось, что, являясь членом троцкистско-зиновьевской организации, он подготавливал убийство Сталина, вообще же развивал свою преступную деятельность под личным руководством Зиновьева, Каменева и Бакаева. Кроме того, Рейнгольд засвидетельствовал, что убийство Кирова было организовано Зиновьевым и Каменевым и что террористические акты планировались не только против Сталина, но и против Молотова, Ворошилова, Кагановича и прочих вождей.

Он оказался настолько полезным «свидетелем» что организаторы судебного процесса решили не ограничиваться его показаниями против Каменева и Зиновьева, как было задумано вначале. Теперь он подписывал показания чуть ли не против всех бывших партийных деятелей, которые должны были пригодиться на последующих процессах. По требованию Ежова, он оклеветал в своих показаниях бывшего главу советского правительства – Рыкова, бывших членов Политбюро – Бухарина и Томского, оклеветал также Ивана Смирнова, Мрачковского и Тер-Ваганяна.

Сотрудничество Рейнгольда с руководителями следствия зашло так далеко, что временами они просто забывали, что он является обвиняемым. Отсюда и такая странность в «свидетельских показаниях» Рейнгольда: они принадлежат словно бы не раскаивающемуся террористу, только накануне замышлявшему убийство Сталина, а негодующему обвинителю. Он гневно характеризует организацию, к которой якобы принадлежал, как «контрреволюционную террористическую банду убийц, пытавшуюся подорвать могущество страны всеми доступными ей средствами».

Показания Рейнгольда, тщательно выверенные Мироновым, начальником Экономического управления НКВД, и Аграновым, Ягода передал Сталину. На следующий день Сталин вернул эти бумаги с поправками, вызвавшими невероятный переполох среди руководства наркомата внутренних дел: из показаний, где Рейнгольд свидетельствует, что Зиновьев настаивал на убийстве Сталина, Молотова, Кагановича и Кирова, Сталин собственноручно вычеркнул фамилию Молотова.

Ягоде ничего не оставалось, как распорядиться, чтобы руководители следственных групп не упоминали эту фамилию в показаниях обвиняемых, касающихся покушений на вождей партии и государственных деятелей. Было очевидно, что между Сталиным и Молотовым возникло какое-то разногласие и Молотов может в любой момент бесследно исчезнуть с политического горизонта страны, как это ранее произошло с главой правительства РСФСР Сырцовым, прежним сталинским фаворитом. Работники НКВД знали, что от Сталина можно ожидать всего: сегодня он вычёркивает Молотова из списка жертв, намеченных заговорщиками, а назавтра потребует включить его уже в списки

участников этого заговора, замышлявших убийство «вождей».

Ввиду того что этот эпизод интересен с точки зрения трактовки московских процессов как орудия сталинских политических интриг, я вернусь к нему в одной из последующих глав.

В показания Рейнгольда Сталин внёс и другие исправления. Иногда они носили деловой характер, однако нередко были такого сорта, что руководители НКВД, перечитывая их, едва могли сдержать ироническую усмешку, а то и начинали, втихомолку хихикать. Например, прочитав в показаниях Рейнгольда, что Зиновьев настаивал на необходимости убить не только Сталина, но также и Кирова, Сталин сделал такую приписку: «Зиновьев заявил: недостаточно свалить дуб, все молодые дубки, поднявшиеся вокруг, тоже должны быть вырваны».

К удовольствию Сталина, государственный обвинитель Вышинский дважды повторил на суде это цветистое сравнение. В другом абзаце тех же показаний, где Рейнгольд рассказывает, как Каменев пытался обосновать необходимость террористических методов, Сталин вставил такую фразу, будто бы произнесённую Каменевым: «Сталинское руководство сделалось прочным, как гранит, и глупо было бы надеяться, что этот гранит сам даст трещину. Значит, надо его расколоть». Ещё одним орудием организаторов процесса сделался Рихард Пикель. Он не был старым членом партии и понадобился следствию только потому, что когда-то заведовал зиновьевским секретариатом. Ежов и Ягода полагали, что это обстоятельство придаст показаниям Пикеля против Зиновьева необходимую убедительность.

Я довольно хорошо знал Пикеля. Он был добродушным, обходительным человеком, сентиментальным

от природы. В юности писал лирические стихи, потом перешёл на прозу и стал членом Союза советских писателей.

В своё время Пикель принимал активное участие в гражданской войне, был руководителем политотдела 16-й армии. Как и Рейнгольд, он примкнул к оппозиции, но ненадолго. Порвав с ней, он не занимал скольнибудь значительных постов, а непосредственно перед арестом был директором и одновременно политическим руководителем московского Камерного театра. Пикель любил театр и был вполне удовлетворён своей должностью. От политической деятельности он ушёл и посвящал свой досуг литературной работе и романтическим похождениям, в которых участвовали молодые актрисы его театра. Кроме того, он увлекался игрой в покер, по большей части в обществе видных сотрудников НКВД. В эту среду он охотно был принят как искусный карточный игрок и «компанейский парень». Вдобавок его весьма жаловали жёны этих деятелей.

Выходные Пикель проводил чаще всего на загородных дачах высокопоставленных чекистов, свободно пользуясь их персональными машинами и прочими жизненными благами. В 1931 году он всё лето провёл на даче начальника московского областного управления НКВД, невдалеке от сталинской резиденции. Благодаря покровительству своих друзей из НКВД он совершил два приятных заграничных путешествия – одно по Европе, другое в Южную Америку.

Друзья Пикеля были искренне огорчены, узнав, что Ежов и Ягода решили ввести его в новый судебный спектакль в качестве подсудимого. Они пытались заступиться за него, но тщетно. Впрочем, они смирились с необходимостью его ареста, когда Ягода сказал им, что Пикель не будет отбывать назначенного наказания

в лагере. Его поставят прорабом на одну из крупных строек, находящихся в ведении НКВД.

Пикель был прямо-таки сражён внезапным арестом. Тем не менее, несмотря на свою природную деликатность, он довольно долго оказывал сопротивление следователям и отказывался наговаривать на себя и на своего бывшего шефа Зиновьева. Ягода решил прибегнуть к помощи своих подчинённых из числа друзей Пикеля. Это были начальники различных отделов НКВД – Гай, Шанин и Островский. Отныне следствие приняло в глазах Пикеля характер почти семейного дела. Ему уже не задавали формальных вопросов: «Назовите вашу фамилию! Назовите ваше имя! Сколько времени вы принадлежали к оппозиции?» От Пикеля не требовали больше, чтобы он называл сидящих перед ним энкаведистов «гражданин следователь», он мог запросто обращаться к ним по имени: «Марк», «Шура», «Иося». Если б сюда на стол ещё колоду карт, – всё выглядело бы, как раньше, на свободе – за игрой в добрый старый покер. Однако напротив «Марка», «Шуры» и «Иоси» Пикель сидел теперь в качестве заключённого. Они откровенно сказали ему, что не смогли спасти его от ареста, – «этого потребовали сверху», но если он согласится помочь НКВД своими показаниями против Зиновьева и Каменева, – они обещают ему, что, каким бы ни был приговор суда, Пикель отбудет свой срок не в лагере, а «на воле», в качестве одного из руководителей затеваемой крупной стройки на Волге.

Пикель сдался. Он просил только, чтобы ему устроили встречу с самим Ягодой, который должен подтвердить все эти обещания. Ягода согласился побеседовать с Пикелем и всё великодушно подтвердил, после чего Пикеля передали в распоряжение Миронова, который составил ему текст требуемых от него показаний. В мироновском кабинете состоялась

встреча Пикеля с его давним приятелем Рейнгольдом – тот был в ведении Миронова. Так Пикель занял предназначенное ему место в сценарии будущего судебного процесса.

В своих показаниях, подготовленных Мироновым, Пикель признал, что по настоянию Зиновьева он совместно с Бакаевым и Рейнгольдом готовил покушение на Сталина. Он подтвердил также свидетельство Рейнгольда, что бывший троцкист Дрейцер пытался организовать покушение на жизнь Ворошилова. Но основная часть показаний Пикеля была направлена против Зиновьева.

В противоположность Рейнгольду, который уже с готовностью подписывал всё, что от него требовали, и притом верил, что выполняет задание партии, Пикель, как правило, воздерживался от ложных показаний против других обвиняемых. Исключение он делал только для Зиновьева, ибо считал себя связанным обещанием, данным Ягоде. От него требовали, чтобы он свидетельствовал и против остальных обвиняемых, однако Пикель выработал для себя такое правило: если арестованный «сознался» или был оговорен другими обвиняемыми, – тогда и Пикель соглашался подтвердить эти показания. В то же время он категорически отказывался клеветать на людей, в отношении которых НКВД не располагал ещё компрометирующими данными. Рейнгольд, со свойственной ему энергией, самозабвенно бросился на помощь следователям; Пикель, напротив, был воплощением апатии и инертности. Постепенно он утрачивал свойственную ему общительность, сделался вовсе некоммуникабельным и оказался в состоянии глубокой депрессии.

Между тем, как мы знаем, Пикелю была отведена исключительно важная роль свидетеля, выступающего персонально против Зиновьева. Поэтому руководите-

лей следствия начало беспокоить его душевное состояние. Они опасались за его рассудок. Тогда Ягода приказал его бывшим друзьям навестить Пикеля в тюрьме и проявить к нему внимание и сочувствие. Пикеля перевели в лучшую камеру, где Шанин, Гай и Островский стали навещать его довольно часто. Захватив с собой колоду карт, бутерброды, кое-какие напитки, они порой засиживались в его обществе до глубокой ночи. Эти посещения приободрили Пикеля. Он воспрял духом, острил, как в доброе старое время, и, кажется, иногда даже забывал, где находится. Но вдруг, как бы спохватившись, становился серьёзным, и у него вырывалось: «Ох, ребята, боюсь, вы меня впутали в грязное дело. Смотрите, как бы вам не лишится классного партнера!»

2

Показания Валентина Ольберга, Исаака Рейнгольда и Рихарда Пикеля дали руководству НКВД необходимый материал для обвинения Зиновьева, Каменева, Смирнова, Бакаева, Тер-Ваганяна и Мрачковского. Таким образом, создалась основа для открытого судебного процесса. Теперь его организаторам предстояло использовать ложные показания для шантажа бывших деятелей оппозиции и выжать из них «признания» об их участии в антиправительственном заговоре.

Правда, свидетельств Ольберга, Рейнгольда и Пикеля было далеко не достаточно. Чтобы ликвидировать не только вожаков оппозиции, но и её рядовых участников, Сталину требовалось продемонстрировать на процессе, что в сферу её действий входила вся страна, её террористические группы орудовали почти во всех областях Советского Союза.

Из дальних тюрем и лагерей в Москву ежедневно доставлялись всё новые участники оппозиции. По сталинскому замыслу, они должны были изображать членов террористических групп. Из этого «сырья» следователи НКВД отбирали, а затем и «обрабатывали» рядовых участников предстоящего судебного спектакля.

Но если руководству НКВД сравнительно легко дались «признания» таких людей, как Рейнгольд и Пикель, следователи среднего звена, действовавшие параллельно, никак не могли добиться нужного результата. Заключённые, с которыми они имели дело, упорно отказывались признать, что они готовили террористические акты. К тому же у большинства из них было железное алиби – ведь уже несколько лет они находились в тюрьмах, лагерях или в ссылке, в отдалённых частях страны. Молчанов поторапливал следователей; их самолюбие страдало оттого, что нужных начальству результатов не получалось, и они падали с ног от усталости. Наконец, осознав безнадёжность ситуации, на очередном совещании у Молчанова они высказали свои претензии: они не располагают надёжными средствами, чтобы «загнать подследственных в угол» и выжать из них признания. Циркуляр Ягоды, запрещающий применять угрозы и посулы, фактически разоружает их в борьбе с подследственными.

Молчанов разыграл крайнее изумление. Он просто не может поверить, чтоб они, опытные чекисты, с таким многолетним стажем работы в «органах», так уж буквально понимали циркуляр народного комиссара!

– Чекист должен быть не только хорошим следователем, но и грамотным политиком, – многозначительно заявил Молчанов. – Он должен уметь рассудить, что имеет к нему отношение, а что не имеет, что написано

для него, а что – просто из соображений высшей политики.

– Но как же это различить? – спросил один из следователей. – Циркуляр подписан самим наркомом и предназначен именно для нас!

– Теперь вы знаете, как! – отрезал Молчанов. – Я вам говорю это официально, от имени наркома: идите к своим подследственным и задайте им жару! Навалитесь на них и не слезайте с них до тех пор, пока они не станут сознаваться!

Каждый из присутствующих знал, кому принадлежит эта циничная фраза. Её ещё в 1931 году употребил Сталин, когда тогдашний начальник Экономического управления НКВД Прокофьев докладывал ему о деле арестованных меньшевиков Суханова, Громана, Шера и других. Недовольный тем, что Прокофьеву не удаётся заставить их сознаться, будто они вели переговоры с генеральными штабами иностранных государств, Сталин заявил ему: «Навалитесь на них и не слезайте, пока они не начнут сознаваться».

Отныне следователи всеми силами старались наверстать упущенное. Тем не менее, на первых порах всё оставалось по-прежнему. За две недели, прошедшие после совещания у Молчанова, целая армия следователей сумела вырвать «признание» только у одного из обвиняемых. Между тем Сталин ежедневно справлялся о ходе следствия. Чтобы как-то ускорить дело, Молчанов с согласия Ягоды собрал ещё одно совещание следователей, пригласив на него секретаря ЦК партии Ежова.

На совещании тот произнёс речь, подчеркнув исключительную важность предстоящего процесса для всей партии, и призвал следователей быть более твёрдыми и беспощадными с врагами партии. Ежов пересыпал своё выступление избитыми лозунгами вроде: «Нет таких крепостей, которые большевики не сумели

бы взять!», обращался к самолюбию следователей. Однако наибольшее впечатление на собравшихся произвело одно место в его речи, где зазвучала новая нота, обращённая непосредственно к ним: «Если, – сказал Ежов, – кто-то из вас испытывает сомнения и колебания, если кто-нибудь по той или иной причине чувствует, что он не в силах справиться с троцкистско-зиновьевскими бандами, – пусть скажет, и мы освободим его от следовательской работы». Все прекрасно понимали, что за этим последует: отказ вести дело «троцкистско-зиновьевских бандитов» будет расценен как протест против организации самого «дела», и отказавшегося ждёт немедленный арест. Каждый теперь осознал, что, не сумев добиться признания подследственного, он рискует быть заподозренным в сочувствии ему.

Ближайшая же неделя дала неожиданно большое число «признаний». Одна из следственных групп, возглавляемая начальником отдела Специального политического управления НКВД Южным – человеком насквозь аморальным и бесчестным – добилась признаний сразу от пяти заключённых, показания которых затронули к тому же Зиновьева и Каменева. Это были преподаватели марксизма-ленинизма из Ленинграда и Сталинграда, только недавно попавшие в тюрьму и никогда не принадлежавшие ни к какой оппозиции. Им предъявлялось обвинение только в том, что в их учебных заведениях действовали нелегальные троцкистские кружки. Секрет успеха Южного был прост: узнав, как большое начальство поступило с Рейнгольдом и Пикелем, он применил к бедным преподавателям тот же нехитрый приём.

Молчанов, дознавшись об этом, собрал специальное совещание, на котором сурово критиковал поведение Южного и его помощников. В данном случае

нельзя было, оказывается, уговаривать подследственных дать показания против Зиновьева и Каменева «в интересах партии», необходимо было заставить их осознать тяжесть своих преступлений и раскаяться. «Такая работа, – негодовал Молчанов, – не имеет ничего общего с подлинным следствием!»

«Я мог бы, – продолжал он, – хоть сейчас выйти на Лубянскую площадь, созвать сотню партийцев и сказать им, что партийная дисциплина требует от них дать показания против Зиновьева и Каменева в интересах партии. За какой-нибудь час я соберу сотню таких заявлений за их подписями! Никто не давал вам права обращаться к арестованным от имени партии! Методы такого рода, – поучал Молчанов, – могут применяться только в виде исключения по отношению к особо важным обвиняемым, да и то лишь по специальному разрешению товарища Ежова. А вам необходимо вести следствие так, чтобы арестованный ни на секунду не усомнился, что вы действительно считаете его виновным. Можете играть на его любви к семье, на специальном постановлении, касающемся детей, в общем, на чём хотите, но соглашаться с арестованным, что он лично не виновен, и такой ценой получать его признание – абсолютно недопустимо!»

3

Сделав троицу Ольберг-Рейнгольд-Пикель своим послушным орудием, организаторы процесса начали расширять масштабы дела.

Для начала НКВД арестовал тех, на кого наговорил его же тайный агент Ольберг, да к тому же по указке Молчанова. Многочисленные аресты были произведены в Минске, где Ольберг, направляясь из Германии в Москву, останавливался у своих родственников, и в

Горьком, где он работал преподавателем. Среди арестованных в Горьком я припоминаю Елина – члена бюро Горьковского обкома, Федотова – директора пединститута, Соколова, Кантора и Нелидова – преподавателей того же института.

Это был тот самый Елин, сигнализировавший в НКВД и в ЦК партии о своих подозрениях насчёт Ольберга и получивший по телефону от Ежова приказ не чинить Ольбергу препятствий. Таким образом, Елин понял, что Ольберг – вовсе не эмиссар Троцкого, каким организаторы процесса рассчитывали представить его стране, а тайный агент НКВД. В общем, Елин знал слишком много, почему и был расстрелян без всякого судебного приговора. Его имя, однако, было упомянуто Ольбергом на суде, когда тот перечислял террористов, якобы готовивших убийство Сталина.

Директор пединститута Федотов, тоже «выданный» Ольбергом, находился под следствием сначала в Горьком, в областном управлении НКВД, а в дальнейшем – в Москве, где его допрашивали под присмотром Молчанова и Когана. Мне довелось читать федотовские показания, и я полагал, что этот человек, представленный в них активным пособником Ольберга в подготовке покушения на Сталина, займёт видное место на скамье подсудимых. Однако на суде он не появился. Возможно, организаторы процесса не вполне ему доверяли и опасались, как бы он не переменил своих показаний, данных на следствии в НКВД.

Среди тех, кто был замешан в дело самим Федотовым, правда, по требованию Молчанова, оказался известный физик академик Иоффе, работавший в Ленинграде. Но когда на совещании в Кремле Молчанов докладывал о показаниях Федотова Сталину, тот сказал: «Вычеркните Иоффе. Он ещё может нам понадобиться!» Эта реплика была полной неожиданностью

для Молчанова – не кто иной, как Сталин, двумя неделями ранее распорядился, чтобы Иоффе фигурировал в показаниях Федотова как один из его сообщников…

Следствие по делам Соколова и Нелидова, преподавателей Горьковского пединститута, упоминавшихся в показаниях Ольберга, было поручено Кедрову. Кедров был сотрудником иностранного управления НКВД и входил в группу следователей, возглавляемую Борисом Берманом, заместителем начальника этого управления. В данном случае речь идёт о так называемом Кедровемладшем, которому было тогда года тридцать два. Он принадлежал к семье старых революционеров: его отец, по образованию физик, жил в своё время в Швейцарии вместе с Лениным. После Октябрьской революции Кедров-старший был назначен членом коллегии ВЧК и прославился чрезвычайно жестокой расправой над бывшими царскими офицерами в Архангельске, учинённой, как только Красная армия заняла этот город. Двумя годами позже Кедров был признан душевнобольным. Он прошёл курс лечения и постепенно выздоровел, однако врачи признали, что он больше не может занимать руководящие должности, и ЦК назначил ему персональную пенсию.

Внешность Кедрова-старшего была весьма примечательной. Высокий, всегда держащийся прямо, с красивым, смуглым лицом и большими чёрными, горящими, как угли, глазами, он казался мне воплощением мятежного, бунтарского духа. Его чёрные как вороново крыло волосы, всегда были взлохмачены. Необыкновенно выразительные глаза Кедрова постоянно как бы искрились. Возможно, это были искры безумия.

Кедров-младший походил на отца, но не унаследовал его яркую и оригинальную внешность. Он был осторожен, замкнут, вечно поглощён своей работой. Не

одарённый способностью к критическому мышлению, он воспринимал всё исходящее от партии и от начальства как непреложную истину.

Соколов был быстро сломлен Кедровым. Он согласился подтвердить показание Ольберга насчёт студенческой делегации, которая будто бы намеревалась совершить покушение на Сталина во время первомайской демонстрации на Красной площади.

Кедров воспользовался привязанностью Соколова к своей семье, которую он стремился оградить от преследований, и его глубокой приверженностью партийной дисциплине. Преподаватель истории, обязанный ежедневно внушать студентам ненависть к вождям оппозиции, Соколов в принципе не возражал против того, чтобы подписать ложные показания, необходимые ЦК партии для дискредитации Троцкого, Зиновьева и Каменева. Фактически Соколова интересовал лишь один вопрос: что его вернее спасёт – подписание требуемых от него «признаний» или, напротив, отказ от самооговора.

Если бы Соколов мог рассчитывать на то, что суд беспристрастно рассмотрит выдвинутые против него обвинения и защитит его от домогательств НКВД, он, несомненно, держался бы твёрдо. Но такой надежды у него не было. Как опытный партийный пропагандист, он понимал: коль скоро дело идёт о дискредитации Троцкого, Зиновьева и других политических противников Сталина, суд будет всего лишь играть роль вспомогательного средства, подчинённого ЦК. И в данном случае как суд, так и НКВД руководствуются директивами, получаемыми из одного и того же источника. Ясно, что Соколову не оставалось ничего другого, как подчиниться нажиму следователя и сдаться на милость НКВД.

Кедров добился «признания» ещё пяти арестованных. Никто доподлинно не знал, в чём секрет его воздействия на подследственных. Молчанов был так доволен его работой, что упомянул его как умелого следователя на очередном совещании.

Однажды вечером мы с Борисом Берманом шли по одному из коридоров НКВД, направляясь к начальнику Иностранного управления Слуцкому. Вдруг нас остановили душераздирающие вопли, доносящиеся из кедровского кабинета. Мы распахнули дверь и увидели сидящего на стуле Нелидова, преподавателя химии Горьковского пединститута, который, между прочим, был внуком царского посла во Франции. Лицо Нелидова было искажено страхом. Следователь Кедров находился в состоянии истерического бешенства. Увидев Бермана, который был его начальником, Кедров возбуждённо принялся объяснять, что только что Нелидов сознался, что хотел убить Сталина, а затем вдруг отказался от своих же слов. «Вот, вот! – истерически выкрикивал Кедров. – Вот, смотрите, он написал: „Я признаю, что был участником…“ и вдруг остановился и не пожелал продолжать. Это ему так не пройдёт… я задушу его собственными руками!»

Столь невыдержанное поведение Кедрова в присутствии начальства поразило меня. Я с удивлением смотрел на него – и внезапно увидел в его глазах то же фосфорическое свечение и те же перебегающие искорки, какими сверкали глаза его безумного отца.

«Глядите! – продолжал кричать Кедров. – Он сам это написал!..»

Кедров вёл себя так, словно по вине Нелидова лишился чего-то самого ценного в жизни, точно он был жертвой Нелидова, а не наоборот. Я внимательно посмотрел на Нелидова. Это был молодой человек лет тридцати, с тонким лицом типичного русского

интеллигента. Кедров совершенно очевидно внушал ему ужас. Он обратился к нему с виноватой улыбкой: «Я не знаю, как это могло случиться со мной… Рука отказывается писать».

Берман приказал Кедрову прекратить допрос и отослать арестованного обратно в камеру.

Войдя к Слуцкому, мы сообщили ему об этом эпизоде. Тут я узнал, что такие сцены наблюдаются не впервые. Берман рассказал Слуцкому и мне, что несколько дней назад он и другие сотрудники бросились к кабинету Кедрова, услышав дикие крики, доносившиеся оттуда. Они застали Кедрова вне себя: разъярённый, он обвинял заключённого – это был Фридлянд, профессор ленинградского института марксизма-ленинизма – в попытке проглотить чернильницу, стоящую у него на столе. «Я остолбенел, – рассказывал Берман, – увидев эту самую чернильницу – массивную, из гранёного стекла, размером в два мужских кулака… „Как вы можете, товарищ Кедров! Что вы такое говорите!“ – бормотал Фридлянд, явно запуганный следователем. Тут мне пришло в голову, – продолжал Берман, – что Кедров помешался. Если б вы послушали, как он допрашивает своих арестованных, без всякой логики и смысла, – вы бы решили, что его надо гнать из следователей… Но некоторых он раскалывает быстрее, чем самые лучшие следователи. Странно, – похоже, он имеет какую-то власть над ними…»

Берман добавил, что после эпизода с чернильницей он пошёл к Молчанову и просил его отстранить Кедрова от следственной работы, но Молчанов на это не согласился и ответил, что пока Кедрову удаётся выжимать признания из арестованных, он его не уволит.

Многие зарубежные критики московских процессов высказывали предположение, что признания обвиняемых объясняются действием гипноза или же специаль-

ных лекарств. Но мне никогда не приходилось слышать от следователей об использовании подобных средств, по крайней мере на первом из судебных процессов. Если такие методы и применялись, мне о них ничего не известно. Но я не сомневаюсь, что Кедров обладал способностью гипнотического внушения, хотя, может быть, и сам того не сознавал. Думается, что случай с Нелидовым был явным примером такого воздействия.

И всё же Кедрову не удалось сломить Нелидова. Тот обладал одним серьёзным преимуществом перед остальными обвиняемыми: он принадлежал к аристократической семье, разорённой революцией, не состоял в партии и потому не испытывал абсолютно никакого чувства «партийного долга». Никакой казуистикой его нельзя было убедить, что он обязан стать на колени перед партией и оговорить себя, сознавшись в попытке подрыва её «монолитного единства». Так сорвалось намерение организаторов процесса продемонстрировать сотрудничество троцкистов с внуком царского посла на общей для них «террористической платформе».

Как-то вечером, возвращаясь домой со службы, я услышал позади торопливые шаги. Оглянувшись, я увидел Кедрова, который спешил, пытаясь меня догнать. Я вспомнил, что в этот день он дважды звонил мне, пытаясь договориться о встрече, но я был занят и не смог поговорить с ним. Теперь, поравнявшись со мной, Кедров объяснил, что он хотел посоветоваться по личному и очень деликатному вопросу, который он не может обсудить с кем бы то ни было другим.

Дело заключалось в следующем. У его родителей есть друг, по фамилии Ильин, безупречный партиец, с которым они подружились ещё до революции, в сибирской ссылке. Ильин с женой до сих пор частенько

заглядывали к Кедровым попить чайку и поболтать о том, о сём. «Они были у нас позавчера, в воскресенье, – тревожно произнёс Кедров, – а вчера их арестовали…» Он смотрел на меня с явным беспокойством, точно мнительный пациент, ожидающий врачебного диагноза.

«Как вы думаете, – продолжал он, – должен ли мой отец направить в ЦК партии такое письменное заявление: он мол считает своей обязанностью сообщить, что, будучи нашими старыми знакомыми, ещё со времён сибирской ссылки, Ильины время от времени заглядывали к нам и пили с нами чай?»

Такой вопрос меня не удивил. В те дни стало правилом, что каждый член партии, узнав об аресте своего знакомого, должен, не ожидая запроса со стороны властей, бежать в комиссию партийного контроля и там сообщить, какие отношения связывали его с арестованным. Это означало, что приятелю арестованного нечего скрывать от партии и он лоялен по отношению к ней.

Такого рода исповедь была сродни так называемым «неделям милосердия», введённым средневековой инквизицией. В эти недели каждый христианин мог добровольно явиться в инквизицию и безнаказанно сознаться в ереси и связях с другими еретиками. Ясно, что новейшие, сталинские инквизиторы, как, впрочем, и их средневековые предшественники, нередко извлекали выгоду из этого обычая, получая порочащие сведения о лицах, которые уже подверглись преследованиям, и вскрывая всё новые очаги ереси.

Кедров с беспокойством ожидал, что я отвечу.

– Но ваш отец не вёл никаких антипартийных разговоров с Ильиными, не правда ли? – спросил я на всякий случай.

– Нет, что вы, никогда! – заверил Кедров.

– Тогда я не думаю, что ему надо писать какое-то заявление, – сказал я. – Ильины же не были исключены из партии, значит, партия им доверяла. Почему же ваши родители не должны были им доверять? Не так ли?

– Я очень рад, что вы так считаете! – воскликнул Кедров с деланным восторгом. – В самом деле: они распивали чаи не только с нами, но и с Дмитрием Ильичом, братом Ленина, и даже с самим Лениным, пока он был жив!

Ни гроша-то наша жизнь не стоит!

1

Следствие по делу продвигалось гораздо медленнее, чем хотелось бы Сталину. Руководители НКВД знали, что даже инквизиторские методы не гарантируют немедленных результатов. Сломить волю арестованных обычно удавалось только после того, как они были измотаны физически и морально, а это требовало времени.

Сталин, однако, проявлял нетерпение. Чтобы ускорить ход следствия, Ежов и Ягода начали практиковать ночные обходы следственных кабинетов. Они взяли за правило появляться внезапно, между часом ночи и пятью часами утра. В каждом из кабинетов они задерживались минут на десять-пятнадцать, молча наблюдая, как следователь «работает». Эти ночные визиты держали следователей в состоянии непрерывного нервного возбуждения и заставили их с удвоенной энергией обрабатывать арестованных целые ночи напролёт.

Первый более или менее значительный сдвиг произошел в мае 1936 года. В течение этого месяца «признания» были получены от пятнадцати обвиняемых. Из них около десяти находились в ведении сотрудников Секретного политического управления НКВД, возглавляемого Молчановым. Это дало ему основание обрушиться на следователей, переданных в его подчинение из других управлений: они дескать «просиживают ночи напролёт со своими подследственными, не проявляя энергии и решительности». На том же совещании Молчанов привёл такой пример: следователя Д. из Особого управления он застал во время ночного обхода спящим за столом. Дело было в три часа ночи; подследственный, сидя напротив Д., тоже задремал. Это было грубым нарушением дисциплинарных правил и

могло бы иметь для Д. серьёзные последствия, если бы, например, арестованный, воспользовавшись случаем, выбросился из окна. Молчанов сурово осудил «таких следователей, как Д.», неустанно при этом восхваляя работников собственного управления.

Между тем всё объяснялось просто.

Д., способный и опытный специалист в области следственной работы, был мало искушён в приёмах шантажа и моральных истязаний. Некоторое время он слушал Молчанова, не реагируя на его слова, но затем, не выдержав, встал и заявил, что в Особом отделе он успешно вёл не менее важные следственные дела, чем те, которые поручаются следователям Молчанова. К тому же действительная подоплёка их успехов хорошо известна всем присутствующим.

Задетый за живое Молчанов спросил Д., на что он намекает. «Да всё очень просто, – отвечал тот. – И нечего удивляться, что признания получены именно вашими следователями. Ведь общее руководство следствием находится в руках вашего управления, вот ваши сотрудники и выбирают себе арестованных, у кого есть дети… А нам достаются те, у кого детей нет. Кроме того, ваши сотрудники вначале пробуют расколоть арестованного. Если он сдается, они оставляют его себе, а если выказывают упорство, передают нам».

Это была правда, хотя для Молчанова и малоприятная. Стремясь выслужиться перед высоким начальством и блеснуть своими кадрами, он распределял арестованных именно так, как обрисовал Д. Но слова его содержали и куда более глубокий подтекст: действительно, дети старых партийцев использовались следствием как заложники, и именно это способно было сломить даже самых стойких. Многие старые большевики, готовые умереть за свои идеалы, не могли переступить через трупы собственных детей – и уступали насилию.

Взбешённый Молчанов обвинил Д. в том, что тот пытается оправдать свою неспособность клеветой на других сотрудников. Он отстранил Д. от работы и направил наркому Ягоде рапорт, предлагая заключить Д. в Соловецкий концлагерь за то, что тот безответственно заснул при исполнении служебных обязанностей.

Марк Гай, непосредственный начальник Д., заступился за него перед Ягодой и отвёл угрозу концлагеря. Д. отделался сравнительно легко: его перевели с понижением из Москвы на периферию.

Тем временем следователей всё более изматывали эта лихорадочная работа, нервное напряжение и недосыпание. Их ослабевающая энергия поддерживалась только нажимом сверху, особенно ночными обходами начальства. Эти ночные визиты, впрочем, не обходились и без курьёзов.

Один из следователей, бывший рабочий, падая с ног от круглосуточных допросов, украдкой прихватил с собой бутылку водки. Будучи не в состоянии бороться со сном, он доставал из стола бутылку и делал глоток. Первые ночи это как-то выручало. Но однажды он, что называется, перебрал… На его беду, обход этой ночью делал сам Ягода со своим заместителем Аграновым. Они открыли дверь очередной камеры – и их глазам предстала такая картина. Следователь сидел на столе, жалобно восклицая: «Сегодня я тебя допрашиваю, завтра ты меня. Ни гроша-то наша жизнь не стоит!» Арестованный стоял рядом и отечески похлопывал его по плечу, пытаясь утешить.

2

Студенты-террористы Горьковского пединститута, которых Ольберг «выдал» под диктовку Молчанова, собирались убить Сталина во время первомайской де-

монстрации, стреляя в него из пистолета. Конечно, постановщики этого спектакля чувствовали, что всё это выглядит не слишком убедительно. Те, кто понимал что-то в огнестрельном оружии, сознавали, что у реальных террористов не было бы никакого шанса на успех такого покушения. Ведь студентам пришлось бы шагать в колонне демонстрантов на значительном расстоянии от мавзолея, где наверху во время демонстрации стоят члены Политбюро. Попасть из пистолета в Сталина – издалека, на ходу – нечего было и надеяться. Несравненно солиднее в такой ситуации выглядело бы намерение террористов воспользоваться бомбой. К тому же бомбы были традиционным оружием российских «цареубийц» ещё со времён «Народной воли». Арест преподавателя химии Нелидова навёл следствие на мысль приписать ему изготовление бомб для террористов в химической лаборатории Горьковского пединститута.

Эта идея понравилась Ягоде с Ежовым, и они отрядили в Горький опергруппу под руководством Воловича, заместителя начальника Оперативного управления НКВД. В задачи группы входил обыск химической и физической лабораторий пединститута для получения вещественных доказательств, подкрепляющих версию. Ягода рассчитывал, что в институтских лабораториях наверняка найдутся какие-нибудь взрывчатые вещества, применяемые при научных исследованиях. Как только они будут обнаружены, следователи заставят Нелидова и других его сослуживцев показать на допросах, что взрывчатка принадлежала троцкистам и предназначалась для изготовления бомб.

Группа Воловича провела в Горьком дней шесть или семь. По возвращении любивший порисоваться Волович пригласил всех начальников управлений и их заместителей в кабинет Молчанова, где должен был

состояться его доклад о сенсационных результатах поездки.

Начал Волович с демонстрации бомб, изъятых при обыске лабораторий Горьковского désинститута. Он выложил на стол с полдюжины полых металлических шаров, диаметром около трёх дюймов. Шары были ржавыми и выглядели очень непрезентабельно.

С лукавой усмешкой Волович объявил, что это – оболочки для троцкистских бомб. Затем он во всеуслышанье зачитал несколько официальных документов, состряпанных им в Горьком. Один из документов удостоверял, что корпуса для бомб были обнаружены во время обыска зарытыми в песок в физической лаборатории пединститута, однако в списке оборудования лаборатории не значатся. Цель Воловича была ясна: показать, что шары принадлежали не лаборатории, а террористам, которые принесли их в институт и спрятали, чтобы в дальнейшем начинить взрывчатыми веществами.

– Когда один из лаборантов, – цинично повествовал Волович, – заметил, что эти корпуса дескать принадлежат лаборатории и когда-то применялись для физических исследований, я тут же его поймал: «Ага! Вам что-то о них известно? Присмотритесь-ка к ним получше и скажите мне, точно ли это те же самые!» Парень задрожал и сказал, что ошибся и видит их впервые.

Волович прочел также официальное заключение, составленное специалистом местного военного гарнизона. В заключении утверждалось, что эти металлические шары представляют собой корпуса для бомб и в случае заполнения взрывчатым веществом будут обладать «огромной разрушительной силой». Молчанов и его помощники не могли скрыть удовольствия от того, с какой ловкостью Волович сумел превратить безобид-

ные металлические шары, совершенно очевидно относящиеся к оборудованию физической лаборатории, в зловещие «корпуса для бомб». Волович чувствовал себя героем. Документы, которые он прочёл собравшимся, действительно производили некоторое впечатление. Что же касается шаров, то стоило взглянуть на них – и становилось ясно, что Волович попросту смошенничал.

Начальник погранвойск Фриновский взял со стола один из шаров и, поглядывая на него с презрительной усмешкой, обратился к Воловичу:

– Если вам требуются корпуса для бомб, можете зайти ко мне, я вам дам настоящие. У меня найдутся любые гранаты, какие только пожелаете: немецкие, английские, японские. А те, что вы сюда привезли, для бомб не годятся. Любой, хоть мало-мальски разбирающийся в этом деле, скажет вам то же самое!

После такой сцены энтузиазм сторонников «бомбовой» версии угас. Тем более что и Нелидов, предназначавшийся на роль конструктора бомб, по-прежнему отказывался подписывать ложные признания. Впрочем, организаторы процесса не смогли окончательно отвергнуть эту версию. Протокол обыска, произведённого в Горьковском пединституте, и другие бумаги, приведённые Воловичем, были присоединены к материалам дела. Но, насколько я помню государственный обвинитель не демонстрировал на суде эти металлические шары и не стремился обратить внимание судей на легенду насчёт бомб.

Зорох Фридман – герой, оставшийся неизвестным

Среди оклеветанных Валентином Ольбергом был его старый, ещё по Латвии, друг – некто Зорох Фридман. Его не выволокли на скамью подсудимых в числе других обвиняемых. Не выступал он на суде и в роли свидетеля. В официальной стенограмме первого из московских процессов ему уделено всего несколько строк.

Вышинский. Что вам известно о Фридмане?

Ольберг. Фридман – это член берлинской троцкистской организации, засланный в Советский Союз.

Вышинский. А вы знаете, что он был связан с германской полицией?

Ольберг. Я слышал об этом.

За этими беглыми, как бы вскользь произнесёнными фразами никто, конечно, не мог разглядеть трагедию смелого и честного человека, который под невероятным давлением следственной машины не утратил человеческого достоинства и отказался спасать свою жизнь ценой сделки со своими мучителями.

В 1936 году Зороху Фридману было всего двадцать девять лет. Он был высок ростом, рыжий, голубоглазый. Типичный местечковый еврейский юноша. Всей душой восприняв учение Маркса и Ленина, он с ранней юности включился в революционное движение, вступил в коммунистическую партию Латвии, но вскоре вынужден был бежать в Германию, спасаясь от полицейских преследований. Здесь он стал членом германской компартии. Когда Гитлер захватил власть, Фридману и отсюда пришлось уносить ноги. Подобно многим другим зарубежным коммунистам, ему «посчастливилось» найти убежище в СССР. В Москву он приехал в марте 1933 года, тем же поездом, что и Ольберг.

В 1935 году Зороха Фридмана неожиданно арестовали. Его обвинили в том, что он в частном разговоре высказал мнение, будто советское правительство эксплуатирует рабочих ещё сильнее, чем капиталисты. Очень похоже, что донёс на него Ольберг. Особое совещание вынесло Фридману заочный приговор: десять лет Соловецкого концлагеря за контрреволюционную пропаганду.

Наступил год 1936-й. Отбирая кандидатов на предстоящий судебный процесс «троцкистско-зиновьевского террористического центра», руководители НКВД обратили внимание на то, что Фридман был приятелем Ольберга и прибыл в Советский Союз вместе с ним. Напрашивалась мысль попытаться представить Фридмана террористом, засланным в СССР самим Троцким. Приобщение Фридмана к «террористическому центру» имело тем больший смысл, что, уже находясь в заключении и имея десятилетний срок, он был полностью во власти «органов». Предполагалось, что, желая облегчить своё положение, Фридман окажется сговорчивым и согласится сыграть роль, предназначаемую ему на открытом судебном процессе. Фридмана доставили с Соловков в Москву и передали для «обработки» заместителю начальника Иностранного управления НКВД Борису Берману.

Вопреки ожиданиям, пребывание в Соловецких, лагерях не только не сломило Фридмана, но, напротив, закалило его. Он наотрез отказался играть роль контрреволюционера и террориста. Угрозы не производили на него никакого впечатления; обещаниям он не верил. Фридман сказал Берману, что однажды он уже имел глупость поверить обещаниям энкаведистского следователя и теперь расплачивается за это десятилетним сроком заключения.

По словам Фридмана, дело было так. Когда в 1935 году его арестовали, следователь НКВД Болеслав Рутковский объяснил ему, что если он откажется признать свою вину, его отправят в концентрационный лагерь; если же сознается и проявит искреннее раскаяние, то его вышлют из СССР как нежелательного иностранца. Рутковский прикинулся сочувствующим Фридману и посоветовал ему, «как коммунист коммунисту», подписать признание и отправиться в качестве принудительно высланного в свою Латвию. Фридман последовал «дружескому совету», подписал все документы – и в результате очутился на Соловках с десятилетним сроком.

В Соловецких лагерях Фридман повстречался с массой заключённых, которые попали сюда без малейшей вины, как и он сам. От них он успел ещё кое-что узнать о методах и приёмах следователей НКВД.

Так что теперь он предстал перед Берманом не наивным новичком, а закалённым противником, умудрённым собственным горьким опытом и опытом своих товарищей по Соловецким лагерям. Он держался вызывающе и отвечал резкостью на резкость.

Чтобы сломить его волю, Берман передал его группе следователей, которые подвергли его многосуточному непрерывному допросу. Тут всё пошло в ход – посулы, угрозы, психическое давление, моральные пытки. Однако Фридман был возвращён Берману таким же непримиримым, как раньше. Берман попытался сыграть на жажде любого человека выжить, но не добился успеха. Временами казалось, что их отношения до того накалились, что они вот-вот сцепятся в драке. В одну из таких минут Фридман бросил в лицо Берману:

– Вы хватаете ни в чём не повинных людей и заставляете их сознаваться, что они агенты гестапо. Что ж вы не ловите настоящих гестаповских шпионов? Вам не под силу? Вы не знаете, как их поймать!

Фридман проскандировал эти слова: «Вы не знаете, как их поймать!», – издевательски ведя указательным пальцем прямо перед физиономией Бермана. Тот решил, что Фридман специально вызывает его на драку, и после этого случая вообще избегал оставаться с ним наедине.

Как-то в моём присутствии Берман рассказал ещё об одной стычке с Фридманом. Берман, как правило, не ругался, но однажды дошёл до такого состояния, что стал осыпать своего подследственного всеми ругательствами, какие только мог припомнить. Фридман презрительно смерил его взглядом с ног до головы и процедил: «Жалкий интеллигент, даже ругаться не умеешь! Учись!» – и разразился потоком мата, такого сочного и свирепого, какого в Москве не услышишь. В таком мате топили своё горе и отчаяние соловецкие узники – там он его и наслушался.

Слух о смелости Фридмана распространился среди следователей и энкаведистского начальства. Эта публика повадилась ходить к Берману, чтобы просто взглянуть на его подследственного. Сотрудники Иностранного управления, которым, как правило, никого не доводилось арестовывать, зато приходилось постоянно опасаться собственного ареста за границей, проявляли к Фридману особый интерес. Они пользовались теми минутами, пока Фридман, приведённый на допрос к Берману, сидел в комнате его секретаря, и вступали с ним в разговор, угощая заграничными папиросами. Фридман беседовал с ними вполне мирно, чуть ли не дружески.

Несмотря на частые стычки и взаимные оскорбления, отношения между Берманом и Фридманом начали неожиданно налаживаться. Смелость Фридмана, его безупречная честность и сила характера вызывали у Бермана чувство уважения, близкое к восхищению.

Когда другие высокопоставленные сотрудники заводили разговор об особо неподатливых обвиняемых, Берман высокомерно бросал: «Это что! Мой Зорох им всем нос утрёт!» – и тут же приводил в пример какой-нибудь эпизод.

Берман вовсе не был бездушным инквизитором. Годы службы в НКВД не притупили в нём чувства справедливости и сострадания. Но, прикованный, как раб, к сталинской колеснице, он послушно исполнял приказы, идущие сверху. Откажись он участвовать в «допросах» Фридмана, попытайся заикнуться о смысле предстоящего процесса, – и его самого, несомненно, арестовали бы и уничтожили как троцкиста.

Он продолжал регулярно вызывать Фридмана из тюрьмы на допросы. Однако они уже не носили прежнего бурного характера и нередко протекали в форме мирной беседы на самые различные темы. Прошло несколько месяцев, и Берман доложил Молчанову, что считает Фридмана абсолютно безнадёжным и предлагает вернуть его в Соловецкий концлагерь для отбывания срока. Молчанов отверг это предложение. Он заявил, что для чекистов не существует «безнадёжных» и что он передаст Фридмана Когану, сотруднику Секретного политического управления: тот «наверняка сумеет его расколоть». Затем он велел Берману договориться с Коганом об очной ставке, которую надлежит устроить Фридману с Ольбергом.

Через несколько дней после разговора с Молчановым Берман рассказал мне, что произошло на очной ставке.

Для начала Коган предупредил обоих, что им строжайше запрещается разговаривать друг с другом: они имеют право отвечать только на вопросы, задаваемые следователем.

Первый свой вопрос Коган адресовал Ольбергу: «Известно ли вам, что Зорох Фридман являлся членом троцкистской организации в Берлине?» Ольберг ответил утвердительно. Фридман немедленно отреагировал: «Подлая и наглая ложь!»

Коган записал в протоколе: «Это неправда».

Фридман тут же запротестовал: он требует, чтобы его слова были записаны точно.

Коган исправил: «Это ложь».

– Нет, не точно, – сказал Фридман, – запишите: «подлая и наглая ложь!» – И заявил, что если его требование не выполнят, он не подпишет протокол очной ставки.

Очная ставка продолжалась. Коган задал Ольбергу ещё один вопрос: известно ли ему, что Фридман являлся агентом гестапо? Ёрзая на стуле и пряча глаза, Ольберг промямлил: «Да, мне говорили, что это так…»

– Ты безмозглый осел! – закричал Фридман. – Они заставляют тебя лгать, а ты веришь их обещаниям. Ты соображай хоть немножко, идиот несчастный, пока они тебе вовсе мозги не вышибли!

Коган тоже повысил голос, стремясь если не перекричать, Фридмана, то хоть заставить его замолчать, чтобы он не смог воздействовать на Ольберга.

Терпение Фридмана лопнуло, когда Ольберг в ответ на вопрос следователя заявил, что Фридман был направлен в СССР Троцким и гестапо с заданием убить Сталина. Взбешённый Фридман двинулся на Ольберга, сжав кулаки. Пришлось применить силу, чтобы удержать его на месте. Выждав, Коган принялся составлять окончательный вариант протокола.

И снова ему пришлось туго: Фридман настаивал, чтобы любая его реплика была записана дословно: «подлая клевета», «наглая фальшивка»… Когану приходилось торговаться с Фридманом за каждое слово, и всё

же он был вынужден в большинстве случаев уступать, чтобы получить хоть один документ, пускай пестрящий фридмановскими опровержениями, но всё же свидетельствующий против него. После многочасовой перебранки протокол был готов, и Коган дал его Фридману на подпись. Фридман колебался: ставить подпись или нет? Видя это, Коган напомнил, что он принял почти все фридмановские поправки. «Дело не в поправках, – проворчал Фридман. – Я не хочу это подписывать только по той причине, что вам, вижу, очень этого хочется!»

Берман втихомолку восхищался поведением Фридмана. Когда о том, что происходило на очной ставке, доложили Молчанову, тот потребовал, чтобы Фридмана привели к нему. Эта встреча была обставлена так.

Фридману сказали, что его ведут к комиссару госбезопасности Молчанову. Сами размеры молчановской приёмной с большим числом секретарей должны были показать подследственному, какой властью обладает Молчанов, и внушить мысль, что от Молчанова зависит его судьба.

Чтобы произвести на Фридмана впечатление, Молчанов сбросил лёгкую шёлковую рубашку и облачился в китель, украшенный четырьмя комиссарскими звёздами и двумя орденами.

Ввели Фридмана. Он был очень бледен, руки дрожали. Молчанов сердито взглянул на него и задал вопрос:

– Зачем вы доставляете нам неприятности, чего вы скандалите?

– Они требуют от меня, – отвечал Фридман прерывающимся от возмущения голосом, – чтобы я подписал ложные показания против себя самого и других заключённых.

– Советской власти не требуются ничьи ложные свидетельства! – недовольно прервал его Молчанов.

– Скажите это кому-нибудь другому, с меня хватит! – заявил Фридман. – Я незаконно получил десять лет концлагеря, – спросите следователя Рутковского, ему известно, как это вышло.

– Послушайте, Фридман, – в голосе Молчанова зазвучали угрожающие ноты, – до сих пор мы говорили с вами по-дружески, но я вас предупреждаю: если вы не образумитесь, мы поговорим с вами по-иному. Мы вышибем из вас это упрямство заодно со всеми вашими потрохами!

Фридман придвинулся ближе к молчановскому столу и уставился ему в лицо.

– Не думайте, что раз мои руки дрожат, значит я вас боюсь. Это у меня ещё с лагеря… Я вас не боюсь. Можете делать со мной что хотите, но я никогда не стану клеветать ни на себя самого, ни на кого другого, как бы вам того ни хотелось!

Конечно, Фридману было легче, нежели многим: его жена и близкие ему люди всё ещё находились в Латвии, которая в 1936 году была вне досягаемости НКВД.

Иван Смирнов и Сергей Мрачковский: дружба врозь

Исследуя обвинения, предъявленные подсудимым на первом из московских процессов, мы обнаружим в его стенограммах массу противоречий, подтасовок и явных фальсификаций. Когда же дело доходит до главных обвиняемых – Зиновьева, Каменева и Ивана Никитича Смирнова, – нагромождение нелепостей доходит до такой степени, что, кажется, эта зловещая конструкция должна была рассыпаться сама собой. Такая странность становится до некоторой степени объяснимой, если принять во внимание, что все обвинения, направленные против этих лиц, фабриковал – притом вплоть до мельчайших деталей – не кто иной, как сам Сталин, К тому же он лично проверял и поправлял полученные от них «признания».

В своём «завещании» Ленин не без оснований подчёркивал, что наряду с другими отрицательными чертами Сталину прежде всего была присуща грубость. Действительно, грубость была его внутренним органическим свойством. Он был груб не только с людьми: эта черта сказывалась во всех его действиях. Даже меры, которые с политической точки зрения были разумны и необходимы для страны, осуществлялись им с такой бессердечностью, что вреда от них было больше, чем пользы. В качестве примера можно указать хотя бы на коллективизацию сельского хозяйства.

Грубой сталинской хваткой был отмечен и весь ход московских процессов, начиная с создания легенды о заговоре и кончая распределением ролей в этих юридических спектаклях. Когда же дело касалось Зиновьева, Каменева, Смирнова и Троцкого, сталинская грубость ещё более усугублялась его нечеловеческой ненавистью к этим людям. Тут ему изменяла даже его

обычная осторожность. Переставали существовать границы, диктуемые здравым смыслом, и вообще стиралась грань между реальностью и абсурдом.

Руководство НКВД нередко сознавало всю нелепость того или иного сталинского указания, но не смело перечить. Между тем Сталин далеко не всегда пренебрегал мнениями – своих советников. В партийных кругах было хорошо известно, что он с огромным вниманием относился к советам маршала Тухачевского в области военного дела, или Пятакова – в области промышленного строительства, или Литвинова – в области внешней политики. Но в сфере внутрипартийных интриг и политических подтасовок Сталин считал себя настолько большим специалистом, что не терпел тут ничьих советов и даже мнений, расходящихся с его собственным.

Насколько я знаю, на совещании в Кремле Сталин отобрал семерых обвиняемых, которые, по его мнению, должны были фигурировать на процессе как члены руководящего «троцкистско-зиновьевского центра». Замнаркома Агранов позволил себе усомниться в целесообразности включения Ивана Никитича Смирнова в состав этого «центра».

– Боюсь, – заметил Агранов, – что мы не сможем обвинить Смирнова, – ведь он уже несколько лет сидит в тюрьме.

– А вы не бойтесь, – сказал на это Сталин, зло оглядев Агранова. – Не бойтесь, только и всего.

Благоразумнее было бы посчитаться с мнением Агранова. Действительно, Смирнов неотлучно пребывал в тюрьме с 1 января 1933 года и продолжал находиться в заключении вплоть до августа 1936 года, когда начался процесс. У него просто не было физической возможности участвовать в каком-либо заговоре.

Однако Смирнов в своё время одним из первых потребовал выполнить ленинское «завещание» и сместить Сталина с поста генерального секретаря ЦК партии. Сталину была известна популярность Смирнова среди партийцев; знал он также, что к мнению Смирнова прислушиваются старые большевики. Теперь, укрепив свои позиции, он не мог отказать себе в столь долгожданном удовольствии – отомстить Смирнову, протащив его через мучительные допросы и комедию суда и бросив наконец в камеру смертников.

Упрямство Сталина и его желание во что бы то ни стало обвинить Смирнова, невзирая на его абсолютное алиби, поставило Вышинского на суде в очень трудное положение. Чтобы придать сталинской фальсификации хоть минимальную убедительность, в своей судебной речи Вышинский заявил:

– Смирнов может сказать: я ничего не делал. Я был в тюрьме. Наивная отговорка! Смирнов действительно находился в тюрьме начиная с 1 января 1933 года, но мы знаем, что, находясь в тюрьме, он организовал контакты с троцкистами, и был обнаружен шифр, с помощью которого Смирнов, сидя в тюрьме, переписывался со своими друзьями на воле.

Однако Вышинский, разумеется, не смог продемонстрировать суду этот шифр. Не было представлено ни единого письма из тех, что Смирнов будто бы писал в тюрьме, не названо ни одного лица, с которым он якобы вёл тайную переписку. Вышинский не смог даже сказать, кто из тюремной охраны помогал Смирнову, передавая на волю его шифрованные послания. Наконец, ни один из подсудимых не сознался в получении каких бы то ни было писем от Смирнова.

Разве что за границей могли найтись люди, способные поверить, будто политические заключённые, находящиеся в сталинских тюрьмах, могли переписы-

ваться со своими товарищами на свободе. Советские граждане знали, что это совершенно невозможно. Им было известно, что семьи политзаключённых годами не могли даже узнать, в какой из тюрем содержатся их близкие, и вообще, живы ли они.

Да и какие, собственно, советы мог слать из тюрьмы Смирнов, отрезанный от мира, Мрачковскому или Зиновьеву? Быть может, он должен был писать им: «Цельтесь Сталину не в живот, а в голову»? Да и кому неясно, что настоящие заговорщики никогда не стали бы вести переписку о своих террористических планах с человеком, сидящим в тюрьме под надзором энкаведистских охранников.

Несмотря на всё это, Сталин не постеснялся отдать Ягоде приказание «подготовить» Смирнова к судебному процессу и выставить его одним из главных руководителей заговора.

Даже у Гитлера, организовавшего судебный спектакль, на котором Димитров обвинялся в поджоге рейхстага, хватило соображения прекратить эту комедию, когда он увидел, что юридическая подтасовка провалилась. Но Сталин оказался упрямее. Привыкший к тому, что любой его каприз автоматически приобретал силу закона, он знал, что суд вынесет Смирнову смертный приговор и этот приговор будет приведён в исполнение.

В рядах «старой гвардии» было немного таких, чьи заслуги перед революцией могли бы сравниться с заслугами Смирнова. Бывший заводской рабочий, активный революционер с семнадцатилетнего возраста, член партии большевиков со дня её основания, он до Октября неутомимо создавал новые большевистские подпольные организации, а после революции стал одним из выдающихся руководителей Красной армии.

В 1905 году Смирнов принимал активное участие в московском вооружённом восстании. Он провёл много лет в царских тюрьмах и ссылке и отбыл два срока ссылки за Полярным кругом.

В гражданскую войну он возглавлял вооружённую борьбу большевиков в Сибири и обеспечил победу Пятой армии красных над силами Колчака. Его телеграмма Ленину 4 декабря 1919 года напоминает об одной из решающих побед в гражданской войне:

«Колчак лишился своей армии… Темпы преследования врага таковы, что к 20-му декабря Барнаул и Новониколаевск будут в наших руках».

После победы над Колчаком Смирнов был назначен председателем Сибирского ревкома. С 1923 по 1927 год он работал наркомом связи. После смерти Ленина Смирнов примкнул к антисталинской оппозиции, за что его исключили из партии. Хотя в 1929 году он был восстановлен в партии, однако вскоре его арестовали и отправили в ссылку, а в первый день 1933 года, как мы уже знаем, по сталинскому распоряжению он был заключён в тюрьму.

Подготовить Смирнова к судебному процессу было поручено Абраму Слуцкому. Он нёс ответственность и за подготовку другого обвиняемого Сергея Мрачковского, с которым Смирнов дружил ещё с гражданской войны. Слуцкий, как я уже упоминал, был начальником Иностранного управления НКВД. Его характерными чертами были лень, страсть к показухе и пресмыкательство перед вышестоящим начальством. Слабохарактерный, трусливый, двуличный Слуцкий в то же время был неплохим психологом и обладал тем, что называется «подход к людям». Одарённый богатой фантазией, он умел притворяться и артистически разыгрывать роль, которую в данный момент считал выгодной для себя. Его выразительные глаза, лучащиеся добротой и теп-

лом, внушали впечатление такой искренности, что на эту приманку нередко клевали даже те, кто хорошо знал Слуцкого. Зная за собой все эти качества, Слуцкий умело пользовался ими для «обработки» подследственных.

Располагая богатым арсеналом высочайше дозволенных методов следствия, сотрудники НКВД вносили в этот процесс и свой индивидуальный подход. Одни действовали нагло и грубо, как разбойники с большой дороги, приставляющие нож к горлу жертвы. Другие прибегали к разного рода уловкам, обману, многословно распространяясь о «выгодах чистосердечного признания». К следователям этого рода, как нетрудно понять, относился и Абрам Слуцкий.

С самого начала он занял по отношению к Смирнову позицию не злобного инквизитора, а как бы посредника между Политбюро и Смирновым, причём посредника, симпатизирующего обвиняемому.

Узнав, что Политбюро обвиняет его и других руководителей оппозиции в убийстве Кирова и подготовке покушения на Сталина, Смирнов назвал это обвинение «новым сталинским фокусом».

– Хотел бы я знать, – сказал он, – как вам удастся доказать суду, что я организовывал покушение на Кирова и террористический акт против Сталина, если всем известно, что с января 1933 года я сидел в тюрьме!

– Нам не придется это доказывать, – цинично ответил Слуцкий. – Политбюро надеется, что вы сами во всём сознаетесь. Ну а если откажетесь сознаваться, – вас просто не выведут на суд.

Слуцкий передал Смирнову сталинское обещание: сохранить жизнь всем, кто согласится признаться на суде в своих преступлениях. Тех же, кто отказывается выполнить требование Политбюро, расстреляют без суда, по приговору Особого совещания НКВД.

Слуцкий не применял к Смирнову такие «жёсткие» приёмы следствия, какими пользовались другие следователи. Он считал, и не без основания, что эти приёмы всё равно не сломят такого человека, как Смирнов. Он больше напирал на логические доводы, внушая Смирнову, что его спасение – в принятии условий Политбюро и ни в чём другом, а если он будет сопротивляться, то может и проиграть. Но подследственный оставался глух к этим увещеваниям. Он с каменным лицом сидел перед Слуцким, спокойно наблюдая, как тот вновь и вновь повторяет свои старые аргументы и из кожи вон лезет, чтобы придумать новые.

Убедившись, что из Смирнова ничего не выжать, Слуцкий решил на время оставить его в покое и усиленно занялся Мрачковским. Он полагал, что признание, добытое от Мрачковского, поможет ему сломить и Смирнова.

Сергей Мрачковский, как и Смирнов, был в юности рабочим. В партию большевиков он вступил в 1905 году, в 1917 успешно руководил восстанием уральских рабочих, а в годы гражданской войны воевал с Колчаком, находясь в подчинении у Смирнова. С того времени их и связывала тесная дружба.

Но Смирнов, щедро одарённый природой, достиг незаурядного интеллектуального развития, стал выдающимся государственным деятелем, в то время как Мрачковский оставался недалёким, малообразованным человеком, плохо разбиравшимся в сложных проблемах государственной и партийной политики.

Когда после смерти Ленина Сталин начал подбирать в свой аппарат лично преданных ему людей, с помощью которых он рассчитывал вытеснить соратников Ленина, его внимание среди других привлёк и Мрач-

ковский, революционное прошлое которого было бы очень кстати.

В самом деле, вся биография его была необычной. Даже родился он в царской тюрьме, куда его мать была заключена за революционную деятельность. Его отец также был большевиком, а к тому же рабочим. К рабочему классу принадлежал и дед, один из основателей Южно-русского рабочего союза. Активное участие Сергея Мрачковского в Октябрьской революции и гражданской войне было, таким образом, как бы продолжением семейной традиции.

Увы, Сталину не удалось привлечь Мрачковского на свою сторону. Следуя за своими друзьями по гражданской войне, в первую очередь за Смирновым, Мрачковский оказался в лагере оппозиции.

Сталин пытался делать ему авансы и после разгрома оппозиции, соблазняя его высокими военными должностями, но безуспешно.

Гражданская война не прошла бесследно для здоровья Мрачковского. Будучи контужен и неоднократно ранен, он сделался с годами крайне раздражительным и невыдержанным. Вдобавок у него появилась такая странность: он вообразил себя выдающимся военным стратегом и с пренебрежением относился ко всем, кому за годы гражданской войны не пришлось повоевать на командных должностях.

Слуцкий, зная всё это, решил воспользоваться этим крайним эгоцентризмом Мрачковского. Он искусно эксплуатировал его тщеславие и не упускал случая пустить в ход тонко продуманную лесть.

К изумлению Слуцкого, Мрачковский дал себя уговорить без большого труда. Он согласился дать на суде нужные показания и помочь Слуцкому убедить Смирнова. В разговорах со Слуцким Мрачковский неоднократно высказывал сожаление по поводу того, что в

своё время, в 1932 году, не последовал сталинскому совету:

– Сталин говорил мне: «Порви с ними, что тебя, прославленного рабочего человека, связывает с этим еврейским синедрионом?» Он обещал назначить меня командующим крупным военным округом, но я отказался…

Сталин, надо полагать, был невысокого мнения об интеллигентности и культурном уровне Мрачковского, если рассчитывал, что на него, подействуют столь примитивные антисемитские доводы. С другой стороны, томясь в ссылке, вдали от высокого армейского начальства и военных парадов, Мрачковский, должно быть, не раз возвращался к мысли, что, прими он предложение Сталина, – и всё бы обернулось иначе.

Составив протокол допроса, в ходе которого Мрачковский оговорил себя и Смирнова, Слуцкий тотчас понес его Ягоде. У него не было сомнений, что этот документ будет срочно препровождён к Сталину и тот, дойдя до подписи Мрачковского, прочтёт под нею: «Допрос вёл комиссар государственной безопасности 2-го ранга А. Слуцкий».

Заключённый в энкаведистскую тюрьму и чувствуя, что его жизнь на волоске, Мрачковский ухватился за последний остававшийся у него шанс: умилостивить Сталина и таким путём спастись. Он полностью предоставил себя в распоряжение НКВД и готов был помочь следователям сломить сопротивление своих товарищей по давней оппозиции.

Не сомневаясь в поддержке Мрачковского, Слуцкий вновь сконцентрировал усилия на Смирнове. На очной ставке со Смирновым Мрачковский пытался убедить его «поддаться» Политбюро и дать на суде необходимые показания. Один из его главных доводов был таким: «Зиновьев и Каменев уже согласились давать

показания. Уж если они на это пошли, значит, иного выхода нет».

Смирнов был поражён поведением Мрачковского. Он заявил, что не станет наговаривать на себя в угоду Сталину. Тогда Мрачковский пустил в ход свой последний довод: «Я тебе напомню, Иван Никитич, что я предоставил себя в распоряжение партии. Значит, я обязан буду выступить против тебя на суде!» На что Смирнов отрезал: «Я всегда знал, что ты трус!»

Эта фраза очень уязвила Мрачковского. Вообразивший себя героем гражданской войны, он не мог стерпеть такой оценки, да к тому же из уст своего бывшего командира. Вне себя от бешенства, он бросил в лицо Смирнову:

– Ты, видно, рассчитываешь выбраться из этой грязной истории, не замарав беленькой рубашки?

В кабинете Слуцкого Смирнов и Мрачковский встретились как старые друзья. По камерам их развели непримиримыми врагами.

Стремясь использовать ситуацию, Слуцкий тут же состряпал протокол очной ставки, содержание которого имело мало общего с тем, что произошло. От лица Мрачковского значилось, что он, Мрачковский, присутствовал в 1932 году на тайном совещании, где Смирнов предлагал объединиться с Зиновьевцами для создания организации, целью которой явится подготовка террористических актов. В этом контексте и были использованы слова Мрачковского о том, что Смирнову не удастся выйти «из этой грязной истории», не замарав беленькой рубашки. Собственно, ради этой многозначительной фразы Слуцкий и спешил поскорее набросать протокол очной ставки.

Ягода был вполне удовлетворён протоколом. Он знал, с каким удовольствием Сталин станет читать о ссоре Мрачковского со Смирновым, и решил сделать

этот документ ещё более впечатляющим. При перепечатке на машинке он распорядился добавить в злополучную фразу словцо «кровавый». Теперь она звучала так: «А ты считаешь себя святым? Ты, видно, рассчитываешь, что тебе удастся выбраться из этой грязной и кровавой истории, не замарав беленькой рубашки!»

Очная ставка с Мрачковским произвела на Смирнова удручающее впечатление. У него вызывал отвращение прежде всего Слуцкий, так усердно натравливавший Мрачковского на бывшего командира и давнего друга, Смирнов припоминал, как Слуцкий в начале следствия прикидывался сочувствующим ему, Смирнову, и давал понять, что не намерен быть просто исполнителем распоряжений начальства. Теперь, после всего происшедшего, Смирнов отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы Слуцкого. Узнав об этом, Ягода распорядился «забрать Смирнова от Слуцкого» и передать его для дальнейшей «обработки» Марку Гаю. Надежда на крушение Смирнова, казавшееся Слуцкому близким, теперь ускользала из его рук, а вместе с ней и те лавры, которые оно должно было принести ему.

Между тем кольцо вокруг Смирнова начало стягиваться. Первые показания против него дали Ольберг и Рейнгольд, давно уже согласившиеся помогать НКВД в подготовке фальсифицированного процесса. Руководители следствия рассчитывали получить свидетельства также от Гольцмана и от некоего Гавена, который по каким-то таинственным причинам так и не появился на скамье подсудимых.

Теперь в качестве важного звена этой цепочки добавились показания Мрачковского. Если «свидетельства» таких, как Ольберг, Рейнгольд или Гавен, могли вызвать у Смирнова только омерзение, – признание Мрачковского было для него первым чувствительным

ударом. Соответственно оно явилось немаловажным козырем и для НКВД.

За этим ударом последовали другие. Прошло немного времени и Смирнову стало известно, что Зиновьев и Каменев только что согласились принять сталинские условия и что, оклеветав самих себя, они дали показания против него. А показания таких значительных персон, пусть даже лживые, весили немало и представляли мощный рычаг для дальнейшего нажима на Смирнова. Положение его с каждым днём ухудшалось. Его козырями были правда и непримиримость к всеобъемлющей лжи и цинизму фальсификаторов. Но позиции Сталина были несравненно сильнее. Он располагал следственными и судебными органами, состоящими из раболепных чиновников, и мощным аппаратом пропаганды, который уже готов был разнести клевету по миру. Смирнову, видимо, не оставалось ничего иного, как осознать, что в этой неравной борьбе дальнейшее сопротивление бессмысленно.

Оказавшись в руках Гая, Смирнов испытал ещё один тяжкий удар, потрясший его даже сильнее, чем предательство Мрачковского. Гай положил перед Смирновым заявление его бывшей жены Сафоновой, где говорилось, что в конце 1932 года он, Смирнов получил от Троцкого «террористические директивы». Как выяснилось позже, Сафонова написала это заявление под нажимом НКВД и вдобавок поверив заверениям, что, поступая таким образом, она не только сохранит собственную жизнь, но спасёт и Смирнова.

Дабы окончательно его сломить, Гай устроил ему очную ставку с Сафоновой. Как я только что заметил, сначала Сафоновой было сказано, что, подписывая показания против Смирнова, она спасает свою жизнь. Но когда она выполнила это условие, цена её жизни, как

оказалось, возросла: теперь, чтобы уцелеть, она должна помочь НКВД «убедить» Смирнова.

Встреча Сафоновой со Смирновым в кабинете Гая была драматической. Рыдая, Сафонова умоляла Смирнова спасти жизнь им обоим и подчиниться требованиям Политбюро. Она откровенно убеждала его в присутствии Гая, что никто не примет его признания за чистую монету, что все поймут: судебный процесс организован по чисто политическим соображениям. Она уговаривала его «помириться с Зиновьевым и Каменевым» и вместе с ними принять участие в этом процессе. «Тогда, – объясняла Сафонова, – на вас будет смотреть весь мир, и они не посмеют вас расстрелять».

В конце концов Смирнов подчинился требованиям Гая, но не без оговорок. Он согласился признать только часть выдвинутых против него обвинений. Никакой другой обвиняемый при таких условиях не был бы допущен до суда. Но Сталин хотел, чтобы Смирнов фигурировал на судебном процессе, даже при условии «частичного признания». Лишь бы давал показания против Троцкого. Это было для Сталина некой утончённой формой мести – Смирнова знали как одного из самых преданных и искренних друзей Троцкого.

Своё участие в процессе Смирнов оговорил обязательным условием: не вовлекать в него Сафонову. Это условие было принято, и Сафонова не фигурировала в числе обвиняемых: её вызывали на суд только как свидетельницу, и так был отведён от неё смертный приговор.

Я не раз задавал себе вопрос: что было тем решающим фактором, который заставил Смирнова согласиться участвовать в судебном процессе? Пример Зиновьева и Каменева? Доводы Сафоновой, которая была его верной спутницей на протяжении многих лет? Вероятно, самым убедительным оказался довод Сафоновой:

«Помирись с Зиновьевым и Каменевым и предстань с ними перед судом. На глазах у всего света тебя не посмеют расстрелять». Но думаю, что ни этот довод, ни вся сумма средств воздействия не могли бы заставить Смирнова участвовать в позорном спектакле сталинского суда. Если б он знал, что ценой собственной жизни сможет опровергнуть сталинскую клевету против него и его доброго имени, – тогда бы он, без сомнения, отказался от судебной комедии и предпочёл смерть. Но такой выбор ничего бы не изменил. Его убили бы втайне, а прочие обвиняемые, не исключая Зиновьева и Каменева, послушно порочили бы в зале суда его имя.

Поэтому Смирнову, вероятно, показалось более правильным всё же использовать тот единственный шанс, который у него оставался. Допустим, Сталин не сдержит своё обещание и не сохранит ему жизнь. Но даже в этом случае его присутствие на суде сможет хоть до некоторой степени сдержать поток злобных инсинуаций и не позволит другим подсудимым и обвинителю беспардонно лгать, как если бы он был уже мёртв.

Долг партийца

В середине мая 1936 года в Кремле состоялось важное совещание, в котором приняли участие Сталин, Ежов, Ягода, а также помощники последнего Агранов, Молчанов и Миронов, На совещании обсуждался единственный вопрос: обвинения, сфабрикованные в адрес Троцкого. Зная, какое исключительное значение Сталин придает всему, что касается Троцкого, Молчанов подготовил специальную карту, наглядно представляющую, когда и через кого Троцкий участвовал в «террористическом заговоре». Паутина разноцветных линий, на этой карте изображала связи Троцкого с главарями заговора, находившимися в СССР. Было показано также, кто из старых членов партии уже дал требуемые показания против Троцкого, а кому это ещё предстоит. Карта выглядела внушительно, прочно связывая между собой Троцкого и главарей заговора в СССР.

Выслушав сообщения руководителей следствия, Сталин привлёк их внимание к тому факту, что не хватает подследственного, который мог бы показать, что он был направлен Троцким в Советский Союз для того, чтобы совершить террористический акт. Молчанов напомнил Сталину, что такое признание уже подписано Ольбергом. Однако Сталин, не без оснований гордящийся своей отличной памятью, возразил, что согласно показаниям Ольберга он получил своё задание не от самого Троцкого, а от его сына – Седова. Тут Ягода заметил, что ничего не стоит переписать показания Ольберга. Пусть там будет сказано, что перед отъездом в Советский Союз он имел свидание с Троцким и получил инструкции относительно террористического акта лично от него. Предложение Ягоды не удовлетворило Сталина, Он сказал, что переписка показаний Ольберга «не решает проблемы» и что было бы полез-

но добавить двоих или троих надёжных людей типа Ольберга, которые могли бы засвидетельствовать, что именно они были посланы в Советский Союз Троцким и тот лично дал им указания о проведении террористического акта.

Желая угодить Сталину, Молчанов заявил, что у него есть два тайных агента, гораздо более квалифицированных, чем Ольберг, которые могли бы прекрасно сыграть эту роль на суде, однако это не простые агенты, а бывшие нелегальные представители секретного политического управления НКВД в германской компартии. В настоящее время они заняты сбором информации о центральном аппарате Коминтерна. Это – некие Фриц Давид и Берман-Юрин. Молчанов охарактеризовал обоих как преданных и дисциплинированных членов партии. Сталин сразу же согласился с включением их в состав обвиняемых.

Ягоде предложение Молчанова не понравилось. Как это он решился назвать Фрица Давида и Бермана-Юрина, не согласовав этот вопрос с ним, Ягодой? Инициатива Молчанова была тем более неумной, что эти двое сумели организовать НКВД секретную службу внутри Коминтерна так ловко, что Ягода знает всё, что там происходит. Благодаря им Ягода постоянно имел возможность обращать внимание Сталина на опасные фракционные группы в зарубежных компартиях и разные нежелательные поползновения иностранных представителей Коминтерна, тем самым демонстрируя Сталину и Политбюро, как хорошо НКВД информирован. Сразу же найти замену Фрицу Давиду и Берману-Юрину невозможно. Эти двое досконально знают коминтерновскую кухню, у них масса друзей в руководстве зарубежных компартий и сверх того большой опыт секретной работы на НКВД.

Включение Фрица Давида и Бермана-Юрина в предстоящий процесс имело ещё одну неприятную сторону. Такие серьёзные фигуры не могли быть

введены в игру в любой произвольный момент, точно пешки, – и уж тем более в уголовный процесс, притом в качестве подсудимых! Оба они состоят в ВКП(б) и, хотя их работа на «органы» носит неофициальный характер, они считаются ответственными сотрудниками НКВД. Принося их в жертву, Молчанов нарушил элементарную товарищескую этику: это был первый случай, когда оперативник НКВД предложил собственных коллег на роль обвиняемых по уголовному делу.

Впрочем, недовольство Ягоды носило чисто платонический характер и ничего уже не могло изменить. Предложение Молчанова было одобрено Сталиным, и ход событий принял необратимый характер. Не прошло и месяца, как Фриц Давид и Берман-Юрин были арестованы. Обоим объявили, что Центральный комитет оказал им большое доверие, избрав их на роль фиктивных обвиняемых, которым на предстоящем процессе предстоит исполнить волю партии. Тому и другому ничего не оставалось, как с энтузиазмом принять на себя это поручение своей партии и НКВД. Неизвестно, был ли энтузиазм искренним, но не выказать его было нельзя.

Под диктовку Молчанова, своего начальника, оба дали показания, что в конце ноября 1932 года каждый из них независимо от другого посетил Троцкого в Копенгагене и получил от него задание отправиться в Советский Союз и совершить террористический акт против Сталина.

На судебном процессе Фриц Давид и Берман-Юрин всеми силами старались помочь обвинению разыграть заранее подготовленный спектакль. Однако, хоть сами они были направлены сюда в качестве мнимых обвиняемых, это не помешало суду приговорить их к смертной казни, а «органам» – расстрелять вместе с другими, настоящими обвиняемыми.

Зиновьев и Каменев: кремлёвская сделка

1

Из всех арестованных членов партии, отобранных Сталиным для открытого процесса, наибольшее значение он придавал Зиновьеву и Каменеву. С этими двумя ближайшими соратниками Ленина, способными объединить вокруг себя партийные массы, Сталин вновь сводил свои старые счёты – и на сей раз уже окончательно.

«Обработка» Зиновьева и Каменева была поручена тем сотрудникам НКВД, которых он знал лично: Агранову, Молчанову и Миронову.

Я уже представил Миронова читателю в связи с делом Кирова. Теперь настало время рассказать о нём подробнее. Миронов отвечал за многие важнейшие дела, проходившие через Экономическое управление НКВД, и Ягода, выезжая в Кремль для доклада Сталину, нередко брал с собой и Миронова. Среди следственных дел, которые Миронов вёл под личным руководством Сталина, было знаменитое «дело Промпартии» и дело английских инженеров из фирмы «Метро Виккерс» – оба эти дела относились к самому началу 30-х годов и произвели немалую сенсацию.

Сталин быстро оценил выдающиеся способности Миронова и начал поручать ему специальные задания, о выполнении которых Миронов отчитывался лично перед ним. На этом он быстро сделал карьеру. В 1934 году по предложению Сталина его назначили начальником Экономического управления НКВД, а ещё через год – заместителем Ягоды. Отныне он возглавлял Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). В его ведении была вся оперативная работа НКВД. Одно время среди сотрудников НКВД циркулировал слух, будто Сталин предполагает сместить Ягоду и назначить

Миронова на его место, но люди, достаточно хорошо информированные, этому не верили. Они знали, что в качестве руководителя НКВД Сталин нуждается в человеке с макиавеллиевым складом ума, который был бы в первую очередь специалистом по части политических интриг. Именно таким был Ягода, в отличие от дельного экономиста и контрразведчика Миронова.

Одним из достоинств Миронова была его феноменальная память, – в этом отношении Ягоде было до него далеко. Именно поэтому Ягода привык брать Миронова с собой к Сталину даже в тех случаях, когда доклад не относился непосредственно к компетенции Миронова. Важно было запоминать, не пропуская ничего, мельчайшие детали сталинских инструкций и наставлений. После возвращения из Кремля Миронов, как правило, сразу же усаживался за стол и во всех подробностях записывал для Ягоды каждое из сталинских замечаний, притом теми же словами, какими оперировал Сталин. Это было особенно важно для Ягоды в тех случаях, когда Сталин наставлял его, какую псевдомарксистскую терминологию он должен использовать, обращаясь в Политбюро с тем, чтобы оно вынесло именно те решения, которые тайно отвечали намерениям Сталина. Подобные наставления Ягода получал всякий раз, когда Сталин начинал подкапываться под того или иного члена Политбюро либо ЦК для того, чтобы избавиться от него.

Миронов достиг высокого положения. Он обладал властью и пользовался немалым авторитетом. Но это не принесло ему счастья. Дело в том, что от природы он был очень деликатным и совестливым человеком. Его угнетала та роль, какую он вынужден был играть в гонениях на старых большевиков. Чтобы устраниться от этих неприятных обязанностей, Миронов одно время пытался получить назначение на разведывательную

работу за рубежом. Позже он сделал попытку перевестись в народный комиссариат внешней торговли, на должность заместителя наркома, но когда дело дошло до утверждения этого перевода в ЦК, Сталин запретил Миронову даже думать об этом.

Пессимизм и разочарование в жизни, отличавшие теперь Миронова, всё более сказывались на его семейной жизни. Его очень хорошенькая жена Надя, которую он любил без памяти, вечно пребывала в состоянии восторженного увлечения кем-то на стороне; его семейная жизнь рушилась.

Однажды ночью – дело было весной 1936 года – Миронов позвонил мне и спросил, не могу ли я зайти в его кабинет. Он собирался сообщить мне нечто «чрезвычайно интересное». Я пошёл.

«У меня только что состоялся разговор с Каменевым, – без всяких предисловий начал Миронов. Он был бледен и выглядел возбуждённым. – Вызывая Каменева из внутренней тюрьмы, я составил в уме определённый план: как я познакомлю его с обвинениями, выдвигаемыми против него и что я ему вообще должен говорить. Но когда я услышал топот сапог охранника и шум в приёмной, я так разнервничался, что думал только об одном: как бы не выдать своего волнения.

Дверь открылась и вошёл Каменев в сопровождении охранника. Не глядя на него, я расписался на сопроводительной бумажке и отпустил охранника. Каменев стоял здесь, посредине кабинета и выглядел совсем старым и измождённым. Я указал ему на стул, он сел и вопросительно взглянул на меня. Честно сказать, я был смущен. Как-никак всё же это Каменев! Его речи я слушал когда-то с таким благоговением! Залы, где он выступал, дрожали от аплодисментов. Ленин сидел в президиуме и тоже аплодировал. Мне было так

странно, что этот сидящий тут заключённый – тот же самый Каменев, и я имел полную власть над ним…

– Ну что там опять? – внезапно спросил Каменев.

– Против вас, товарищ Каменев… гражданин Каменев, – поправился я, – имеются показания, сделанные рядом арестованных оппозиционеров. Они показывают, что начиная с 1932 года вы совместно с ними готовили террористические акты в отношении товарища Сталина и других членов Политбюро и что вы и Зиновьев подослали убийцу к Кирову.

– Это ложь, и вам известно, что это ложь! – резко возразил Каменев.

Я открыл папку и прочел ему некоторые из показаний Рейнгольда и ещё нескольких арестованных.

– Скажите мне, Миронов, вы, несомненно, учили историю партии и знаете отношение большевиков к индивидуальному террору. Вы действительно верите этой чепухе?

Я ответил, что в моём распоряжении имеются свидетельские показания и моё дело – выяснить, правду ли показывают свидетели.

– Прошу вас только об одном, – сказал Каменев. – Я требую, чтобы меня свели лицом к лицу с Рейнгольдом и со всеми теми, кто меня оклеветал.

Каменев объяснил, что с осени 1932 года он и Зиновьев почти всё время находились в тюрьме или ссылке, а в те недолгие промежутки, что они провели на свободе, за ними постоянно следили агенты НКВД. Секретное политическое управление НКВД даже поселило своего сотрудника в каменевской квартире – под видом телохранителя, и этот сотрудник рылся в его письменном столе и следил, кто его навещает.

– Я спрашиваю вас, – повторил Каменев, – как при таких условиях я мог готовить террористические акты?

Насчёт утверждений Рейнгольда, будто он несколько раз присутствовал в квартире Каменева на тайных совещаниях, Каменев предложил мне посмотреть дневник наружных наблюдений НКВД, куда, несомненно, заносились результаты надзора за его квартирой, и лично убедиться, что Рейнгольд никогда не переступал её порога».

– А вы что скажете на всё это? – спросил я Миронова, выслушав его рассказ.

– Что я могу сказать! – ответил Миронов, пожимая плечами. – Я прямо заявил ему, что мои функции как следователя в данном частном случае ограничены, потому что Политбюро полностью уверено в правдивости показаний, направленных против него. Каменев рассердился и заявил мне:

– Можете передать Ягоде, что я никогда больше не приму участия в судебном фарсе, какой он устроил надо мной и Зиновьевым в прошлом году. Передайте Ягоде, что на этот раз ему придется доказывать мою виновность и что ни в какие сделки с ним я больше не вступаю. Я потребую, чтобы на суд вызвали Медведя и других сотрудников ленинградского НКВД, и сам задам им вопросы насчёт убийства Кирова!

На этом первый разговор Миронова с Каменевым закончился.

– Я чувствую, что дело Каменева мне не по плечу, – сказал Миронов. – Лучше было поручить переговоры с Каменевым какому-нибудь видному члену ЦК, с которым он лично знаком и может разговаривать на равных. Представитель ЦК мог бы изложить это дело Каменеву таким образом: «Вы боролись с ЦК партии и проиграли. Теперь ЦК требует от вас, в интересах партии, дать такие-то показания. Если вы откажетесь, вас ждёт то-то и то-то». Но мне-то никто не позволит так с ним разговаривать. Мне приказано получить

признание Каменева чисто следовательским методом, главным образом на основании фальшивых показаний Рейнгольда. Чувствую, что зря я взялся за это дело…

Миронов уступил требованию Каменева и дал ему возможность встретиться с Рейнгольдом. Вспомним, что тот почти с самого начала следствия предоставил себя в распоряжение Ягоды. На очной ставке с Каменевым он держался вызывающе: да, он неоднократно бывал в его квартире, когда Каменев доказывал необходимость убить Сталина и его ближайших помощников и сотрудников.

– Зачем вы лжёте? – спросил Каменев.

– НКВД установит, кто лжёт: я или вы! – отвечал Рейнгольд.

– Вы утверждаете, что были в моей квартире несколько раз, – продолжал Каменев. – Не можете ли сказать точнее, когда это происходило?

Рейнгольд перечислил: в 1932, 1933 и 1934 годах.

– Раз вы бывали у меня так часто, вы наверняка сможете припомнить хоть некоторые особенности моей квартиры, – и Каменев задал Рейнгольду несколько вопросов, касающихся расположения квартиры и дома.

Но Рейнгольд не рискнул отвечать на эти вопросы. Он заявил Каменеву, что тот не следователь и не имеет права его допрашивать.

Тогда Каменев попросил Миронова задать Рейнгольду те же вопросы. Однако Миронов уклонился, не смея помочь Каменеву отмести ложные обвинения, придуманные Сталиным. Каменеву оставалось только просить Миронова, чтобы тот хотя бы отразил в протоколе очной ставки тот факт, что Рейнгольд отказался отвечать на вопросы, связанные с каменевской квартирой.

Очная ставка закончилась. Чтобы не выполнять просьбу Каменева, Миронов решил вовсе не составлять

протокола. Подследственный даже не спросил, почему очная ставка не протоколируется. Он прекрасно понимал, что так называемое следствие – всего лишь прелюдия к решающему этапу, когда Ягода окончательно сбросит маску законности и цинично потребует, чтобы Каменев сознался во всём, в чём его обвиняют. Миронов доложил Ягоде, что следствие по делу Каменева зашло в тупик, и предложил, чтобы кто-либо из членов ЦК вступил в переговоры с Каменевым от имени Политбюро. Ягода воспротивился этому. Ещё не время, заявил он: сначала надо «как следует вымотать Каменева и сломить его дух».

– Я пришлю к вам в помощь Чертока, – обещал Ягода. – Он ему живо рога обломает!..

Черток, молодой человек лет тридцати, представлял собой типичный продукт сталинского воспитания. Невежественный, самодовольный, бессовестный, он начал свою службу в «органах» в те годы, когда сталинисты уже одержали ряд побед над старыми партийцами и слепое повиновение диктатору сделалось главной доблестью члена партии. Благодаря близкому знакомству с семьёй Ягоды он достиг видного положения и был назначен заместителем начальника Оперативного управления НКВД, отвечавшего за охрану Кремля. Мне никогда не приходилось видеть таких наглых глаз, какие были у Чертока. На нижестоящих они глядели с невыразимым презрением. Среди следователей Черток слыл садистом; говорили, что он пользуется любой возможностью унизить заключённого. В именах Зиновьева и Каменева, Бухарина и Троцкого для Чертока не заключалось никакой магической силы. Каменева он считал важной персоной только потому, что его делом интересовался Сталин. Во всём остальном Каменев был для Чертока заурядным беззащитным заключённым, на

ком он был волен проявлять свою власть с обычной для него садистской изощрённостью.

Черток форменным образом мучил Каменева.

– Я весь содрогался, – рассказывал мне Миронов, – слыша, что происходит в соседнем кабинете, у Чертока. Он кричал на Каменева; «Да какой из вас большевик! Вы трус, сам Ленин это сказал! В дни Октября вы были штрейкбрехером! После революции метались от одной оппозиции к другой. Что полезного вы сделали для партии? Ничего! Когда настоящие большевики боролись в подполье, вы шлялись по заграничным кафе. Вы просто прихлебатель у партийной кассы, и больше никто!»

Как-то поздним вечером я зашёл к Миронову узнать, что слышно нового. Когда я вошёл в его слабо освещённый кабинет, Миронов сделал мне знак помолчать и указал на приоткрытую дверь, ведущую в соседнее помещение. Оттуда как раз донёсся голос Чертока.

– Вы должны быть нам благодарны, – кричал Черток, – что вас держат в тюрьме! Если мы вас выпустим, первый встречный комсомолец ухлопает вас на месте! После убийства Кирова на комсомольских собраниях то и дело спрашивают: почему Зиновьев и Каменев до сих пор не расстреляны? Вы живёте своим прошлым и воображаете, что вы для нас всё ещё иконы. Но спросите любого пионера, кто такие Зиновьев и Каменев – и он ответит: враги народа и убийцы Кирова!

Вот так, по мнению Ягоды, и следовало «изматывать» Каменева и «обламывать ему рога». Хотя Черток был подчинён Миронову, тот не решался обуздать пыл своего подчинённого. Это было бы слишком опасно. Черток был мастером инсинуаций и интриганом. Как один из заместителей начальника охраны Кремля, он часто сопровождал Сталина, и если б он сказал ему

хоть одно слово, что Миронов заступается за Каменева, песенка Миронова была бы спета.

Наглые разглагольствования Чертока, разумеется, не продвинули следствие ни на шаг.

2

Даже верхушка НКВД, знавшая коварство и безжалостность Сталина, была поражена той звериной ненавистью, какую он проявлял в отношении старых большевиков, особенно Каменева, Зиновьева и Смирнова. Его гнев не знал границ, когда он слышал, что тот или иной заключённый «держится твёрдо» и отказывается подписать требуемые показания. В такие минуты Сталин зеленел от злости и выкрикивал хриплым голосом, в котором прорезался неожиданно сильный грузинский акцент: «Скажите им, – это относилось к Зиновьеву и Каменеву, – что бы они ни делали, они не остановят ход истории. Единственное, что они могут сделать, – это умереть или спасти свою шкуру. Поработайте над ними, пока они не приползут к вам на брюхе с признаниями в зубах!»

На одном из кремлёвских совещаний Миронов в присутствии Ягоды, Гая и Слуцкого докладывал Сталину о ходе следствия по делу Рейнгольда, Пикеля и Каменева. Миронов доложил, что Каменев оказывает упорное сопротивление; мало надежды, что удастся его сломить.

– Так вы думаете, Каменев не сознается? – спросил Сталин, хитро прищурившись.

– Не знаю, – ответил Миронов. – Он не поддаётся уговорам.

– Не знаете? – спросил Сталин с подчёркнутым удивлением, пристально глядя на Миронова. – А вы знаете, сколько весит наше государство, со всеми его

заводами, машинами, армией, со всем вооружением и флотом?

Миронов и все присутствующие с удивлением смотрели на Сталина, не понимая, куда он клонит.

– Подумайте и ответьте мне, – настаивал Сталин.

Миронов улыбнулся, полагая, что Сталин готовит какую-то шутку. Но Сталин, похоже, шутить не собирался. Он смотрел на Миронова вполне серьёзно.

– Я вас спрашиваю, сколько всё это весит, – настаивал он.

Миронов смешался. Он ждал, по-прежнему надеясь, что Сталин сейчас обратит всё в шутку, но Сталин продолжал смотреть на него в упор, ожидая ответа. Миронов пожал плечами и, подобно школьнику на экзамене, сказал неуверенно:

– Никто не может этого знать, Иосиф Виссарионович. Это из области астрономических величин.

– Ну а может один человек противостоять давлению такого астрономического веса? – строго спросил Сталин.

– Нет, – ответил Миронов.

– Ну так и не говорите мне больше, что Каменев или кто-то другой из арестованных способен выдержать это давление. Не являйтесь ко мне с докладом, – заключил Сталин, – пока у вас в портфеле не будет признания Каменева!

После этого Слуцкий доложил, как продвигается дело со Смирновым. Слуцкий тоже получил соответствующее внушение. Сталин в этот день был определённо не в духе.

Когда совещание уже близилось к концу, Сталин сделал знак Миронову подойти поближе.

– Скажите ему (Каменеву), что если он откажется явиться на суд, мы, найдём ему подходящую замену – его собственного сына, который признается суду, что

по заданию своего папаши готовил террористический акт против, руководителей партии… Скажите ему: мы имеем сообщение, что его сын вместе с Рейнгольдом выслеживал автомобили Ворошилова и Сталина на Можайском шоссе. Это сразу на него подействует…

3

Когда Каменев уже был в тисках инквизиции, Зиновьев лежал больным в своей одиночной камере. Допросы Зиновьева были отложены до его выздоровления. Желая наверстать упущенное, Ежов решил не пропускать Зиновьева через ту обработку, которой подвергался Каменев, а открыто потребовать от него, именем Политбюро, необходимых для дела «признаний».

При разговоре Ежова с Зиновьевым присутствовали Агранов, Молчанов и Миронов. Ежов попросил Миронова вести подробный протокол.

Поздней ночью Зиновьева ввели в кабинет Агранова, где должен был состояться разговор. Он выглядел совершенно больным и едва держался на ногах. Беседуя с ним, Ежов то и дело заглядывал в блокнот, где у него были записаны указания, полученные от Сталина. Разговор занял более двух часов.

На следующий день Ежов прочитал протокол и внёс в него несколько поправок. Затем он приказал Миронову сделать только одну машинописную копию и принести ему вместе с первоначальной записью: протокол требовалось доставить Сталину. Миронов позволил себе ослушаться Ежова и заказал ещё одну копию для Ягоды. Тот очень болезненно воспринимал вмешательство Ежова в дела НКВД и следил за каждым его шагом, надеясь его на чём-нибудь подловить и,

дискредитировав в глазах Сталина, избавиться от его опеки.

С самого начала Ежов заявил Зиновьеву, что советская контрразведка перехватила какие-то документы германского генштаба, которые показывают, что Германия и Япония ближайшей весной готовят военное нападение на Советский Союз. В этой обстановке партия не может больше допускать ведения антисоветской пропаганды, которой занимается за границей Троцкий. Больше чем когда бы то ни было наша страна нуждается в мобилизации международного пролетариата на защиту «отечества трудящихся». От имени Политбюро Ежов объявил Зиновьеву, что он должен помочь партии «нанести по Троцкому и его банде сокрушительный удар, чтобы отогнать рабочих за границей от его контрреволюционной организации на пушечный выстрел».

– Что вам от меня требуется? – осторожно спросил Зиновьев.

Ежов, не давая прямого ответа, заглянул в свою шпаргалку и начал перечислять зиновьевские грехи по отношению к руководству партии и упрекать его и Каменева в том, что они до сего времени полностью не разоружились.

– Политбюро, – продолжал Ежов, – в последний раз требует от вас разоружиться до такой степени, чтобы для вас была исключена малейшая возможность когда-нибудь снова подняться против партии.

В конце концов Ежов сказал Зиновьеву, в чём суть этого требования, исходящего от Политбюро: он, Зиновьев, должен подтвердить на открытом судебном процессе показания других бывших оппозиционеров, что по уговору с Троцким он готовил убийство Сталина и других членов Политбюро.

Зиновьев с негодованием отверг такое требование. Тогда Ежов передал ему слова Сталина: «Если Зиновьев добровольно согласится предстать перед открытым судом и во всём сознается, ему будет сохранена жизнь. Если же он откажется, его будет, судить военный трибунал – за закрытыми дверьми. В этом случае он и все участники оппозиции будут ликвидированы».

– Я вижу, – сказал Зиновьев, – настало время, когда Сталину понадобилась моя голова. Ладно, берите её!

– Не рискуйте своей головой понапрасну, – заметил Ежов. – Вы должны понять обстановку: хотите вы или нет, партия доведёт до сведения трудящихся масс в СССР и во всём мире показания остальных обвиняемых, что они готовили террористические акты против Сталина и других вождей по указаниям, исходившим от Троцкого и от вас.

– Я вижу, что вы всё предусмотрели и не нуждаетесь в том, чтобы я клеветал на самого себя, – сказал Зиновьев. – Почему же тогда вы так настойчиво меня уговариваете? Не потому ли, что для большего успеха вашего суда важно, чтобы Зиновьев сам заклеймил себя как преступник? Как раз этого-то я никогда и не сделаю!

Ежов возразил ему:

– Вы ошибаетесь, если думаете, что мы не сможем обойтись без вашего признания. Если на то пошло, кто может помешать нам вставить всё, что требуется, в стенограмму судебного процесса и объявить в печати, что Григорий Евсеевич Зиновьев, разоблачённый на суде всеми прочими обвиняемыми, полностью сознался в своих преступлениях?

– Значит, выдадите фальшивку за судебный протокол? – негодующе воскликнул Зиновьев.

Ежов посоветовал Зиновьеву не горячиться и всё спокойно обдумать.

– Если вам безразлична ваша собственная судьба, – продолжал он, – вы не можете оставаться равнодушным к судьбе тысяч оппозиционеров, которых вы завели в болото. Жизнь этих людей, как и ваша собственная, – в ваших руках.

– Вы уже не впервые накидываете мне петлю на шею, – сказал Зиновьев. – А теперь вы её ещё и затянули. Вы взяли курс на ликвидацию ленинской гвардии и вообще всех, кто боролся за революцию. За это вы ответите перед историей!

Он остановился, чтобы перевести дыхание, и слабым голосом добавил:

– Скажите Сталину, что я отказываюсь…

Чтобы нажать на Зиновьева и показать ему, что у НКВД есть против него достаточно показаний, Ежов распорядился устроить Зиновьеву очную ставку с несколькими обвиняемыми, давшими эти показания.

Первая из этих встреч, в которой участвовал бывший секретарь Зиновьева Пикель, кончилась полным провалом. Пикель потерял самообладание и никак не мог осмелиться в присутствии Зиновьева повторить те ложные обвинения, которые незадолго до того согласился подписать. Чтобы помочь ему, следователь вслух прочел письменные показания Пикеля и спросил, подтверждает ли он их. Но Пикель не смог выдавить из себя ни слова, он только кивал головой. Зиновьев, взывая к его совести, умолял его говорить только правду.

Опасаясь, что Пикель вообще откажется от своих показаний, следователь поспешил прервать очную ставку. После этого эпизода Ягода распорядился не устраивать впредь никаких свиданий Зиновьева или Каменева с другими арестованными. Ягода опасался, что Зиновьев и Каменев могут «испортить» этих людей, уже уступивших давлению НКВД.

Обжёгшись на Зиновьеве, Ежов попытался воздействовать на Каменева. Его разговор с Каменевым мало отличался от беседы с Зиновьевым. Правда, на этот раз Ежов попытался сыграть на привязанности Каменева к сыновьям, используя на все лады сталинскую угрозу: в случае необходимости «органы» не преминут заменить Каменева на процессе его сыном. Каменеву дали прочесть свежее показание Рейнгольда: тот признавался, что вместе с сыном Каменева выслеживал автомобили Сталина и Ворошилова возле Одинцово, на Можайском шоссе.

Каменев был как громом поражён. Он поднялся со стула и крикнул в лицо Ежову, что тот – карьерист, пролезший в партию, могильщик революции… Задыхаясь от волнения, обессиленный, он рухнул на стул. Ежов тут же, со злобной гримасой на лице, вышел из кабинета, оставив Каменева наедине с Мироновым.

Каменев прижал руки к груди. Он с трудом переводил дыхание, но на предложение Миронова вызвать врача ответил отказом. «Вот, – сказал он, отдышавшись, – вы наблюдаете сейчас термидор в чистом виде. Французская революция преподала нам хороший урок, но мы не сумели воспользоваться им. Мы не знали, как уберечь нашу революцию от термидора. Именно в этом – наша главная ошибка, за которую история нас осудит».

Организаторы процесса, которым удалось припереть Зиновьева и Каменева к стене, сделали всё необходимое, чтобы не дать им покончить жизнь самоубийством. В одиночные камеры, где они содержались, под видом арестованных оппозиционеров были подсажены агенты НКВД, неусыпно следившие за обоими и информировавшие руководителей следствия об их настроении и о каждом произнесённом ими слове.

Чтобы их сильнее вымотать, Ягода распорядился включать в их камерах центральное отопление, хотя стояло лето и в камерах без того было нечем дышать. Время от времени подсаженные агенты вызывались якобы на допрос, а в действительности для того, чтобы доложить начальству результаты своих наблюдений, отдохнуть от невыносимой жары и подкрепиться. Едва переступив порог следовательского кабинета, они спешили сбросить мокрые от пота рубахи и набрасывались на приготовленные для них прохладительные напитки.

Один из этих агентов, человек малообразованный и простоватый на вид, позже охотно рассказывал, как он играл роль заключённого – сначала в камере Каменева, а затем – Зиновьева.

– Чего они хотят от меня, – жаловался он, едва за ним захлопывалась дверь камеры. – Следователи говорят мне, что я троцкист, но я никогда не был в оппозиции! Я неграмотный рабочий и ничего не понимаю в политике. У меня остались дома жена и дети. Что со мной сделают? Что со мной будет?

Зиновьев ничего не отвечал, продолжал рассказывать агент, и вообще за всё время не сказал ни слова. Только однажды я случайно заметил, как он по-волчьи, исподтишка косится на меня. А Каменев вёл себя иначе. Он мне сочувствовал, говорил, что НКВД не интересуется такими, как я, что меня продержат недолго и скоро выпустят. Каменев вообще человек компанейский. Он расспрашивал о моих детях, делился со мной сахаром и, когда я отказывался, он настаивал, чтобы я его всё же взял.

Зиновьев страдал астмой и мучился от жары. Вскоре его страдания усугубились: его начали изводить приступы колик в печени. Он катался по полу и умолял, чтобы пришёл Кушнер – врач, который мог бы сделать

инъекцию и перевести его в тюремную больницу. Но Кушнер неизменно отвечал, что не имеет права сделать ни то, ни другое без специального разрешения Ягоды. Его функции ограничивались тем, что он выписывал Зиновьеву какое-то лекарство, от которого тому становилось ещё хуже. Было сделано всё, чтобы полностью измотать Зиновьева и довести его до такого состояния, когда бы он был готов на всё. Конечно, при этом Кушнер был обязан следить, чтобы Зиновьев, чего доброго, не умер.

Даже смерть не должна была избавить Зиновьева от той, ещё более горькой судьбы, какую уготовил ему Сталин.

Тем временем Миронов продолжал допрашивать Каменева. Он вслух, в его присутствии, анализировал положение дел и пытался убедить его, что у него нет иного выбора, кроме как принять условия Сталина и тем самым спасти себя и свою семью. Я совершенно уверен, что Миронов был искренен: подобно большинству руководителей НКВД, он поверил, что Сталин не посмеет расстрелять таких людей, как Зиновьев и Каменев, и был убеждён, что ему необходимо только публично опозорить бывших лидеров оппозиции.

Однажды вечером, когда у Миронова в кабинете был Каменев, туда зашёл Ежов. Он ещё раз завёл мучительно длинный разговор с Каменевым, стараясь внушить ему, что как бы он ни сопротивлялся, отвертеться от суда ему не удастся и что только подчинение воле Политбюро может спасти его самого и его сына. Каменев молчал. Тогда Ежов снял телефонную трубку и в его присутствии приказал Молчанову доставить во внутреннюю тюрьму сына Каменева и готовить его к суду вместе с другими обвиняемыми по делу «троцкистско-зиновьевского террористического центра».

4

Всё это время Ягода внимательно следил за состоянием Зиновьева и Каменева, но не спускал также глаз с Ежова. Как я уже упоминал, Ягоду уязвило до глубины души то, что Сталин поручил Ежову контролировать подготовку судебного процесса. Он тщательно проанализировал протокол разговора Ежова с Зиновьевым и понял, что Ежов задумал обработать Зиновьева по всем правилам инквизиторского искусства, так что рано или поздно Зиновьев и Каменев придут к выводу о бесполезности сопротивления. Ягода не мог допустить, чтобы слава победителя досталась Ежову. В глазах Сталина он, Ягода, должен был оставаться незаменимым наркомом внутренних дел. Для этого ему лично надлежало принудить Зиновьева и Каменева к капитуляции и обеспечить успешную постановку самого грандиозного в истории судебного процесса.

По существу на карту была поставлена вся карьера Ягоды. Он знал, что члены Политбюро ненавидят и боятся его. Это под их влиянием в 1931 году Сталин направил в «органы» члена ЦК Акулова, который должен был стать во главе ОГПУ. Правда, Ягоде вскоре удалось добиться дискредитации Акулова и убедить Сталина убрать его из «органов». Но Ежов-то был действительно сталинским фаворитом и поэтому представлял несравненно большую опасность.

Тщательно следя за подготовкой судебного процесса, Ягода приказал своим помощникам немедленно поставить его в известность, как только будут замечены хоть малейшие признаки колебаний Зиновьева и Каменева.

Такой момент наступил в июле 1936 года. Как-то после чрезвычайно бурного объяснения с Ежовым и Молчановым, растянувшегося на целую ночь, Зиновь-

ев, уже вернувшись в камеру, попросил вызвать начальника тюрьмы и сказал тому, что просит доставить его к Молчанову снова. Там он стал настаивать, чтобы ему разрешили поговорить с Каменевым наедине. С такой просьбой он обращался к следствию впервые. По тону Зиновьева и по некоторым другим признакам в его поведении Молчанов сообразил, что Зиновьев намерен капитулировать и хочет обсудить своё решение с Каменевым.

Дали знать Ягоде, который тут же распорядился привести Зиновьева в свой кабинет. Он сказал Зиновьеву, что его просьба предоставить свидание с Каменевым будет удовлетворена. На этот раз Ягода был слащав до приторности. Он обращался к заключённому, как в прежние времена, по имени-отчеству – Григорий Евсеевич – и выразил надежду, что, обсудив положение, оба обвиняемых придут к единственно разумному выводу: нельзя не подчиниться воле Политбюро. Пока Ягода беседовал с Зиновьевым, помощник начальника Оперативного управления НКВД занимался установкой микрофона в камере, где должна была состояться встреча Зиновьева и Каменева.

Их разговор занял около часа. Руководство НКВД не было заинтересовано в ограничении времени их встречи. Располагая микрофоном, оно полагало, что, чем дольше они будут, беседовать, тем больше удастся разузнать об их действительных намерениях.

Зиновьев высказал мнение, что необходимо явиться на суд, но при условии, что Сталин лично подтвердит обещания, которые от его имени давал Ежов. Несмотря на некоторые колебания и возражения, Каменев в конце концов согласился с ним, выдвинув условие для переговоров: Сталин должен подтвердить свои обещания в присутствии всех членов Политбюро.

После такого разговора «наедине» Зиновьев и Каменев были доставлены в кабинет Ягоды. Каменев объявил, что они согласны дать на суде показания, но при условии, что Сталин подтвердит им свои обещания в присутствии Политбюро в полном составе.

Сталин воспринял известие о капитуляции Зиновьева и Каменева с нескрываемой радостью. Пока Ягода, Молчанов и Миронов подробно докладывали ему, как это произошло, он, не скрывая удовлетворения, самодовольно поглаживал усы. Выслушав доклад, он встал со стула и, возбуждённо потирая руки, выразил своё одобрение: «Браво, друзья! Хорошо сработано!»

На следующий день, поздно вечером, проходя мимо здания НКВД, я натолкнулся на Миронова, стоявшего возле подъезда № 1, предназначенного для Ягоды и его ближайших помощников. «Я тут жду Ягоду, – сказал Миронов. – Он сейчас в Кремле, но должен появиться с минуты на минуту. Мы с Молчановым только что оттуда, возили к Сталину Зиновьева и Каменева. Ох, что там было! Загляни ко мне через часок».

Когда я вошёл к нему в кабинет, он ликующе объявил: «Никакого расстрела не будет! Сегодня это окончательно выяснилось!» Поскольку Миронов рассказал мне об очень важных вещах, я постараюсь передать всё, что услышал от него, как можно более точно.

«Сегодня, отбыв в Кремль, – рассказывал Миронов, – Ягода велел, чтобы Молчанов и я не отлучались из своих кабинетов и были готовы доставить в Кремль Зиновьева и Каменева для разговора со Сталиным. Как только Ягода позвонил оттуда, мы забрали их и поехали.

Ягода встретил нас в приёмной и проводил в кабинет Сталина. Из членов Политбюро, кроме Сталина, там был только Ворошилов. Он сидел справа от Сталина. Слева сидел Ежов. Зиновьев и Каменев вошли

молча и остановились посередине кабинета. Они ни с кем не поздоровались. Сталин показал рукой на ряд стульев. Мы все сели – я рядом с Каменевым, а Молчанов – с Зиновьевым.

– Ну, что скажете? – спросил Сталин, внезапно посмотрев на Зиновьева и Каменева. Те обменялись взглядами.

– Нам сказали, что наше дело будет рассматриваться на заседании Политбюро, – сказал Каменев.

– Перед вами как раз комиссия Политбюро, уполномоченная выслушать всё, что вы скажете, – ответил Сталин. Каменев пожал плечами и окинул Зиновьева вопросительным взглядом. Зиновьев встал и заговорил.

Он начал с того, что за последние несколько лет ему и Каменеву давалось немало обещаний, из которых ни одно не выполнено, и спрашивал, как же после всего этого они могут полагаться на новые обещания. Ведь, когда после смерти Кирова их заставили признать, что они несут моральную ответственность за это убийство, Ягода передал им личное обещание Сталина, что это – последняя их жертва. Тем не менее, теперь против них готовится позорнейшее судилище, которое покроет грязью не только их, но и всю партию.

Зиновьев взывал к благоразумию Сталина, заклиная его отменить судебный процесс и доказывая, что он бросит на Советский Союз пятно небывалого позора. „Подумайте только, – умолял Зиновьев со слезами в голосе, – вы хотите изобразить членов ленинского Политбюро и личных друзей Ленина беспринципными бандитами, а нашу большевистскую партию, партию пролетарской революции, представить змеиным гнездом интриг, предательства и убийств… Если бы Владимир Ильич был жив, если б он видел всё это!“ – воскликнул Зиновьев и разразился рыданиями.

Ему налили воды. Сталин выждал, пока Зиновьев успокоится, и негромко сказал: „Теперь поздно плакать. О чём вы думали, когда вступали на путь борьбы с ЦК? ЦК не раз предупреждал вас, что ваша фракционная борьба кончится плачевно. Вы не послушали, – а она действительно кончилась плачевно. Даже теперь вам говорят: подчинитесь воле партии – и вам и всем тем, кого вы завели в болото, будет сохранена жизнь. Но вы опять не хотите слушать. Так что вам останется благодарить только самих себя, если дело закончится ещё более плачевно, так скверно, что хуже не бывает“.

– А где гарантия, что вы нас не расстреляете? – наивно спросил Каменев.

– Гарантия? – переспросил Сталин. – Какая, собственно, тут может быть гарантия? Это просто смешно! Может быть, вы хотите официального соглашения, заверенного Лигой Наций? – Сталин иронически усмехнулся. – Зиновьев и Каменев, очевидно, забывают, что они не на базаре, где идёт торг насчёт украденной лошади, а на Политбюро коммунистической партии большевиков. Если заверения, данные Политбюро, для них недостаточны, – тогда, товарищи, я не знаю, есть ли смысл продолжать с ними разговор.

– Каменев и Зиновьев ведут себя так, – вмешался Ворошилов, – словно они имеют право диктовать Политбюро свои условия. Это возмутительно! Если у них осталась хоть капля здравого смысла, они должны стать на колени перед товарищем Сталиным за то, что он сохраняет им жизнь. Если они не желают спасать свою шкуру, пусть подыхают. Чёрт с ними!

Сталин поднялся со стула и, заложив руки за спину, начал прохаживаться по кабинету.

– Было время, – заговорил он, – когда Каменев и Зиновьев отличались ясностью мышления и способностью подходить к вопросам диалектически. Сейчас они

рассуждают, как обыватели. Да, товарищи, как самые отсталые обыватели. Они себе внушили, что мы организуем судебный процесс специально для того, чтобы их расстрелять. Это просто неумно! Как будто мы не можем расстрелять их без всякого суда, если сочтём нужным. Они забывают три вещи:

первое – судебный процесс направлен не против них, а против Троцкого, заклятого врага нашей партии;

второе – если мы их не расстреляли, когда они активно боролись против ЦК, то почему мы должны расстрелять их после того, как они помогут ЦК в его борьбе против Троцкого?

третье – товарищи также забывают (Миронов особо подчеркнул то обстоятельство, что Сталин назвал Зиновьева и Каменева товарищами), что мы, большевики, являемся учениками и последователями Ленина и что мы не хотим проливать кровь старых партийцев, какие бы тяжкие грехи по отношению к партии за ними ни числились.»

Последние слова, добавил Миронов, были произнесены Сталиным с глубоким чувством и прозвучали искренне и убедительно.

«Зиновьев и Каменев, – продолжал Миронов свой рассказ, – обменялись многозначительными взглядами. Затем Каменев встал и от имени их обоих заявил, что они согласны предстать перед судом, если им обещают, что никого из старых большевиков не ждёт расстрел, что их семьи не будут подвергаться преследованиям и что впредь за прошлое участие в оппозиции не будут выноситься смертные приговоры. – Это само собой понятно, – отозвался Сталин.»

Физические страдания Зиновьева и Каменева закончились. Их немедленно перевели в большие и прохладные камеры, дали возможность пользоваться душем, выдали чистое бельё, разрешили книги (но,

однако же, не газеты). Врач, выделенный специально для Зиновьева, всерьёз принялся за его лечение. Ягода распорядился перевести обоих на полноценную диету и вообще сделать всё возможное, чтобы они на суде выглядели не слишком изнурёнными. Тюремные охранники получили указание обращаться с обоими вежливо и предупредительно. Суровая тюрьма обернулась для Зиновьева и Каменева чем-то вроде санатория.

После того как они побывали в Кремле, Ежов потребовал, чтобы они собственноручно написали конспиративные указания своим приспешникам, пометив их задним числом: прокурору на суде понадобятся вещественные доказательства существования заговора. Но Зиновьев и Каменев категорически отказались изготавливать эти вещественные доказательства, в которых так нуждались сталинские фальсификаторы. Они заявили, что ограничатся исполнением тех обязательств, какие приняли на себя в Кремле.

Между тем не только обвиняемые, но и Ягода и его помощники с облегчением восприняли слова Сталина, из которых можно было понять, что никто из старых большевиков не будет расстрелян. В начале подготовки процесса руководство НКВД не могло себе представить, что Сталин способен физически уничтожить ближайших соратников Ленина. Все думали, что его единственная цель – разбить их в политическом смысле и принудить к ложным показаниям, направленным против Троцкого. Однако по мере того как шло следствие, появились серьёзные сомнения насчёт истинных намерений Сталина.

Когда руководители НКВД видели, с какой злобой Сталин воспринимает доклады о том, что те или иные старые партийцы отказываются капитулировать, с какой нескрываемой ненавистью он говорит о Зиновьеве, Каменеве и Смирнове, – напрашивался вывод, что про

себя Сталин уже решил уничтожить старую ленинскую гвардию. Хотя верхушка НКВД связала свою судьбу со Сталиным и его политикой, имена Зиновьева, Каменева, Смирнова и в особенности Троцкого по-прежнему обладали для них магической силой. Одно дело было угрожать старым большевикам по приказу Сталина смертной казнью, зная, что это всего лишь угроза, и не более; но совсем другое дело – реально опасаться того, что Сталин, движимый неутолимой жаждой мести, действительно убьёт бывших партийных вождей.

Обещание Сталина сохранить им жизнь положило этим опасениям конец.

Тер-Ваганян: я больше не хочу быть членом партии…

Мы познакомились с разными категориями сталинских следователей: с садистами вроде Чертока, с беспринципными карьеристами типа Молчанова и Слуцкого, с людьми, страдавшими от болезненной раздвоенности, вроде Миронова и Бермана, которые во имя партии заглушили в себе голос совести, но всё же скрепя сердце выполняли преступные распоряжения Сталина.

Следователи НКВД имели немалую власть над арестованными. Но в таких делах, в которых был заинтересован лично генсек, их власть оказывалась сильно урезанной: они лишались права хоть в малейшей мере сомневаться в вине подследственных.

Даже те следователи, кто испытывал сочувствие к ближайшим сподвижникам Ленина, не имели возможности хоть чем-нибудь им помочь. Всё, что было связано с предстоящим судом, решалось помимо следственных органов и лишь потом должно было подтверждаться «признаниями» подследственных. Жертвы предстоящего суда отбирал Сталин; обвинения придумывались тоже им; он же диктовал условия, которые ставились подследственным; и, наконец, приговор суда предопределялся тоже Сталиным.

Ярким примером искренней симпатии следователя к своему подследственному могли служить отношения, сложившиеся у заместителя начальника Иностранного управления НКВД Бермана с обвиняемым Тер-Ваганяном.

Тер-Ваганян был моим старинным другом. Я познакомился с ним ещё весной 1917 года в Московском юнкерском училище, куда мы, лишённые права стать армейскими офицерами при царском режиме, были

приняты после Февральской революции. Тер-Ваганян, уже тогда имевший солидный стаж пребывания в большевистской партии, распространял среди юнкеров коммунистические идеи. Впрочем, главное внимание он уделял пропагандистской работе на московских заводах и среди солдат московского гарнизона, из которых он надеялся создать со временем боевые отряды для будущего восстания. Тер-Ваганян не был выдающимся оратором, но он покорял рабочую и солдатскую аудиторию фанатичной верой в успех своего партийного дела и искренностью. Перед его личным обаянием трудно было устоять. Его смуглое красивое лицо дышало добротой и искренностью, приятный низкий голос звучал убеждённо и задушевно.

Когда подошло время выпуска из училища, Тер-Ваганян постарался провалиться на выпускных экзаменах. Дело в том, что провалившихся направляли в качестве вольноопределяющихся в 55-й и 56-й полки, квартировавшие в Петровских бараках, в центре Москвы. Тер-Ваганян был послан в один из этих полков и в течение двух месяцев сумел сделать их сплошь большевистскими. После Октября он повёл их на штурм Кремля, где засели юнкера, оставшиеся верными Временному правительству.

Когда большевики захватили власть, Тер-Ваганян был назначен заведующим военным отделом Московского комитета партии. В дальнейшем он принимал активное участие в гражданской войне. Когда революция докатилась до Закавказья, Тер-Ваганян стал вожаком армянских коммунистов и под его руководством в Армении была установлена советская власть.

Меньше всего Тер-Ваганяна интересовала его собственная карьера. Он был несравненно больше увлечён идеологическими вопросами большевизма и марксистской философией. Когда советский режим в Закавказье

окончательно утвердился, Тер-Ваганян с головой ушёл в науку и написал несколько книг по проблемам марксизма. Он основал главный теоретический журнал большевистской партии – «Под знаменем марксизма» – и сделался его первым редактором. Когда появилась левая оппозиция, Тер-Ваганян примкнул к Троцкому. За это он был в дальнейшем исключён из партии, а в 1933 году отправлен в сибирскую ссылку.

Когда Сталин начал готовить первый из московских процессов, в его памяти всплыло имя Тер-Ваганяна, и он решил использовать его в качестве одного из троих представителей Троцкого в призрачном «троцкистско-зиновьевском террористическом центре». Тер-Ваганян был доставлен в Москву, и его обработка поручена Берману.

Услышав об этом, я заговорил с Берманом о Тер-Ваганяне и попросил его не обращаться с моим другом слишком жёстко.

Он очень понравился Берману. Больше всего его поражала исключительная порядочность Тер-Ваганяна. Чем больше Берман узнавал его, тем большим уважением и симпатией к нему проникался. Постепенно, в необычной атмосфере официального расследования «преступлений» Тер-Ваганяна, крепла дружба следователя сталинской инквизиции и его жертвы.

Разумеется, при всей своей симпатии к Тер-Ваганяну, Берман не мог быть откровенен с ним. Внешне он соблюдал декорум и старался вести допрос, используя партийную фразеологию сталинского толка. Вместе с тем он не пытался внушить Тер-Ваганяну сознание вины и не применял к нему те инквизиторские приёмы, которые должны были вызвать у него ощущение обречённости.

Не вдаваясь в детали, в чём «органы» усматривают вину Тер-Ваганяна, Берман объяснил ему, что Полит-

бюро считает необходимым подкрепить его признанием те показания, которые уже получены от других арестованных и направлены против Зиновьева, Каменева и Троцкого, поскольку он, Тер-Ваганян, тоже признан участником заговора. При этом Берман предоставлял ему самому, исходя из этих предпосылок, избрать свою линию поведения на следствии и на суде.

Вот некоторые из его бесед с Тер-Ваганяном, в которые он меня в своё время посвятил.

Отказываясь давать показания, Тер-Ваганян говорил Берману: «Я был бы искренне рад выполнить желание ЦК, но таких ложных признаний подписать не смогу. Поверьте, гибели я не страшусь. Я неоднократно рисковал жизнью и в дни Октябрьской революции на баррикадах, и в гражданскую войну. Кто из нас думал тогда о спасении собственной жизни! Но, подписывая показания, которые вы требуете, я должен быть, по крайней мере, убеждён, что они действительно отвечают интересам партии и революции. Я же всей душой чувствую: такие показания только опозорят нашу революцию и дискредитируют в глазах всего мира самую сущность большевизма». Берман возразил, что ЦК лучше знать, в чём действительно нуждаются в настоящее время партия и революция. ЦК лучше осведомлён, чем Тер-Ваганян, оторванный от политической деятельности в течение длительного времени. Кроме того, каждый большевик должен доверять решениям высшего органа партии.

– Дражайший Берман, – возражал Тер-Ваганян, – вы утверждаете, что я не должен раздумывать, а обязан слепо подчиниться ЦК. Но уж так я устроен, что не могу перестать мыслить. И вот я прихожу к выводу, что утверждение, будто старые большевики превратились в банду убийц, нанесёт неисчислимый вред не только нашей стране и партии, но и делу социализма во всём

мире. Могу поклясться: я не понимаю чудовищного плана Политбюро и удивляюсь, как он укладывается у вас в голове. Может быть, я сошел с ума. Но в таком случае, какой смысл требовать показаний от больного, ненормального человека? Не лучше ли посадить его в сумасшедший дом?

– Ну и что вы ему ответили на это? – спросил я Бермана.

– Я сказал ему, – с иронической усмешкой ответил он, – что его доводы свидетельствуют лишь об одном: значит, корни оппозиции так глубоко проникли в его сознание, что он полностью потерял представление о партийной дисциплине.

Тер-Ваганян возразил ему на это, что ещё Ленин говорил: из четырёх заповедей партийца самая главная – согласие с программой партии. «Если теперь, – заключил подследственный, – новая программа ЦК считает необходимым дискредитировать большевизм и его основателей, то я не согласен с такой программой и не могу больше считать себя связанным партийной дисциплиной. А кроме того, я ведь уже исключён из партии и поэтому вообще не считаю себя обязанным подчиняться партийной дисциплине».

Однажды вечером Берман зашёл ко мне в кабинет и предложил пойти в клуб НКВД, где Иностранное управление устраивает бал-маскарад. С тех пор как Сталин объявил: «Жить стало лучше, товарищи! Жить стало веселее!» – советская правящая элита отказалась от практики тайных вечеринок с выпивкой, танцами и игрой в карты, а начала устраивать подобные развлечения открыто, без всякого стеснения. Руководство НКВД восприняло указание вождя насчёт «сладкой жизни» с особым энтузиазмом. Роскошное помещение клуба НКВД превратилось в некое подобие офицерского клуба какого-либо из дореволюционных привилегиро-

ванных гвардейских полков. Начальники управлений НКВД стремились превзойти друг друга в устройстве пышных балов. Первые два таких бала, устроенные Особым отделом и Управлением погранвойск, прошли с большим успехом и вызвали сенсацию среди сотрудников НКВД. Советские дамы из новой аристократии устремились к портнихам заказывать вечерние туалеты. Теперь они с нетерпением ожидали каждого следующего бала.

Начальник Иностранного управления Слуцкий решил продемонстрировать «неотёсанным москвичам» настоящий бал-маскарад по западному образцу. Он задался целью перещеголять самые дорогие ночные клубы европейских столиц, где сам он во время своих поездок за границу оставил уйму долларов.

Когда мы с Берманом вошли, представшее нам зрелище, действительно, оказалось необычным для Москвы. Роскошный зал клуба был погружён в полумрак. Большой вращающийся шар, подвешенный к потолку и состоявший из множества зеркальных призм, разбрасывал по залу массу зайчиков, создавая иллюзию падающего снега. Мужчины в мундирах и смокингах и дамы в длинных вечерних платьях или опереточных костюмах кружились в танце под звуки джаза. На многих женщинах были маски и чрезвычайно живописные костюмы, взятые Слуцким напрокат из гардеробной Большого театра. Столы ломились от шампанского, ликёров и водки. Громкие возгласы и неистовый хохот порой заглушали звуки музыки. Какой-то полковник погранвойск кричал в пьяном экстазе: «Вот это жизнь, ребята! Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Заметив нас с Берманом, устроитель бала воскликнул: «Пусть они выскажутся! Это два европейца. Скажите откровенно, – продолжал он, обращаясь к

нам, – видели вы что-нибудь подобное в Париже или в Берлине? Я переплюнул все их Монмартры и Курфюрстендамы!»

Нам пришлось подтвердить, что бал, устроенный Иностранным управлением, превосходит всё, что нам доводилось видеть в Европе. Слуцкий просиял и принялся наливать нам шампанское. Миронов, сидевший за тем же столом, воскликнул: «Что и говорить, ты был бы неплохим содержателем какого-нибудь первоочередного парижского борделя!»

В самом деле, это амплуа подошло бы Слуцкому гораздо больше, чем должность начальника советской разведки, не говоря уж о должности секретаря парткома НКВД, которую он занимал по совместительству последние три года.

В зале стояла страшная духота, и мы быстро покинули этот бал. Прямо напротив клуба возвышалось огромное мрачное здание НКВД, облицованное снизу чёрным гранитом. За этой гранитной облицовкой томились в одиночных камерах ближайшие друзья и соратники Ленина, превращённые теперь в сталинских заложников.

Мы с Берманом долго бродили по тёмным московским улицам. Я подумал о Тер-Ваганяне, и как бы в ответ на мои мысли Берман вдруг сказал: «У меня из головы не выходит Тер-Ваганян. Что за человек, какой светлый ум! Жаль, что он связался с оппозицией и попал в эти жернова. Ему и вправду жизнь не дорога. Его действительно занимает только судьба революции и вопрос, имеет ли он как большевик моральное право подписать показания, которые от него требуются, – Берман вздохнул. – Из тех, кого мы сейчас встретили в клубе, никто не сделал для революции и одного процента того, что сделал Тер-Ваганян. Я часто жалею, что взялся за его дело. А с другой стороны – хорошо, что

он не достался такой сволочи, как Черток». С минуту помолчав, Берман уже не таким унылым тоном произнёс: «Если б ты только слышал, как он обращается ко мне: дра-а-ажайший Бе-е-ерман!»

Из сказанного я сделал вывод, что Берман применяет к Тер-Ваганяну особую тактику. Он действительно не знал, что лучше для его подследственного – подписать требуемые показания или отказаться от этого. И потому он не оказывал на него ни малейшего нажима. Пока Зиновьев и Каменев держались, Берман склонен был думать, что Тер-Ваганян прав, не желая подписывать явную ложь. Но когда Берман узнал, что Сталин искренне обещал Зиновьеву и Каменеву не расстреливать старых большевиков и что тот и другой дали согласие выступить на суде со своими «признаниями» – он пришёл к выводу, что и для его подследственного лучше последовать их примеру. Он начал настойчиво убеждать Тер-Ваганяна подписать требуемые показания и выступить с ними на суде. Тер-Ваганян, за время следствия привыкший ему доверять, сознавал, что изменившееся поведение Бермана – это не инквизиторский приём. К тому же опасения Тер-Ваганяна скомпрометировать партию и дело революции потеряло смысл с тех пор, как Зиновьев и Каменев – куда более видные партийные деятели – согласились подтвердить на суде сталинскую клевету. Тер-Ваганян капитулировал. Когда он подписал своё «признание». Берман произнёс:

– Так-то лучше!.. Всякое сопротивление было бесполезно. Самое главное – сохранить в себе мужество. Пройдёт несколько лет, и я, надеюсь, ещё увижу вас на ответственной работе в партии!

– Дражайший Берман, – ответил Тер-Ваганян, – кажется, вы меня совсем не поняли. Я не имею ни малейшего желания возвращаться к ответственной

работе. Если моя партия, ради которой я жил и за которую готов был отдать жизнь в любой момент, заставила меня подписать это, – тогда я больше не хочу быть членом партии. Я завидую сегодня самому последнему беспартийному.

Незадолго до суда прокурор Вышинский начал принимать от НКВД дела вместе с самими обвиняемыми. Процедура «передачи» выглядела так: обвиняемых доставляли в кабинет Молчанова или Агранова, где Вышинский в присутствии руководителей НКВД задавал им один и тот же вопрос: подтверждают ли они показания, подписанные ими на следствии. После этой формальности, занимавшей не более десяти минут, обвиняемых возвращали в тюрьму, где они оставались в распоряжении тех же самых следователей НКВД, которые их допрашивали.

«Передача» Вышинскому Тер-Ваганяна не обошлась без характерного инцидента. Обвиняемого ввели в кабинет Агранова, где, кроме хозяина кабинета, находились Вышинский, Молчанов и Берман. В ответ на стандартный вопрос Вышинского Тер-Ваганян, презрительно глядя на него, сказал: «Собственно говоря, я имею законное право отвести вас как прокурора. Во время гражданской войны я вас арестовывал за настоящую контрреволюцию!» Вышинский побледнел и не нашёлся, что ответить. Довольный произведённым впечатлением, Тер-Ваганян обвёл глазами всех присутствующих и снисходительно добавил: «Ну, да ладно! Не бойтесь, я этого не сделаю.»

Ягоде и всей верхушке НКВД выходка Тер-Ваганяна доставила немалое удовольствие. Хотя Вышинский всегда подхалимничал перед руководством НКВД, к нему здесь относились с явной снисходительностью.

Ежов мстит Анне Аркус

Среди арестованных по делу «троцкистско-зиновьевского террористического центра» оказалась некая Анна Аркус. Это была привлекательная и интеллигентная молодая женщина, когда-то побывавшая замужем за членом правления Госбанка Григорием Аркусом. Когда супруги развелись, с Анной остался их единственный ребёнок – двухлетняя девочка. Григорий Аркус вскоре женился вторично на знаменитой балерине Ильюшенко из Большого театра. Анна, в свою очередь, вышла замуж за видного сотрудника НКВД Бобрищева – начальника политотдела Московской дивизии войск НКВД. Как жена чекиста она была знакома со многими людьми из руководства «органов» и, в частности, очень подружилась с семьёй Слуцкого, старого приятеля Бобрищева. Хоть это замужество Анны Аркус тоже оказалось непродолжительным, тем не менее она сохранила добрые отношения со своими знакомыми из НКВД. Первый муж щедро помогал деньгами и ей, и своей маленькой дочери.

Летом 1936 года приятели Анны Аркус с удивлением узнали, что Ягода, подписывая ордера на арест ряда старых большевиков, приказал арестовать и её. Сотрудники НКВД не могли себе представить, каким образом арест этой женщины, не имеющей ничего общего ни с партией, ни с политикой, связан с судом над старыми товарищами Ленина.

Анну Аркус арестовали в подмосковном доме отдыха для высших служащих Госбанка. Она проводила там лето вместе с дочерью, которой исполнилось уже пять лет. Не чувствуя за собой никакой вины и к тому же не имея особых причин трепетать перед «органами», где у неё было много друзей, Анна Аркус скорее удивилась тому, что с ней произошло, чем испугалась. Полагая, что это недоразумение и, как только всё выяснится, её

освободят, она оставила девочку на попечении жены одного из руководителей Госбанка, находившейся в том же доме отдыха.

Услышав об аресте Анны Аркус, Слуцкий тут же отправился к Молчанову, в чьих руках была сконцентрирована подготовка судебного процесса. Молчанов сообщил ему, что это имя включил в чёрный список лично Ежов. Туда же он внёс и мужа Анны, Григория Аркуса. Тот возглавлял отделение зарубежных операций Госбанка, и Слуцкому пришло в голову, что Ежов, вероятно, намерен обвинить его в снабжении Троцкого зарубежной валютой. В таком случае Анна Аркус арестована, вернее всего, лишь для того, чтобы оказать давление на своего бывшего мужа.

Дело Анны Аркус было поручено С., довольно видному сотруднику НКВД. Единственное обвинение, касавшееся её, представляло собой отрывок из показаний Рейнгольда. Тот утверждал, что он и ещё два члена «московского террористического центра», Пикель и Григорий Аркус, на протяжении 1933–1934 годов проводили тайные совещания в квартире Анны.

Следователь С., прекрасно понимавший, зачем Сталину этот процесс и какими методами НКВД получает показания, воспринял признание Рейнгольда с недоверием. Тем не менее, он считал себя обязанным начать следствие по всем правилам. На первом же допросе он потребовал от Анны Аркус, чтобы она назвала фамилии всех посещавших её квартиру начиная с 1933 года. Но когда Анна заметила, что он собирается записывать, она прервалась и спросила, прилично ли, если в протоколе допроса окажется такой перечень – ведь среди её гостей фигурировало несколько весьма известных лиц – руководителей НКВД и даже членов ЦК! Для примера она назвала Слуцкого с женой, одного видного прокурора и так далее.

Все её знакомые, как на подбор, оказывались либо видными партийцами, либо крупными членами Совнаркома, и Анна Аркус не понимала, каким образом эти знакомства могут ей повредить. Впрочем, ей вспомнился случай, когда некая значительная персона назвала одного из её знакомых «двурушником», – однако скорее всего из ревности. Дело было так. Как-то вечером к ней зашли Николай Ежов из ЦК с дипломатом Богомоловым, а у неё в гостях был приятель по фамилии Пятигорский, бывший советский торгпред в Иране. В дальнейшем, уже уходя, Ежов спросил, как это Анна может принимать у себя дома таких «двурушников», как Пятигорский. Она обиделась. «Если Пятигорский двурушник, – сказала она Ежову, – то зачем же вы держите его в партии, а правительство доверяет ему такие ответственные должности?»

Ежов разозлился и обозвал её глупой мещанкой. Анна вышла из себя. «Все мои друзья – порядочные люди! – заявила она. – А вот ваш закадычный друг Конар оказался польским шпионом!»

Она имела в виду крупного польского шпиона по фамилии Полещук, которого польская разведка снабдила в 1920 году партбилетом погибшего в бою красноармейца и забросила в СССР. За двенадцать лет «Конару» удалось добраться до самого верха советской бюрократической иерархии и стать заместителем наркома сельского хозяйства. «Конар» и Ежов были близкими друзьями, и не было тайной, что именно Ежов помог ему занять столь высокий пост. Разоблачили Полещука совершенно случайно: коммунист, знавший настоящего Конара, сообщил в ОГПУ, что заместитель наркома, выдающий себя за Конара, на самом деле вовсе не Конар.

Анна Аркус заявила следователю, что после этой стычки с Ежовым она больше никогда не приглашала

его в гости и не отвечала на его настойчивые телефонные звонки.

Она не знала, что Сталин поручил Ежову надзор за подготовкой суда над старыми большевиками и, следовательно, её судьба оказалась всецело в руках Ежова. Зато это очень хорошо осознал следователь. Он теперь прекрасно понял, почему Ежов включил Анну Аркус в список старых большевиков, к которым она не имела никакого отношения.

С. решил провести беспристрастное расследование и обратиться к руководству с предложением освободить Анну Аркус из-под стражи. По совету одного из друзей он собирался скрыть от Молчанова всё, что узнал от Анны об её отношениях с Ежовым.

Анна Аркус узнала от С., что, по свидетельству Рейнгольда, он и другие «члены террористического центра» в 1933–1934 годах тайно встречались у неё в квартире. Она отказывалась верить, что Рейнгольд действительно говорил такую чушь. Действительно, Рейнгольд со своим другом Пикелем несколько лет назад изредка заглядывали к ней сыграть в покер, однако последний раз это было в 1931 году, и, если ей устроят очную ставку с Рейнгольдом, тот наверняка подтвердит, что она показывает правду. Когда следователь заметил, что не может разделить её оптимизм, Анна Аркус возразила, что верит в порядочность Рейнгольда до такой степени, что, если Рейнгольд в её присутствии подтвердит показание, она не станет его оспаривать.

Следователи НКВД, которые хорошо знали друг друга, в разговорах между собой называли вещи своими именами. Но в остальных случаях, особенно когда собеседники не были равны по чину, они говорили о предстоящем процессе так, словно искренне верили в существование заговора против Сталина. Следователь С. решил придерживаться этой тактики в разговоре с

Чертоком, который вёл дело Рейнгольда. Репутация Чертока читателю уже известна; его качества не составляли тайны и для С. Итак, он позвонил Чертоку и сообщил ему, что подследственная Анна Аркус категорически отрицает показание Рейнгольда, будто он посещал её в 1933 году, и требует с ним очной ставки. С. просил Чертока допросить Рейнгольда по этому пункту ещё раз и, если тот будет настаивать, устроить очную ставку между ним и Анной Аркус.

Конечно, существовала опасность, что Рейнгольд, продавший душу Ежову и ревностно помогавший НКВД, не моргнув глазом повторит свои ложные показания. Но следователь С. использовал оставшееся в его распоряжении время для того, чтобы создать вокруг её дела благоприятное «общественное мнение» в среде влиятельных сотрудников НКВД. С этой целью он начал приглашать на допросы Анны Аркус своих друзей; среди них был Берман, к которому нередко прислушивался Молчанов, и ещё один сотрудник, близкий друг Агранова.

Было совершенно очевидно, что Анна Аркус не сознаёт серьёзности своего положения. Она не делала попыток заискивать перед следователями и однажды, когда Борис Берман в разговоре с ней нелестно отозвался о Григории Аркусе, назвав его «бабником», Анна резко осадила его: «А вы и ваше начальство – разве не бабники? Вы думаете, в Москве не знают, за кем вы увиваетесь?»

Между тем время шло, а Черток всё оттягивал её очную ставку с Рейнгольдом. Это был верный признак, что он натолкнулся на какую-то трудность. Наконец, он был вынужден признать, что Рейнгольд отказывается подтвердить свои, давние показания в отношении Анны Аркус. Итак, единственное свидетельство, на котором держалось её обвинение, отпало. С. дал понять

Чертоку, что, в таком случае тому надлежало бы переписать протокол допроса Рейнгольда, исключив из него строчки, относящиеся к Анне Аркус. Но Черток ответил, что об этом не может быть и речи, потому что показания Рейнгольда уже доложены Сталину и утверждены им. Быть может, для того чтобы оправдать себя в глазах С., Черток добавил: «Вы должны принять во внимание, что это – политическое дело!»

Не слишком рассчитывая на успех, С. предпринял, тем не менее, дальнейшие шаги, чтобы спасти Анну Аркус от ежовской мести. Он написал официальное заключение, предлагая в нём прекратить дело Анны Аркус за отсутствием состава преступления. С этой бумагой он пошёл к Молчанову. Прочитав написанное, Молчанов спросил у С., известно ли ему, что Анна Аркус арестована по инициативе Ежова. С. ответил утвердительно. «А вы не хотите доложить это дело Ежову лично?» – спросил Молчанов. С. выразил такую готовность.

На следующий же день его без объяснения причин отстранили от следствия по этому делу. Ему было приказано передать дело Анны Аркус Борису Берману. Стало ясно, что Молчанов не рискнул поставить перед Ежовым вопрос об её освобождении.

Кончилось дело так: Берман и Молчанов всё-таки доложили Ежову своё мнение. Услышав, что могла бы идти речь о её освобождении, он скривился и пробурчал: «Эта скандалистка заслуживает расстрела! Дайте ей пять лет – не ошибётесь».

Шантаж

Будучи назначен контролировать подготовку процесса, направленного против Зиновьева и Каменева, Ежов, по-видимому, уже знал, что через несколько месяцев Сталин назначит его наркомом внутренних дел. Только этим можно объяснить необычный интерес, какой он проявлял к методам оперативной работы НКВД и к чисто технической стороне обработки заключённых. Он любил появляться ночью в обществе Молчанова или Агранова в следовательских кабинетах и наблюдать, как следователи вынуждают арестованных давать показания. Когда его информировали, что такой-то и такой, до сих пор казавшийся несгибаемым, поддался, Ежов всегда хотел знать подробности и жадно выспрашивал, что именно, по мнению следствия, сломило сопротивление обвиняемого.

Время от времени Ежов и сам прикладывал руку к следствию. Мне рассказывали, как несколько вечеров подряд он «работал» со старым большевиком, заслуги которого перед страной были широко известны, и с его женой, тоже старым членом партии. Я не стану приводить их настоящих имён, потому что боюсь, как бы преследования не коснулись их детей, которые, по моим данным, пережили сталинщину и смерть своих родителей. Условимся называть этого старого большевика Павлом Ивановым, а его жену – Еленой Ивановой.

Павел Иванов, человек аскетичной внешности, при царском режиме подвергался неоднократным арестам и отбыл десятилетний срок на каторге. В годы гражданской войны он стал выдающимся военачальником. Его жена тоже имела немалые заслуги перед революцией, пользуясь широкой известностью среди старых членов партии. Оба они примкнули к троцкистской оппозиции и после её разгрома были сосланы в Сибирь. В

1936 году их доставили в Москву и поместили во внутреннюю тюрьму НКВД.

У Ивановых было двое сыновей. Младший, которому к тому времени исполнилось пятнадцать лет, жил в Москве с бабушкой.

Следователи «работали» с Ивановым и его женой целых четыре месяца, однако безуспешно. Иванов оставался твёрд как кремень и не поддавался на уговоры и угрозы. Елена Иванова, женщина очень экспансивная, со всей страстью парировала домогательства следователей. Правда, в её позиции было одно слабое место, которое в конце концов и оказалось для неё роковым. То ли потому, что сама она была кристально честным человеком, то ли потому, что следователи хорошо разыгрывали свою роль, у Елены Ивановой создалось впечатление, что НКВД верит, будто старые большевики намеревались убить Сталина. Поэтому она считала своей главной задачей убедить их, что ни она, ни муж, ни их товарищи по сибирской ссылке никогда ничего не слышали о заговоре против Сталина и что НКВД введён в заблуждение информацией, исходившей от какого-то слишком усердного агента-провокатора. Как это часто встречается среди арестованных, не очень искушённых в вопросах права, она ошибочно полагала, что не обвинители должны доказать её виновность, напротив, она должна доказать им, что невиновна в приписываемых ей грехах.

Как-то поздним вечером Ежов в сопровождении Молчанова зашёл в помещение, где допрашивали Елену Иванову. Услышав, что это Ежов, она взволнованно обратилась к нему, приводя те же доводы, какими безуспешно пыталась воздействовать на следователей. Она умоляла его сказать только, что ей следует сделать, чтобы доказать невиновность – свою и своего мужа, – и она докажет! На это Ежов отвечал, что НКВД слезам не

верит и что для спасения обоих, а также чтобы оградить своих детей от грозящих им неприятностей, она может сделать лишь одно: искренне раскаяться и помочь партии.

– Вы отрицаете, что обсуждали план убийства товарища Сталина, потому что боитесь ответственности! – заявил Ежов.

– Ничего подобного! – воскликнула Елена Иванова. – Как мне убедить вас, что я отвергаю эти обвинения не из трусости, а потому, что я не виновна?

И тут ей в голову пришла отчаянная идея.

– Я вам докажу – истерически закричала она, – что я не трушу! Если вам угодно, я сию же минуту напишу тут, в вашем присутствии, заявление, что я хотела убить Сталина, хотя это и неправда! Я это сделаю только, чтобы доказать вам, что если я отвергаю ваши обвинения, то не из трусости, а оттого, что я не виновна!

– Прекратите провокацию! – прошипел Ежов.

– Это не провокация! – кричала Елена Иванова. – Дайте мне… Я сейчас же подпишу!..

– Посмотрим, – буркнул Ежов.

Он сделал следователям знак, чтобы они воспользовались состоянием обвиняемой. Те не двинулись с места. Только после того, как Ежов повторил своё приказание, один из следователей поспешно набросал от имени Елены Ивановой такой текст: будучи настроенной враждебно к руководству партии, она чувствует себя способной совершить террористический акт, направленный против Сталина. Следователь подсунул эту бумажку Елене Ивановой и подал ей перо.

Она заколебалась на секунду, затем, повернувшись к Ежову, произнесла:

– Вы знаете, что всё тут написанное – неправда. Но я это подписываю, полагая, что совесть вам не позволит использовать это против меня.

И она подписала бумажку – это было всё равно, что подписать себе смертный приговор.

Ежов отправил Елену Иванову обратно в тюремную камеру, приказал привести её мужа и объявил ему, что его жена только что во всём созналась: будучи в сибирской ссылке, они обсуждала с ним и с другими ссыльными секретную директиву Троцкого о необходимости убийства Сталина. В доказательство Ежов предъявил Павлу Иванову признание, подписанное его женой, заметив при этом, что у следователя не нашлось времени подробно запротоколировать её показания.

Увидев подпись своей жены, Павел Иванов выкрикнул в лицо Ежову: «Что вы с ней сделали?» В этот вечер он впервые утратил выдержку. Однако он по-прежнему отказывался оговаривать себя и своих товарищей. То обстоятельство, что Ежов являлся секретарём Центрального Комитета партии, не производило на Иванова никакого впечатления, и, когда тот принялся оскорблять его и поучать, что большевик дескать должен жертвовать чем-то для партии, Иванов ответил: «Мне хотелось бы знать, чем вы пожертвовали для партии! Я что-то не слышал вашей фамилии ни в царском подполье, ни в дни Октября, ни в гражданскую войну. Может, вы скажете, откуда вы взялись?»

Ежову пришлось в присутствии следователей проглотить эту пилюлю, так что весть о том, как Иванов отбрил Ежова, быстро разнеслась среди сотрудников НКВД.

На другой день Ежов опять вызвал Иванова, стараясь запугать его всеми доступными ему средствами. Убедившись, что угрозы не действуют на обвиняемого, он в присутствии Иванова приказал следователям арестовать его сыновей.

– Но моему младшему сыну всего пятнадцать лет! – сказал Иванов…

Прошло ещё несколько дней, и Ежов снова явился обрабатывать Иванова. На этот раз он был настроен более миролюбиво и обещал ему от имени Сталина, что если тот подчинится воле партии, ЦК «примет во внимание его прежние заслуги перед революцией». Ежов предлагал Иванову серьёзно подумать о будущем его сыновей и о том, что может с ними произойти, если их арестуют.

– Но они ещё не арестованы? – спросил Иванов.

– Это мы сейчас выясним, – ответил Ежов. – Может быть, их ещё не успели взять.

Ежов прекрасно знал, что сыновья Иванова ещё находятся на свободе: отданный им приказ об их аресте с самого начала был провокацией, рассчитанной на то, чтобы сломить упорство Иванова. Однако, продолжая играть на его нервах, Ежов предложил одному из следователей позвонить во внутреннюю тюрьму и узнать, содержатся ли там сыновья Иванова. Пока следователь с телефонной трубкой в руке ждал ответа из тюрьмы, доложили, что сыновья Иванова у них «не числятся». Ежов спросил у Иванова номер его квартирного телефона, снял трубку и позвонил ему домой.

К телефону подошла тёща Иванова.

– Говорят из НКВД, – объявил ей Ежов. – Павел Иванов хочет знать, как себя чувствуют его дети.

В ночной тишине Иванов, сидя, близко от аппарата, мог слышать голос старой женщины. Она отвечала, что старшего внука нет в Москве, а «младшенький» здоров и сейчас спит. Ежов повторил её фразу и протянул трубку Иванову, но тот задыхался от волнения и не хотел, чтобы об его состоянии узнали близкие.

– Хотите ей что-нибудь передать? – спросил Ежов.

– Скажите ей, чтобы берегла мальчика, – с трудом ответил Иванов. – И пусть переделает для него моё зимнее пальто.

Ежов повторил в трубку эти слова. В эту минуту Павел Иванов упал грудью на стол и, закрыв руками лицо, горько зарыдал.

На следователей эта сцена произвела тяжёлое впечатление. Они сидели, стараясь не встречаться друг с другом глазами. Перед ними плакал старый большевик, закалённый царской каторгой, но не сумевший сдержать слез в советской тюрьме.

Один из следователей, присутствовавший при этой сцене, потом говорил мне:

– Никогда в жизни я не встречал такого подлеца, как этот Ежов. Ведь он всем этим только тешится.

Ежов действительно торжествовал. Сопротивление Павла Иванова было сломлено. Когда Иванов, мучимый тревогой за судьбу своих сыновей, узнал, что беда их не коснулась и что младший сын спокойно спит у себя дома, он был готов сделать всё, что от него потребуют, лишь бы отвести опасность от них.

По сигналу, данному Ежовым, следователи поспешно подготовили короткий «протокол допроса», в котором говорилось, что в 1932 году Иванов узнал от И. Н. Смирнова, будто бы от Троцкого получена директива начать действовать против руководства партии террористическими методами и что в соответствии с этой директивой он, Павел Иванов, выделил одного из ссыльных троцкистов, некоего X., и отправил его в Москву для убийства Сталина. Подписав протокол, Иванов сказал Ежову, что, насколько он помнит, в ссылке вместе с ним не было человека, носившего такую фамилию. Ежов промолчал.

Молотов: на волоске от ареста

Из официального стенографического отчёта о процессе «троцкистско-зиновьевского центра» видно, что, перечисляя на суде фамилии руководителей, которых «центр» намеревался убить, никто ни разу не упомянул фамилию Молотова. Между тем Молотов занимал в стране первое место после Сталина и был главой правительства. Подсудимые заявляли, что они готовили террористические акты против Сталина, Ворошилова, Кагановича, Жданова, Орджоникидзе, Косиора и Постышева, но к Молотову подобные злодейские замыслы почему-то не относились.

Очень знаменательным представляется и тот факт, что ни государственный обвинитель Вышинский, ни судьи ни разу не попросили у подсудимых объяснить такую странную избирательность: замышляя убить всех основных руководителей партии и правительства, для Молотова они, несомненно, делали исключение. Столь заботливое отношение заговорщиков к жизни Молотова могло означать только одно: он, хотя и не разоблачённый, был, по-видимому, одним из тех, кто тоже участвовал в заговоре против Сталина!

Но почему же в таком случае это имя сделалось на суде как бы запретным и не произносилось ни обвиняемыми, ни судьями, ни прокурором?

Сейчас мы увидим, что ничего таинственного в этом нет. С самого начала следствия сотрудникам НКВД было приказано получить от арестованных признания, что они готовили террористические акты против Сталина и всех остальных членов Политбюро. В соответствии с такой директивой Миронов потребовал от Рейнгольда, который согласился, как мы помним, давать показания против старых большевиков, чтобы тот засвидетельствовал, что бывшие лидеры оппозиции готовили убийство Сталина, Молотова,

Ворошилова, Кагановича, Кирова и других вождей. В СССР принято перечислять эти фамилии в строго определённом порядке, который показывает место каждого из «вождей» в государственно-партийной иерархии. Сообразно этому порядку Молотов и был назван в показаниях Рейнгольда сразу после Сталина. Но когда протокол этих показаний был представлен Сталину на утверждение, тот, как я уже упоминал, собственноручно вычеркнул Молотова. После этого следователям и было предписано не допускать того, чтобы имя Молотова фигурировало в каких-либо материалах будущего процесса.

Этот эпизод вызвал в среде руководства НКВД понятную сенсацию. Напрашивался вывод, что логически должно последовать распоряжение об аресте Молотова, чтобы посадить его на скамью подсудимых вместе с Зиновьевым и Каменевым как соучастника заговора. Среди следователей начал циркулировать слух, будто Молотов уже находится под домашним арестом. В НКВД никто, исключая, быть может, Ягоду, не знал, что Молотов навлёк на себя сталинское недовольство, но если верить тогдашним упорным слухам, Сталина рассердили попытки Молотова отговорить его устраивать позорное судилище над старыми большевиками.

Вскоре Молотов отправился на юг отдыхать. Его неожиданный отъезд тоже был воспринят верхушкой НКВД как зловещий симптом, больше того – как последний акт разворачивающейся драмы. Все знали, что не в обычаях Сталина убирать наркома или члена Политбюро, арестовывая его на месте, при исполнении служебных обязанностей. Прежде чем отдать распоряжение об аресте любого из своих соратников, Сталин имел обыкновение отсылать их на отдых или объявлять в газетах, что такой-то получает (либо получит) новое назначение. Зная всё это, руководство НКВД со дня на

день ожидало распоряжения об аресте Молотова. В «органах» были почти уверены, что его доставят из отпуска не в Кремль, а во внутреннюю тюрьму на Лубянке.

Перед отъездом Молотова Ягода вызвал к себе ответственного сотрудника Транспортного управления НКВД некоего Г. – одного из моих подчинённых, и приказал ему сопровождать Молотова в отпуск, предупредив Г., что на него возлагается очень деликатное задание, исходящее от самого «хозяина». Ягода сказал далее, что под предлогом усиленной охраны Молотова Г. должен организовать постоянное наблюдение за ним и принять особые меры к тому, чтобы предупредить его попытки покончить с собой. Г. был снабжён специальным шифром для передачи Ягоде ежедневных сводок о поведении Молотова и его настроениях.

Сталин не выносил, когда выбранная им жертва уходила от возмездия, пусть даже совершая самоубийство. В дальнейшем он даст Ягоде свирепый нагоняй за то, что тот не предупредил самоубийства Томского, ради которого Сталин готовил очередной судебный спектакль. Вовремя поднеся к виску пистолет, Томский ускользнул из лап преследователей буквально в последний момент.

На этот раз Сталин не приехал на вокзал проводить Молотова в отпуск, как он это делал из года в год. Меня это, впрочем, нисколько не удивило. Гораздо более удивительным было то, что последовало дальше: примерно через час после отхода экспресса, которым следовал Молотов, Ягода приказал Транспортному управлению НКВД передать по железнодорожной спецсвязи телеграмму, где говорилось, что Сталин прибыл на вокзал проводить Молотова, но опоздал к отходу поезда. При этом сам Сталин распорядился, чтобы такую телеграмму послали и Молотову.

Что заставило Сталина лгать Молотову, будто он приезжал на вокзал? Зачем вообще понадобилось отправлять такую телеграмму? Конечно, не затем, чтобы Молотов не мучился неизвестностью, и не затем, чтобы продемонстрировать примирение с ним. Если б Сталина занимали эти соображения, он прежде всего распорядился бы восстановить фамилию Молотова в показаниях обвиняемых, чтобы Молотов перестал быть белой вороной. Пусть его уравняют в правах с остальными членами Политбюро, то есть признают, что он тоже был намечен заговорщиками в качестве жертвы! Но такого распоряжения Сталин не отдал. Выходит, посланной вдогонку телеграммой он просто хотел усыпить подозрения Молотова: это должно было облегчить НКВД слежку за ним и уменьшить риск его самоубийства.

Итак, несмотря на успокоительную телеграмму, положение Молотова выглядело безнадёжным. Отдыхая на юге в роскошном дворце, окружённом изумительными розариями, он фактически оказался в капкане, который в любой момент мог защёлкнуться. Отсутствие его имени в списке: намечаемых жертв «троцкистско-зиновьевского заговора», безусловно, не выходило у него из головы, тем более что он оказался там единственным исключением.

Сталин держал Молотова в таком состоянии, между жизнью и смертью, шесть недель и лишь после этого решил «простить» его. Молотов всё ещё был ему нужен. Среди заурядных, малообразованных чиновников, коими Сталин заполнил своё Политбюро, Молотов был единственным исключением. Его отличала невероятная работоспособность. Он освобождал Сталина от тяжкого бремени управления текущими государственными делами. Кроме того, Молотов оставался единственным, не считая самого Сталина, членом

Политбюро, кто с полным правом мог называть себя старым большевиком, так как оставил определённый след в предреволюционной истории партии.

К удивлению энкаведистской верхушки, Молотов вернулся из отпуска к своим обязанностям председателя Совета народных комиссаров. Это означало, что между Сталиным и Молотовым достигнуто перемирие, хотя, быть может, и временное.

Правда, фамилия Молотова так и не была восстановлена в злополучных списках. Для этого просто не оставалось времени. Судебный процесс и без того неоднократно откладывался. Не было никакой возможности заново переписывать многочисленные протоколы допросов и инструктировать обвиняемых, когда и где они рассчитывали убить Молотова. А кроме того, Сталин, как правило, далеко не сразу возвращал своё расположение тем, кто в чём бы то ни было перед ним «провинился». Он устанавливал таким «грешникам» некий испытательный срок, в течение которого согрешившие должны были показать, насколько глубоко и искренне их раскаяние.

Итак, на суде фамилия Молотова вовсе не упоминалась… Даже в заключительной речи Вышинского, где он восхвалял «чудесных сталинских соратников», ему пришлось опустить Молотова. «Имена наших чудесных большевиков, – говорил Вышинский, – талантливых и неустанных зодчих нашего государства – Серго Орджоникидзе, Клима Ворошилова, Лазаря Моисеевича Кагановича, вождей украинских большевиков Косиора и Постышева и вождя ленинградских большевиков Жданова – близки и дороги сердцу всех тех, кто полон сыновней любви к родине».

Вышинский пропустил Молотова в этом перечне, конечно, не по собственной инициативе: он имел специальные указания личного секретариата Сталина, в

соответствии с которыми Молотова впредь не следует перечислять среди «чудесных большевиков, талантливых и неустанных зодчих нашего государства».

Зато на последующих двух процессах всё обстояло иначе. Молотов вернул себе расположение Сталина, был включен по его указанию в перечень вождей, которых намеревались уничтожить заговорщики. И те дружно сознавались на суде в своих злодейских замыслах против Молотова. Более того, на этих последующих процессах заговорщики утверждали, что убийство Молотова планировалось также Зиновьевым и Каменевым (которые к тому времени давно уже были расстреляны по приговору, вынесенному на первом процессе). То обстоятельство, что сами Зиновьев и Каменев по приказу Сталина должны были тщательно пропускать это имя в своих показаниях, теперь уже не имело значения. Ведь тогда сам Сталин не знал, куда отнести Молотова: то ли к жертвам заговорщиков, то ли, наоборот, к их соучастникам. То, что произошло с Молотовым, могло случиться и с любым другим членом Политбюро, попавшим в немилость к Сталину. А сам Молотов, как мы могли убедиться, был лишь на волосок от того, чтобы угодить из отпуска прямо в тюрьму НКВД. В таком случае подсудимые наверняка утверждали бы, что Молотов является их сообщником в заговоре, направленном против Сталина, и мы, со своей стороны, ничуть бы не сомневались, что и Молотов, сидя на скамье подсудимых, подтвердит это, едва дойдёт до него очередь – ведь у него тоже была семья.

Последние часы

Сначала Сталин замышлял устроить первый из московских процессов так, чтобы на нём было представлено самое меньшее пятьдесят обвиняемых. Но по мере того как продвигалось, «следствие», это число не раз пересматривалось в сторону уменьшения. Наконец, остановились на шестнадцати подсудимых. Пришлось оставить только тех, в отношении кого не было сомнений, что на суде они повторят всё то, что подписали на допросах.

Пятеро из этих шестнадцати были прямыми помощниками НКВД в подготовке судебного спектакля. К ним относились трое тайных агентов – Ольберг, Фриц Давид и Берман-Юрин, а также Рейнгольд и Пикель, рассматривавшиеся «органами» не как действительные обвиняемые, а как исполнители секретных указаний ЦК.

Последняя неделя перед судом ушла на то, чтобы ещё раз подробно проинструктировать обвиняемых: под руководством Вышинского и следователей НКВД, они вновь и вновь репетировали свои роли.

Проблема выбора подходящего помещения для открытого судебного процесса представлялась настолько важной, что Сталин созвал специальное совещание для обсуждения этого вопроса. Из нескольких помещений, предложенных Ягодой, Сталин выбрал самое маленькое – так называемый Октябрьский зал Дома Союзов, где было всего 350 мест, хотя в том же здании был знаменитый Колонный зал, способный вместить несколько тысяч. Вдобавок Сталин приказал Ягоде заполнить зал суда исключительно сотрудниками НКВД и не допускать проникновения «посторонних», хотя бы то были члены ЦК и правительства. Таким образом, НКВД обеспечил суд, не только обвиняемыми, но и публикой.

В зале сидели архивные работники, секретари, машинистки, шифровальщики. Они получали пропуска, действительные только на полдня, и присутствовали на суде посменно. Каждый знал номер своего места, каждый был одет в штатский костюм. Появляться на суде в военной форме было разрешено только руководителям НКВД.

Высшие сановники из ЦК и правительства, обычно получавшие от НКВД пропуска на съезды, военные парады и прочие торжества, засыпали НКВД по телефону требованиями выслать им пропуск на судебный процесс. Им отказывали под предлогом, что число мест в зале суда очень невелико, и все пропуска уже распределены.

Несмотря на то что обвиняемые обещали в точности выполнить данные ими обязательства, Сталин всё же опасался: вдруг кто-то из старых большевиков, не сдержавшись, выскажет на суде всю правду. Именно поэтому он не разрешил присутствовать в зале даже самым надёжным партийцам. Аполитичные машинистки и шифровальщики из НКВД были сочтены наиболее подходящей аудиторией – за долгие годы работы в «органах» они научились держать язык за зубами.

В зале не было ни одного родственника подсудимых. Сталин был далёк от сентиментальности буржуазных судов и рассматривал близких обвиняемого лишь как заложников.

Страх, что кто-либо из подсудимых вдруг сделает попытку разоблачить фальсификацию, был так велик, что, не довольствуясь тщательным отбором публики, организаторы процесса разработали дополнительные меры, позволявшие незамедлительно заткнуть рот любому взбунтовавшемуся участнику спектакля.

В зале суда там и сям были рассажены группы сотрудников НКВД, прошедшие специальную трениров-

ку. При первых признаках опасности, по сигналу обвинителя, они были готовы вскочить с мест и громкими криками заглушить слова подсудимого. Такое поведение «зала» должно было послужить председательствующему предлогом, чтобы прервать судебное заседание для «восстановления тишины и порядка». Само собой разумеется, что «бунтовщик» никогда больше не появится в зале суда.

Последним штрихом, завершающим следственную подготовку к процессу, была ободряющая беседа, которую Ягода и Ежов провели с главными обвиняемыми – Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Бакаевым, Мрачковским и Тер-Ваганяном. Ежов от имени Сталина ещё раз заверил их, что если они будут соблюдать на процессе данные ими обязательства, то всё, что им обещали, будет скрупулёзно выполнено. Он предостерег своих «собеседников», чтобы они не пытались даже исподтишка протаскивать на суде свою политическую линию. Ежов предупредил также, что Политбюро считает их связанными общей ответственностью: если кто-то из них «совершит вероломство», это будет рассматриваться как организованное неповиновение всех.

Судебный процесс начался 19 августа 1936 года. Председательствовал на нём Василий Ульрих, бывший сотрудник отдела контрразведки ВЧК. Судьи и секретариат разместились в дальнем конце зала, лицом к публике. Присяжные отсутствовали. Сталинский режим, «самый демократический в мире», не решался доверить отправление правосудия представителям народа.

У правой стены, боком к аудитории, были усажены обвиняемые. Они сидели на стульях, поставленных в четыре ряда, за низким деревянным барьером. Охрану несли трое бойцов из состава войск НКВД, вооружённые винтовками с примкнутыми штыками. Напротив, у левой стены, занял своё место за небольшим столом

государственный обвинитель Вышинский. За спиной подсудимых, в самом углу зала, виднелась скромная дверь. Она вела в узкий коридор с несколькими небольшими комнатами, в одной из которых был устроен буфет с отборными закусками и прохладительными напитками. Сидя в этой комнате, Ягода и его помощники могли слушать показания подсудимых, для чего тут был специально смонтирован радиодинамик. Остальные комнаты предназначались для охраны и для подсудимых. В перерывах между утренними и вечерними заседаниями суда государственный обвинитель должен был встречаться здесь с ними, давая дополнительные инструкции и напоминая о судебных правилах. Здесь же они могли принимать пищу и отдыхать.

Подсудимые выглядели менее измотанными, чем в следовательских кабинетах. За последнюю пару недель они несколько прибавили в весе, и им была дана возможность выспаться. Тем не менее, землистые лица и тёмные круги под глазами ясно говорили о том, что им пришлось перенести.

Впрочем, несколько человек на той же скамье подсудимых отличались вполне здоровой внешностью, что особенно бросалось в глаза в сочетании с их непринужденной манерой держаться, резко контрастировавшей с вялостью и скованностью или, напротив, нервной развязностью остальных. Опытный глаз, таким образом, сразу отличал настоящих подсудимых от фиктивных.

Среди этих последних выделялся Исаак Рейнгольд. Холёное лицо, пышущее здоровьем, и элегантный костюм делали его похожим на актера – любимца публики. Заняв место с краю второго ряда, сразу у барьера, он сидел с таким выражением, словно оказался в трамвае, в обществе случайных пассажиров. Не спуская глаз с государственного обвинителя, он всем своим видом

выражал готовность по первому знаку вскочить и прийти ему на помощь. Неподалеку от него сидел тайный агент НКВД Валентин Ольберг, пришибленный своим неожиданным соседством с Зиновьевым и Каменевым и украдкой поглядывавший на них со смешанным выражением страха и почтения. Фриц Давид и Берман-Юрин, секретные представители НКВД в германской компартии, с деловым видом просматривали свои записи, откровенно готовясь к моменту, когда государственный обвинитель предоставит им возможность исполнить свой партийный долг. Из пятерых фиктивных обвиняемых только один Пикель сидел с апатичным и грустным видом.

Наиболее измотанным выглядел Зиновьев. Его одутловатое лицо с мешками, набрякшими под глазами, было нездорового, серого цвета. Он страдал астмой и, задыхаясь, время от времени начинал хватать воздух широко открытым ртом. Опустившись на своё место, он сразу отстегнул и снял воротничок рубашки и так без воротничка просидел все дни, пока длился суд. Он то и дело вглядывался в публику – по-видимому, его удивляло, что на таком судебном процессе не присутствует никто из видных партийцев или крупных государственных деятелей, среди которых он многих знал. Это обстоятельство должно было казаться ещё более странным Каменеву, который много лет подряд был председателем Моссовета и лично знал всех сколько-нибудь выдающихся москвичей. Безусловно, оба они поняли, из кого состоит эта аудитория. Им обоим должно было стать ясно, что их привели не в суд, а всего лишь перевели из одного отдела НКВД в другой, из этого зала не сможет донестись наружу, во внешний мир, никакой голос протеста.

Председательствующий Ульрих начал первое заседание суда с формального установления личности

обвиняемых. Затем он объявил, что подсудимые отказались от защитников и поэтому им будет предоставлена возможность самим осуществить свою защиту.

Кому-нибудь может показаться странным, почему вдруг все шестнадцать обвиняемых, зная, что на карту поставлены их жизни, не пожелали прибегнуть к помощи защитников, которые обязаны были попытаться хоть как-то помочь им. Однако этот феномен имеет своё объяснение, притом совсем простое: перед началом суда обвиняемым пришлось дать обещание, что они все, как один, откажутся от адвокатов. Мало того, они пообещали, что и сами они в свою очередь даже пальцем не шевельнут, чтобы защитить самих себя. И действительно, когда их спросили, что они могут сказать в свою защиту, все единогласно заявили, что сказать им нечего.

После чтения обвинительного заключения государственный обвинитель начал допрос подсудимых. На протяжении трёх дней они рассказывали суду о террористических планах, которые они якобы вынашивали годами, однако ни государственный обвинитель, ни они сами не смогли привести ни одного примера, который свидетельствовал бы о начале исполнения этих планов, если не считать убийства Кирова, организованного, как мы знаем, самим Сталиным с помощью Ягоды и Запорожца.

В дальнейшем Сталин приписал убийство Кирова совсем другим группам старых большевиков, которые предстали перед судом на последующих московских процессах – в 1937 и 1938 годах. В общем он использовал кировское дело точно краплёную карту, не знающую износа, в своей долгой и бесчестной игре.

Хотя государственный обвинитель не смог представить Зиновьеву, Каменеву и другим старым большевикам никаких доказательств их участия в убийстве

Кирова, они один за другим признали себя виновными в этом преступлении. Только Смирнов отвечал на вопросы обвинителя с такой иронией, что не оставалось и малейших сомнений, что он считает все эти обвинения фальшивкой. Его саркастические замечания и неоднократные намеки, что вся эта история о заговоре является сплошным вымыслом, заставляли Вышинского сильно нервничать. Прежде чем уступить государственному обвинителю по какому-нибудь конкретному пункту, Смирнов взял за правило подвергать сомнению обвинение в целом и только потом, отвечая на конкретный вопрос, снисходительно соглашаться: «Ну пусть будет так…»

Эта саркастическая манера, в какую Смирнов облекал свои «признания», была особо подчёркнута Вышинским в его обвинительной речи:

– Самым закоснелым в своём упорстве является Смирнов, – заявил Вышинский. – Он признал себя виновным только в том, что являлся руководителем троцкистского контрреволюционного подполья. Правда, признание это он сделал с какой-то игривой веселостью.

Когда Мрачковский, Дрейцер и Тер-Ваганян поддержали утверждение Вышинского, что Смирнов был их руководителем по подпольному «центру», Смирнов ответил им так, что даже хорошо обученная аудитория не могла удержаться от смеха. Обернувшись к Мрачковскому и Дрейцеру, Смирнов сказал: «Вам нужен вождь? Ладно, берите меня!»

Невзирая на то, что подсудимые полностью выполнили обязательства, данные следствию, Вышинский подчеркнул, что они в ряде случаев «не сказали всего», правда, не объясняя, что конкретно они утаили от суда. С другой стороны, Вышинский остался вполне доволен показаниями пяти мнимых обвиняемых – Рейнгольда,

Пикеля, Ольберга, Фрица Давида и Берман-Юрина. Он похвалил, в частности, Рейнгольда и Пикеля, побуждая их тем самым к ещё более яростным нападкам на остальных подсудимых. Вышинский как будто не замечал, что в своей роли обвиняемого Рейнгольд уж слишком старается и переигрывает.

– Товарищи судьи, – говорил Вышинский, – вам нетрудно понять искренность в поведении Рейнгольда и Пикеля, которые на этом суде вновь и вновь изобличают Зиновьева, Каменева и Евдокимова как виновников совершения многих тяжких преступлений.

Рейнгольд более чем заслужил похвалу обвинителя. Подыгрывая Вышинскому на протяжении всего процесса, он продемонстрировал незаурядный обличительный пафос и блестящую память. Всякий раз, когда он усматривал в показаниях того или иного подсудимого малейшее отклонение от заранее согласованного сценария, он порывался вскочить со стула, чтобы внести поправку, словно бы его товарищ по несчастью сознательно пытался что-то утаить от суда. Когда Рейнгольд замечал, что в чём-то путается государственный обвинитель, он тоже начинал вертеться, как на угольях, и почтительно просил разрешения «дополнить» то, что только что сказал Вышинский. А тот снисходительно, с милостивой улыбкой на устах, выжидал, пока Рейнгольд его поправит.

Пикель, как эхо, повторял каждое слово Рейнгольда, но делал это как-то безучастно, без того лицемерного негодования и пафоса, которым так выделялся Рейнгольд.

Для Вышинского не составляло труда состряпать свою громовую обвинительную речь, обличавшую подсудимых, которые не только не оказали ему сопротивления, а напротив, сделали всё, чтобы поддержать выдвинутые против них обвинения. Приписывая им

самые чудовищные преступления, он не принимал во внимание даже то очевидное для всех обстоятельство, что некоторые из обвиняемых были физически не в состоянии совершить эти преступления, поскольку находились в то время либо в тюрьме, либо в отдалённой ссылке. «Я требую, – прокричал Вышинский, заканчивая свою речь, – чтобы эти бешеные псы были расстреляны, все до одного!»

Утром 22 августа, на четвертый день процесса, каждый из подсудимых представил Молчанову проект своего «последнего слова». Эти проекты пошли на проверку к Ежову, который исключил из них в первую очередь все упоминания подсудимых об их близости к Ленину и об их заслугах перед революцией. Организаторы процесса не желали, чтобы старые большевики говорили на суде о своём доблестном прошлом, на фоне которого особенно давал себя знать фантастический характер нынешних обвинений. Вот почему в опубликованных материалах процесса не встречается упоминаний о том, что подсудимые в своё время участвовали в создании партии, советского государства, что они были в числе руководителей Октябрьской революции. Не упоминается даже о том, какие официальные должности занимали эти люди в годы советской власти, – в обвинительном заключении и в приговоре суда вместо этого каждая фамилия, сопровождается безликим словечком «служащий».

«Последние слова» подсудимых являются едва ли не самой драматичной частью всего процесса. В надежде уберечь от сталинского мщения свои семьи и тысячи своих сторонников они достигают здесь крайних пределов самоуничижения. Зная коварство Сталина, они стараются даже перевыполнить обязательства, выжатые из них на следствии, – лишь бы не дать Сталину хоть малейшего повода нарушить его собственное

обещание. Они клеймят себя как беспринципных бандитов и фашистов и тут же восхваляют Сталина, которого в душе считают узурпатором и изменником делу революции.

Первым выступил со своим «последним словом» Мрачковский. Вопреки предупреждению не упоминать на суде о своём революционном прошлом, он не смог сдержаться и начал с краткого изложения своей биографии. Ему нечего было стыдиться своего прошлого. Даже его дед был революционером – организатором знаменитого Южно-русского рабочего союза; отец и мать Мрачковского, оба заводские рабочие, отбывали в царское время тюремное заключение за революционную деятельность, а сам он был впервые арестован за распространение революционных листовок в возрасте тринадцати лет.

– А здесь, – с горькой иронией воскликнул Мрачковский, – я стою перед вами как контрреволюционер!

Судьи и прокурор обменялись тревожными взглядами и настороженно уставились на Мрачковского. Вышинский даже привстал, готовясь подать условный сигнал, который вызовет в зале заранее отрепетированный шум и крики и позволит лишить Мрачковского слова. Из глаз подсудимого брызнули слезы отчаяния. Не владея собой, Мрачковский со всего размаху ударил кулаком по барьеру, отгораживающему скамью подсудимых. Физическая боль помогла ему справиться с душевной слабостью и вновь овладеть собой.

Он объяснил, что упомянул о своём прошлом, о своих прежних революционных заслугах не для того, чтобы защитить себя, а чтобы всем стало ясно, что не только царский генерал, князь или дворянин может сделаться контрреволюционером, но и человек пролетарского происхождения, вроде него, если только хоть на йоту отклонится от генеральной линии партии.

Помню, что после этой фразы Мрачковского председательствующий Ульрих послал Вышинскому довольную улыбку, и тот, заметно успокоившись, опустился на стул.

С этого момента Мрачковский уже не отклонялся, от утвержденного текста. Он обвинял во всём Троцкого и оправдывал карательные меры, обрушенные Центральным комитетом партии на оппозицию.

Приближаясь к концу своего «последнего слова», Мрачковский окончательно распластался перед Сталиным: неожиданно для всех, в каком-то мазохистском возбуждении от случившегося с ним несчастья, он истерически выкрикнул: «Мы его вовремя не послушали – и он дал нам хороший урок! Какой он нам дал нагоняй!»

Мрачковский пустил в ход свой последний козырь – единственный, что ещё оставался у него. Он показал, что и в эту минуту всё ещё надеялся заслужить благосклонность Сталина.

Он хорошо знал, что ничем нельзя так угодить Сталину, как немудреным комплиментом: Сталин, дескать искусно расправляется со своими противниками. Надеясь, что на сей раз он выполнит своё обещание и не расстреляет его, Мрачковский в своём «последнем слове» не просил снисхождения, а, напротив, закончил так: «Я поступал, как изменник делу партии, и как изменник заслуживаю расстрела!»

Каменев в своём последнем слове повторил, что он признаёт все выдвинутые против него обвинения. Вместо того, чтобы сказать хоть что-нибудь в свою защиту, он пытался доказывать, что не заслуживает снисхождения. Кончив говорить и сев на место, он неожиданно поднялся вновь:

– Я хотел бы сказать несколько слов своим детям… У меня нет другой возможности обратиться к ним.

У меня двое детей: один – военный лётчик, другой – пионер. Стоя, быть может, одной ногой в могиле, я хочу им сказать: каким бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад. Идите вперёд. Вместе с советским народом следуйте за Сталиным.

Он снова сел, прикрыв глаза рукой. Все присутствующие были потрясены, и даже лица судей на миг утратили привычное выражение каменного безразличия.

Настала очередь говорить Зиновьеву. Трудно было узнать в нём прежнего блестящего оратора, так завораживавшего, бывало, слушателей на партийных съездах и конгрессах Коминтерна. Тяжело дыша, он начал говорить неуверенно и без всякого выражения. На аудиторию он не смотрел и не искал контакта с нею, как привык за долгие годы. Но прошло несколько минут – и, казалось, он обрел самообладание, его речь полилась плавно. Стоя у барьера и читая слова, написанные для него сталинскими инквизиторами, он напоминал первоклассного актёра, имитирующего ораторскую манеру прежнего Зиновьева, чтобы лучше вжиться в роль старого заслуженного большевика – в роль, согласно которой всё зиновьевское революционное прошлое было мифом, потому что в действительности Зиновьев всегда являлся врагом социализма и предателем.

Последнее его слово было составлено по тому же шаблону, что и у Каменева. Он тоже защищал не себя, а партию и Сталина. Закончил он маловразумительной фразой, явственно отдающей неуклюжим теоретизированием а сталинской манере: «Мой извращённый большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришёл к фашизму. Троцкизм – это разновидность фашизма, а зиновьевизм – это разновидность троцкизма…»

Рейнгольд, Пикель и три тайных агента НКВД – Ольберг, Фриц Давид и Берман-Юрин – также произнесли каждый своё «последнее слово». Все они, за исключением Ольберга, заверили суд, что считают для себя невозможным просить о снисхождении. Как и подобает фиктивным обвиняемым, они были уверены, что их жизням ничто не угрожает.

23 августа, в 7 часов 30 минут вечера, судьи удалились в совещательную комнату. Вскоре к ним присоединился Ягода. Текст приговора был заготовлен заранее; на его переписку требовалось часа два, не более. Однако судьи оставались в совещательной комнате целых семь часов. В 2 часа 30 минут ночи, то есть, значит, уже 24 августа, они вновь заняли места за судейским столом. В мёртвой тишине председательствующий Ульрих начал чтение приговора. Когда через четверть часа монотонного чтения он дошёл до его заключительной части, определявшей меру наказания подсудимым, во всех концах зала послышалось нервное покашливание. Выждав, пока восстановится тишина, председательствующий перечислил одного за другим всех обвиняемых и после долгой паузы закончил объявлением, что все они приговариваются к высшей мере наказания – смертной казни «через расстрел».

Сотрудники НКВД, которым был хорошо известен порядок проведения политических процессов, ожидали, что вслед за тем председательствующий произнесёт обычную в таких случаях формулу; «Однако, принимая во внимание прежние революционные заслуги подсудимых, суд считает возможным не применять к ним смертную казнь, а заменить её…»

Но этой привычной формулы не последовало. Каким бы чудовищным ни казался такой исход дела, смертный приговор был финалом процесса. Присутствующие осознали это тогда, когда Ульрих, не спеша,

начал засовывать бумагу, которую только что читал, в папку, лежавшую перед ним на столе.

В это мгновение тишину судебного зала прорезал истерический крик, почти визг: «Да здравствует дело Марксаэнгельсаленинасталина!» Кричал подсудимый Лурье – маленький человечек с взлохмаченной, непослушной шевелюрой, из-под которой угольками сверкали чёрные глаза.

По советским законам, лицам, приговорённым к смертной казни, предоставляется 72 часа для подачи просьбы о помиловании. Как правило, смертный приговор не приводится в исполнение, пока этот срок не истечёт, даже если в помиловании успели отказать до его окончания. Но в данном случае Сталин пренебрег этим правилом. Утром 25 августа, спустя сутки после оглашения приговора, московские газеты вышли уже с официальным сообщением о том, что приговор приведён в исполнение. Все шестнадцать подсудимых были расстреляны.

Сталин осознаёт свой промах

1

Итак, вопреки ожиданиям следователей НКВД, Сталин не довольствовался унижениями, каким подверглись на суде старые большевики, не отослал их обратно в тюрьмы и лагеря, сохранив жизнь. Не будет преувеличением сказать, что сотрудники НКВД были так же поражены казнью подсудимых, как и все остальные граждане советской страны.

Только инквизиторы вроде Чертока и Южного ходили с надменным видом героев, выполнивших свой гражданский долг. Остальные выглядели подавленными и избегали разговоров о состоявшемся процессе. Многие заказали железнодорожные билеты, стремясь поскорее отбыть в давно обещанный им отпуск. Однако их ожидало разочарование. В конце августа их созвали в Секретное политическое управление, где Молчанов ошеломил всех неожиданным объявлением: «В этом году вам придётся забыть об отпуске. Расследование не закончено: оно только началось!»

Молчанов сообщил собравшимся, что Политбюро доверило им подготовку второго судебного процесса, обвиняемыми на котором будут Радек, Серебряков, Сокольников и другие. Никто из следователей не посмел уклониться от нового задания, исходившего от Сталина. Правда, некоторые начали жаловаться, что их совершенно вымотали многомесячные интенсивные допросы обвиняемых и бессонные ночи, так что у них просто нет сил для ведения следствия по новому делу, Однако подобные жалобы никто не принял во внимание.

Кое-кто из следователей сделал попытку уклониться от нового задания, срочно обратившись в медицинскую часть НКВД с жалобами на действительные и

вымышленные недомогания, в расчёте получить бюллетень. Но эта лазейка скоро, была прикрыта.

Итак, в НКВД развернулась подготовка второго судебного процесса, на котором должна была фигурировать новая группа ленинских соратников.

А пока что Сталин, не моргнув глазом, совершил ещё один акт произвола. 1 сентября всё того же 1936 года он вызвал Ягоду и отдал распоряжение, которое заставило содрогнуться даже самых бездушных энкаведистов.

Прошло всего шесть дней после расстрела старых большевиков, которым Сталин, как мы помним, обещал сохранить жизнь. То же обещание он дал в отношении их сторонников, в прошлом участвовавших в оппозиции, а ныне отбывавших заключение в тюрьмах и лагерях. Теперь он велел Ягоде и Ежову отобрать из числа этих заключённых пять тысяч человек, отличавшихся в своё время наиболее активным участием в оппозиции, и тайно расстрелять их всех.

В истории СССР это был первый случай, когда массовая смертная казнь, причём даже без предъявления формальных обвинений, была применена к коммунистам. В дальнейшем, летом 1937 года, когда наркомом внутренних дел был уже Ежов, Сталин приказал ему подготовить второй список на пять тысяч других участников оппозиции, которые точно так же были расстреляны в массовом порядке. Не могу сказать, сколько раз повторялись такие акции, – вероятно, до тех пор, пока бывшая оппозиция не была уничтожена до последнего человека.

В конце 1936 года я уехал в Испанию, куда меня направили советником республиканского правительства. Находясь в Испании, я не мог непосредственно наблюдать, как шла подготовка второго и третьего судебных процессов, где подсудимыми являлись, как и на первом

процессе, старые большевики. Однако множество закулисных историй, связанных с этими процессами, дошло до меня через хорошо информированных сотрудников НКВД, которые выезжали по делам службы в Испанию и Францию.

Бывших партийных лидеров, фигурировавших на первом процессе, Сталин обвинил, как помнит читатель, только в террористической деятельности. Тогда ему казалось, что вполне достаточно одного этого обвинения. Во-первых, такое преступление, как террористический заговор против руководителей партии и правительства, вполне оправдывало вынесение смертных приговоров. Во-вторых, Сталин рассчитывал, что подобное обвинение будет выглядеть вполне правдоподобным и мировая общественность не усмотрит ничего невероятного в том, что политические лидеры, потерпев поражение, решились на такую крайнюю меру, чтобы вернуть власть, вырванную у них из рук.

Точно такими же рассуждениями Сталин руководствовался, планируя второй судебный процесс. В самом конце августа 1936 года следователи НКВД получили предписание добиться от Радека, Серебрякова, Сокольникова и ряда других арестованных признания, что они входили в так называемый «параллельный центр». Последний, всё по той, же сталинской версии, должен был начать террористическую деятельность, если б участники «троцкистско-зиновьевского террористического центра» во главе с Зиновьевым и Каменевым оказались арестованными, не успев реализовать свои преступные замыслы.

Такая версия позволяла следователям убедить своих подследственных, что они не будут расстреляны, поскольку в отличие от Зиновьева, Каменева и их товарищей по первому процессу они обвиняются не в подготовке каких-либо конкретных террористических

актов, а только в принадлежности к бездействовавшему «параллельному центру».

Однако эту установку, данную следователям, в один прекрасный день пришлось круто изменить. Руководство НКВД распорядилось прервать следствие впредь до получения новых инструкций. Следователи не знали, что и думать. Быть может, увидев, с какой насмешкой и с каким отвращением мир отнёсся к результатам первого из московских процессов, Сталин решил отказаться от подобных процессов? Однако спустя всего несколько дней следователи были созваны Молчановым на срочное совещание, где получили директиву, звучавшую бредом сумасшедшего: им было предписано добиваться от арестованных признаний, что они замышляли захватить власть с помощью двух иностранных держав – Германии и Японии – и реставрировать в СССР капитализм. Следователи не верили своим ушам. Если б не присутствие Ежова, который сидел как ни в чём не бывало, можно было бы сомневаться, не повредился ли Молчанов рассудком.

Итак, из членов относительно невинного «параллельного центра» обвиняемые должны были превратиться в агентов фашистской Германии. Учитывая, в каком невыгодном положении теперь окажутся следователи в отношении своих подследственных, Молчанов велел им поменяться подследственными. Таким образом, каждый из арестованных попадёт к новому следователю, не связанному теми разъяснениями или обещаниями, какие давал его предшественник.

Что же заставило Сталина так резко изменить первоначальную схему обвинений и приписать старым большевикам преступления, от которых за версту несло провокацией, настолько они были абсурдны?

Всё произошло очень обыденно. Сталин вернулся в Москву из отпуска и получил донесение Ягоды, из ко-

торого сделал вывод, что только что закончившийся процесс принёс ему больше вреда, чем пользы. Конечно, уничтожение Зиновьева, Каменева и Смирнова Сталин мог засчитать себе в актив. Но во всех других отношениях процесс выглядел сплошным провалом. Общественное мнение за рубежом отнеслось к нему как к нелепому спектаклю и расценило его просто как акт мести Сталина своим политическим противникам. Постепенно на глазах всего мира выявились грубые юридические натяжки и подтасовки, из которых наиболее позорной была история с несуществующей копенгагенской гостиницей «Бристоль». Главное же, этот процесс даже у советских трудящихся вызвал растущее сочувствие к расстрелянным деятелям и даже сожаление, что этим старым революционерам не удалось свергнуть сталинскую тиранию. В донесении Ягоды было сказано, что на стенах некоторых московских заводов появились такие надписи: «Долой убийцу вождей Октября!» «Жаль, что не прикончили грузинского гада!»

Всё это выглядело очень серьёзно. К тому же Сталина беспокоило ещё одно обстоятельство. Он знал, что со времён знаменитой террористической организации «Народная воля» идея революционного террора окружена в представлении русской молодёжи неким ореолом героизма и мученичества за «правое дело». Выдумав легенду, будто старые большевики считали необходимым убить его, Сталина, он сам подал массам мысль о революционном терроре. Он позволил зародиться в головах людей опаснейшей мысли о том, что даже ближайшие соратники Ленина увидели в терроре единственную возможность избавить страну от сталинской деспотии. Так или иначе, Сталину меньше всего хотелось, чтобы трудящимся массам СССР казнённые

большевики представлялись в том же ореоле, каким история окружила героев-народовольцев.

2

Как и в прошлом, руководители НКВД использовали при подготовке второго процесса ряд своих агентов, игравших роль «обвиняемых». Не могу сказать, сколько их было всего, назову двоих – Шестова и Граше.

В организованной структуре НКВД «секретный сотрудник» – а Шестов и Граше относились к числу именно секретных сотрудников – это специальный агент, который направлен на предприятие или в учреждение с заданием тайно собирать сведения о деятельности этого учреждения и о его работниках. Для маскировки секретный сотрудник НКВД занимает какую-нибудь легальную должность и обычно не вызывает у коллектива ни малейших подозрений.

Шестов был секретным сотрудником НКВД в Кузнецком угольном бассейне, расположенном в Западной Сибири. Один из руководителей Экономического управления говорил мне, что Шестов считался очень способным агентом, однако не слишком чистоплотным в денежных делах. Другой секретный сотрудник – Граше – занимал ответственную должность в отделе внешних сношений одного из московских химических главков. Официальной задачей Граше было приглашение иностранных специалистов и устройство их на работу в СССР. Его секретная деятельность заключалась главным образом в руководстве сетью тайных информаторов среди служащих своего главка и в наблюдении за иностранными специалистами с точки зрения государственной безопасности.

Экономическое управление НКВД считало Граше очень ценным сотрудником. Будучи по происхожде-

нию австрийцем, он свободно владел несколькими европейскими языками и легко заводил знакомства с иностранными инженерами. Некоторых из них он даже завербовал в тайные агенты НКВД. Как правило, они сохраняли свои связи с НКВД даже после возвращения из СССР на родину и снабжали тамошних резидентов советской разведки промышленными секретами своих фирм.

Как Шестов, так и Граше приняли, участие во втором из московских судебных процессов, считая, что выполняют ответственное задание НКВД и ЦК партии (в сущности так оно и было). Едва ли этим видным партийцам могло прийти в голову, что, будучи фиктивными обвиняемыми, они, тем не менее, окажутся приговорёнными к смертной казни и приговор будет приведён в исполнение.

Юрий Пятаков

1

Второй московский процесс, на котором оказалось семнадцать обвиняемых, состоялся в январе 1937 года. Главными фигурами среди обвиняемых были Пятаков, Серебряков, Радек и Сокольников.

Юрий Пятаков был одним из самых одарённых и самых уважаемых людей в большевистской партии. Когда произошла Октябрьская революция, ему было всего двадцать семь лет. Тем не менее за его плечами было уже двенадцать лет революционной деятельности. В 1918 году его старший брат Леонид, руководивший большевистским подпольем в Киеве, был схвачен гайдамаками и замучен. Именно после этого Юрий Пятаков попросил Ленина освободить его от обязанностей главного комиссара Государственного банка (эту должность он в то время занимал) и направить на Украину для участия в подпольной борьбе с Центральной Радой.

После того как на Украине победила революция, Пятаков сделался первым председателем украинского Совнаркома. В годы гражданской войны он стал одним из выдающихся организаторов Красной армии. Командовал 13-й, а затем 6-й армиями, а в дальнейшем был членом реввоенсовета 16-й армии, которая сражалась на польском фронте.

Но по-настоящему способности Пятакова проявились в области народнохозяйственного строительства. По окончании гражданской войны, когда самой острой для страны проблемой стала нехватка топлива, Ленин дал ему задание добиться резкого увеличения угледобычи в Донбассе. Пятаков блестяще выполнил это задание.

О том, сколь высоко Ленин ценил Пятакова, можно видеть хотя бы по тому, что он упоминается в его знаменитом «завещании», где всего-то перечислено шесть фамилий наиболее крупных партийных деятелей. В этом документе, где Ленин предостерег партию против сталинского засилья, он охарактеризовал Пятакова и Бухарина так: «Это, по-моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил)», а в отношении Пятакова добавил: «Пятаков – человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством…»

Со времени написания ленинского «завещания» до того часа, когда Пятаков появился в качестве подсудимого на втором московском процессе, прошло тринадцать лет. За эти годы он сделался государственным деятелем самого высокого ранга. Достаточно сказать, что именно ему страна в первую очередь была обязана успешным выполнением первой и второй пятилеток. Он был выдающимся организатором производства.

В 1931 году Пятаков был назначен заместителем наркома тяжёлой промышленности. Сталин держал его в «замах» лишь потому, что во второй половине 20-х годов Пятаков принимал активное участие в троцкистской оппозиции. В силу этого наркомом тяжёлой промышленности чисто формально был Серго Орджоникидзе – человек, не получивший образования и слабо разбиравшийся в сложных финансово-экономических вопросах. Среди «командиров социалистической индустрии» и партийных деятелей было, однако, известно, что фактическим руководителем тяжёлой промышленности и душой индустриализации является Пятаков. Орджоникидзе был достаточно умён, чтобы также признавать это. «Чего вы от меня хотите? – спрашивал он Пятакова. – Вы знаете, что я не инженер и не экономист. Если вам данный проект представляется

хорошим, я под этим тоже подпишусь обеими руками и вместе с вами буду бороться за него на заседании Политбюро!»

Да и отношение Сталина к Пятакову было, во всяком случае, более дружелюбно, чем к другим бывшим вожакам оппозиции. Сталин нуждался в Пятакове для осуществления программы индустриализации, которая была фундаментом так называемой «генеральной линии партии». А если Сталин в ком-нибудь до зарезу нуждался, он не выказывал своего истинного отношения к такому человеку, а, напротив, старался всячески ублажить его, – даже если знал, что, выжав из него всё, кончит тем, что перережет ему горло.

Сталину было известно, что Пятаков, отличавшийся особым аскетизмом, занимает вместе с семьёй две скромные комнатки в старом, запущенном доме в Гнездниковском переулке и что он вообще живёт на свою зарплату, не пользуясь никакими привилегиями. И вот однажды (дело происходило в 1931 году), когда Пятаков и его жена находились на службе, по поручению Сталина в его квартиру явились сотрудники управления делами Совнаркома и перевезли его сына и всё его скромное имущество в квартиру в новом доме – просторную и роскошно обставленную. Сталин всячески пытался приблизить к себе Пятакова, однако тот оставался равнодушным к сталинским заигрываниям. Пятаков порвал с оппозицией, но поносить своих вчерашних единомышленников и восхвалять Сталина упорно отказывался.

В разговорах с бывшими оппозиционерами Пятаков отвергал их упреки в том, что он переметнулся в сталинский лагерь, он говорил, что просто отошёл от политики. «Меня теперь интересует только одна вещь, – сказал он как-то группе видных оппозиционеров, – я должен быть уверен, что в государственной

казне достаточно денег!» (дело происходило в 1929 году, когда Пятаков был назначен председателем правления Госбанка). Сталину всё это было известно. Из донесения НКВД знал он и о том, что в разговоре с группой друзей Пятаков однажды высказался так: «Я не могу отрицать, что Сталин является посредственностью и что он не тот человек, который должен бы стоять во главе партии; но обстановка такова, что, если мы будем продолжать упорствовать в оппозиции Сталину, нам в конце концов придется оказаться в ещё худшем положении: наступит момент, когда мы будем вынуждены повиноваться какому-нибудь Кагановичу. А я лично никогда не соглашусь подчиняться Кагановичу!»

Таких оценок Сталин не прощал. Но он был терпелив и умел ждать. Ему приходилось запастись терпением на довольно длительное время, необходимое для индустриализации страны и подготовки кадров технических специалистов, которые были бы способны продолжать промышленную гонку. Сталин ждал восемь лет. К концу 1936 года он приказал Ягоде арестовать Пятакова.

Я был хорошо знаком с Пятаковым. Начало нашего знакомства относится к 1924 году, когда он возглавлял Главэкономсовет, а я был заместителем начальника Экономического управления ОГПУ и поддерживал постоянный контакт с ведомством Пятакова. Одновременно я являлся прокурором – членом секретной «Юридической комиссии», также возглавляемой Пятаковым. Эта комиссия была образована по решению Политбюро в том же 1924 году и занималась расследованием обвинений, выдвигаемых против руководителей промышленных главков. Комиссия должна была определять, следует ли направить дело того или иного руководителя в суд или же в интересах производства можно ограничиться дисциплинарными мерами.

Наиболее характерная черта Пятакова состояла в том, что у него не было личной жизни, он не принадлежал себе. Приезжая на службу к 11-ти утра, он, покидал свой рабочий кабинет в три часа ночи. Его рабочий день был так заполнен, что и обедал-то он не чаще двух-трёх раз в неделю. Из-за такой интенсивной работы и недостаточного питания Пятаков был худ и болезненно бледен. Долговязый, высокого роста, с редкой рыжеватой бородкой, он представлял собой нечто вроде российского варианта Дон Кихота. Я помню его в неизменно дешёвом плохо сшитом костюме. Он имел обыкновение покупать недорогие костюмы (которые были ему почему-то всегда малы) со слишком короткими рукавами и носить их по многу лет.

Когда Пятаков прибыл в Германию, где ему предстояло разместить советские заказы на пятьдесят миллионов марок, он занял самый дешёвый номер, какой только нашелся в гостинице. Директора немецких компаний, которые вели дела с Пятаковым, не могли взять в толк, почему такой влиятельный член советского правительства, к тому же распоряжавшийся столь крупными денежными суммами, одет хуже последнего служащего их собственных предприятий.

Пятаков был женат, но его семейная жизнь не удалась. Его жена, как и он сам, была членом партии; но это была неряшливая женщина, питавшая слабость к выпивке. О семье она почти не заботилась, и нередко случалось, что Пятаков, которому срочно надо было ехать в отдалённый район или за границу, отправлялся к своему секретарю Коле Москалёву, чтобы одолжить у него пару чистых сорочек. К огорчению москалёвской супруги, он часто забывал их возвращать. В последние годы Пятаков с женой практически разошлись, хотя и оставались добрыми друзьями. Их связывала любовь к

единственному сыну, которому ко времени суда над Пятаковым исполнилось всего десять лет.

Ближайший друг и помощник Пятакова Николай Москалёв был человеком исключительного обаяния. В 1937 году ему исполнилось тридцать пять лет, но к тому времени они уже лет пятнадцать проработали вместе. Москалёв обожал своего шефа и был к нему привязан настолько, что жена ревновала его к Пятакову и говорила о последнем с нескрываемым раздражением.

В деле Пятакова сотрудники НКВД, действуя с обычной для них бессовестной жестокостью, использовали против него жену и ближайшего друга. Этот метод вполне соответствовал сталинскому «стилю». Сделавшись после смерти Дзержинского фактическим руководителем НКВД, Сталин неоднократно внушал энкаведистам, что на обвиняемых сильнее всего действуют показания, данные их родными и близкими друзьями. Читатель помнит дело Смирнова – против него выступили его жена (Сафонова) и его ближайший друг – Мрачковский. Особо ценились показания жены против мужа, сына против отца, брата против брата, – не только потому, что это деморализовало арестованного и выбивало у него почву из-под ног. Сталин испытывал особое удовольствие от разрушения семьи политического противника и крушения его дружеских связей. Безусловно, он был непревзойдённым мастером любых видов личной мести.

«Органам» удалось очень быстро сломить сопротивление жены Пятакова. Она знала об «исчезновении» детей обвиняемых по делу «троцкистско-зиновьевского террористического центра» и была раздавлена страхом за судьбу своего сына. Так вот, чтобы спасти ему жизнь, она согласилась давать любые показания против мужа. У Коли Москалёва, секретаря Пятакова, была маленькая

дочь. Если бы он продолжал оставаться тем полуграмотным и наивным крестьянином, каким он когда-то переступил порог кабинета Пятакова, – он, скорее всего, отказался бы клеветать на своего начальника и друга. Но теперь у него за плечами был солидный политический опыт. Общаясь с секретарями других членов правительства, он многое узнал о нравах, царящих в Политбюро, и о характере тех, в чьих руках находится ныне, судьба народа. Он понимал, что раз уж Сталин решил участь Пятакова, НКВД будет выжимать из него, Москалёва, необходимые показания. С другой стороны, все эти показания являются пустой формальностью, потому что приговор Пятакову Сталин вынес задолго до ареста и суда. При всём этом Москалёв соблюдал осторожность. Он сказал Молчанову, что подпишет показания против Пятакова только в присутствии Агранова, которого знал лично (Агранов в то время был заместителем Ежова). Когда Агранов явился, Москалёв предупредил его, что он решил дать показания против Пятакова, подчиняясь партийной дисциплине, но сами эти показания представляют собой неправду.

Пятаков был исключительно принципиальным человеком и к тому же обладал проницательным умом и сильной волей, был бесстрашен. Я почти уверен, что если бы среди «второй волны» арестованных большевиков объявился человек, способный противостоять своим тюремщикам, то этим человеком был бы Пятаков. Поэтому меня очень удивило, что он сравнительно легко сдался. Как выяснилось, дело обстояло так.

В течение довольно длительного времени Пятаков вообще отказывался разговаривать со следователями. Однажды вечером в НКВД приехал Серго Орджоникидзе и выразил желание переговорить с Пятаковым. Ежова, к тому времени сменившего Ягоду, не было на

месте. Его заместитель Агранов, поколебавшись, позвонил во внутреннюю тюрьму и приказал доставить Пятакова к нему. Орджоникидзе двинулся навстречу вошедшему Пятакову, явно желая обнять его. Пятаков уклонился и отвёл его руки.

– Юрий! Я пришёл к тебе как друг! – воскликнул Орджоникидзе. – Я выдержал из-за тебя целый бой и не перестану за тебя бороться! Я говорил про тебя ему…

После этого вступления Орджоникидзе попросил Агранова оставить его вдвоём с Пятаковым. Их разговор продолжался с глазу на глаз.

Вёл ли Орджоникидзе коварную игру с Пятаковым под давлением Сталина, или был искренен? Последующий ход событий должен был дать ответ на этот вопрос.

Я знал Орджоникидзе по совместной работе в Тифлисе, ещё с 1926 года, когда я командовал погранвойсками Закавказья, а он был секретарём ЦК Закавказской федерации советских республик (ЗСФСР). Мне было нетрудно представить себе, как экспансивный Орджоникидзе, всё более возбуждаясь и жестикулируя, рассказывает Пятакову, какой «бой» он выдержал из-за него, как упрашивал Сталина не вовлекать Пятакова в готовящийся процесс…

Спустя несколько дней Орджоникидзе снова появился в здании НКВД и опять был оставлен вдвоём с Пятаковым. На этот раз, перед тем как уйти, Орджоникидзе в присутствии Пятакова сообщил Агранову сталинское распоряжение: исключить из числа участников будущего процесса жену Пятакова и его личного секретаря Москалёва. Их не следует вызывать в суд даже в качестве свидетелей. Стало яснее ясного, что самому Пятакову Орджоникидзе посоветовал уступить требованию Сталина и принять участие в жульническом

судебном процессе, – разумеется, в качестве подсудимого. Но для меня оставалось несомненным, что Орджоникидзе при этом лично гарантировал Пятакову: смертный приговор ему вынесен не будет.

Поверил ли Пятаков Орджоникидзе? Я убеждён, что поверил. Пятаков знал, что Орджоникидзе в отличие от Сталина был верен дружбе, по крайней мере, в тех случаях, когда друг не представлял собой соперника в борьбе за власть. Он также знал, что Орджоникидзе, образование которого исчерпывалось фельдшерскими курсами, не мог без его помощи руководить промышленностью. Уже хотя бы из чистого эгоизма Орджоникидзе должен был бороться за сохранение жизни Пятакова, обеспечивая себе советника и помощника на будущее. Едва ли Пятаков догадывался, что Орджоникидзе, быть может, сам того не подозревая, выступал в провокационной роли сталинского ставленника. Он был одним из самых влиятельных членов Политбюро. Сталин мог требовать от него покорности при решении важных государственных вопросов, но едва ли мог принудить его играть презренную роль пешки-провокатора. В общем Пятаков вполне мог думать, что его положение лучше, чем у других обвиняемых. Ведь ему протежировал сталинский близкий друг и земляк.

Итак, Пятаков, по-видимому, решил довериться Орджоникидзе. Он подписал ложное признание, в котором подтверждал, что, воспользовавшись поездкой в Берлин в декабре 1935 года, написал оттуда письмо Троцкому, находившемуся тогда в Норвегии. Пятаков якобы испрашивал директив Троцкого об оказании финансовой поддержки заговорщикам внутри СССР. Далее он подтвердил, что получил ответ Троцкого: тот якобы сообщал, что им достигнуто соглашение с германским, нацистским правительством. По этому соглашению немцы обязались вступить в войну с

Советским Союзом и помочь Троцкому захватить власть в СССР. За это Троцкий обещал отдать немцам территорию Украины и предоставить ряд экономических уступок. В связи с этим соглашением Троцкий якобы требовал в письме к Пятакову, чтобы антисоветское подполье усилило свою вредительскую деятельность в промышленности.

Слушая на совещании в Кремле доклад о признаниях, сделанных Пятаковым, Сталин спросил: не лучше ли написать в обвинительном заключении, что Пятаков получил директивы Троцкого не по почте, а во время личной встречи с ним? Так родилась легенда о том, как Пятаков летал в Норвегию на свидание с Троцким. Чтобы версия была более убедительной, Сталин распорядился: пусть начальник Иностранного управления НКВД Слуцкий разработает схему путешествия Пятакова из Берлина в Норвегию, с учётом расписания поездов Берлин – Осло.

Когда мы со Слуцким встретились в Париже, в санатории профессора Бержере (это произошло в феврале 1937 года), он рассказал мне, что случилось на следующем кремлёвском совещании по делу Пятакова.

Слуцкий доложил Сталину, что собранные им данные не позволяют принять версию о личной поездке Пятакова в Норвегию. Дело в том, что по действующему расписанию путешествие Пятакова в Осло, учитывая время, необходимое, чтобы добраться из Осло в Вексаль, где жил Троцкий, и побеседовать с ним, займёт минимум двое суток. Было бы очень опасно утверждать, что Пятаков исчезал из Берлина на столь продолжительное время: по данным советского торгпредства в Берлине, он ежедневно проводил там совещания с представителями различных немецких фирм и чуть ли не каждый день подписывал с ними контракты.

Сталин был недоволен докладом Слуцкого и, не дождавшись изложения всех минусов обсуждаемой легенды, возразил: «Может быть, то, что вы говорите насчёт расписания поездов, действительно верно. Однако Пятаков мог ведь слетать в Осло и на самолёте? Полёт туда и обратно, наверное, можно совершить за одну ночь?»

Слуцкий заметил, что самолёт (не забудем, что полёт должен был относиться к 1935 году) берёт очень мало пассажиров и фамилия каждого из них записывается в журнал авиакомпании. Но Сталин уже принял решение: «Надо указать, что Пятаков летал на специальном самолёте. Для такого дела германские власти охотно дали бы самолёт!»

Слуцкий, любивший хвастаться, что ему часто приходится разговаривать со Сталиным, рассказал мне об этом совещании под большим секретом. Впрочем, через несколько дней я узнал, что то же самое он рассказал резиденту НКВД во Франции, тоже под большим секретом, однако в присутствии ещё одного сотрудника Иностранного управления.

Показания, подписанные Пятаковым, пришлось соответственно переписать, исключив из них письмо, якобы пришедшее от Троцкого. Версия насчёт указаний, полученных от Троцкого, несколько усложнилась. Согласно новой версии, оглашённой на суде, в середине декабря 1935 года Пятаков приземлился на аэродроме под Осло и, пройдя официальную проверку документов, отправился на машине к Троцкому, с которым и вёл переговоры. Они обсуждали план свержения сталинского режима и захвата власти с помощью немецких штыков.

Горький опыт предыдущего процесса, когда была упомянута несуществующая гостиница «Бристоль», заставил организаторов нового процесса предостеречь

Пятакова от «излишних подробностей». Пятаков не должен был говорить, под каким именем он совершил путешествие в Норвегию и получал ли он въездную визу. В остальном как будто было всё в порядке: Пятаков вполне мог слетать за одну ночь в Осло и обратно, и самый придирчивый скептик не имел возможности проверить, действительно ли одиночный самолёт появлялся над Норвегией под покровом декабрьской ночи.

И тем не менее Сталина ждал жестокий удар.

25 января 1937 года, всего через два дня после того, как Пятаков изложил суду всю эту историю, в норвежской газете «Афтенпостен» появилась такая заметка:

СОВЕЩАНИЕ ПЯТАКОВА С ТРОЦКИМ В ОСЛО ВЫГЛЯДИТ СОВЕРШЕННО НЕПРАВДОПОДОБНЫМ

…Он будто бы прибыл на самолёте на аэродром Хеллер. Однако персонал этого аэродрома утверждает, что никакие гражданские самолёты в декабре 1935 года там не приземлялись…

Это сообщение застало Сталина и его помощников врасплох. Надо было срочно что-то предпринять. Но что? Объявить, что самолёт сел не на аэродром Хеллер, а на какой-нибудь другой? Однако было известно, что в окрестностях Осло только этот аэродром принимал гражданские самолёты. Внушить Пятакову, что он вообще не нуждался в аэродроме, а сел в пределах акватории ближайшего порта, тоже было поздно: ведь стартовал он якобы с берлинского сухопутного аэродрома Темпельгоф.

Чтобы как-то ослабить впечатление, произведённое заметкой в «Афтенпостен», Вышинский предъявил суду официальную справку консульского отдела народного комиссариата иностранных дел СССР, где говорилось:

«…аэродром в Хеллере, около Осло, принимает круглый год, согласно международным правилам, аэропланы других стран, прилёт и отлёт аэропланов возможны и в зимние месяцы».

Таким образом, вместо того чтобы ответить на категорическое утверждение норвежской газеты, Вышинский наводит тень на ясный день и вводит в игру столь слабый козырь, как констатацию возможности аэродрома в Хеллере вообще принимать самолёты зимой.

Вдобавок исходило это даже не от официальных норвежских властей, чья точка зрения могла бы считаться беспристрастной, и не от администрации аэродрома Хеллер, а всего лишь от консульского отдела народного комиссариата иностранных дел в Москве, выдавшего такую жалкую справку…

Как и следовало ожидать, на этом дело не кончилось. 29 января уже другая норвежская газета – «Арбейдербладет», орган правящей социал-демократической партии, – опубликовала ещё одно сообщение:

«Сегодня, в ответ на запрос корреспондента газеты „Арбейдербладет“, управляющий аэродромом в Хеллере Гулликсен сообщил по телефону, что в декабре 1935 года там не приземлялись никакие иностранные самолёты».

Далее в том же сообщении говорилось, что, согласно официальному журналу полётов, за период между сентябрём 1935 года и 1 мая 1936 года на аэродроме в Хеллере совершил посадку один-единственный самолёт.

Излишне добавлять, что это, конечно, не был самолёт, доставивший Пятакова.

Сталин и Вышинский ещё раз попались с поличным как фальсификаторы.

Не теряя времени, в спор включился Троцкий. Он через посредство мировой прессы предложил Вышин-

скому спросить Пятакова, какого числа тот вылетел из Берлина в Осло, получал ли он визу на право въезда в Норвегию и, если получал, то на чьё имя.

Троцкий просил московский суд использовать официальные каналы сношений с норвежским правительством для проверки правдивости показаний Пятакова.

«Если выяснится, – заявил Троцкий, – что Пятаков действительно побывал у меня, значит, я окажусь безнадёжно скомпрометирован. Если же, напротив, я смогу доказать, что история нашей встречи вымышлена от начала до конца, – полной дискредитации подвергнется вся система „добровольных признаний“ обвиняемых. Показания Пятакова должны быть проверены немедленно, пока он ещё не расстрелян».

Вышинский как прокурор обязан был проверить правдивость показаний Пятакова и без вмешательства Троцкого. Однако он не мог этого сделать: не для того готовил он вместе с другими судебный фарс, чтобы затем разоблачить его.

Когда Троцкий увидел, что организаторы судебного процесса не собираются что бы то ни было проверять и готовы продолжать своё дело, не считаясь с общественным мнением, он решился на отчаянный шаг: бросил вызов советскому правительству, написав в Москву, чтобы оттуда потребовали его выдачи Советскому Союзу для предания суду в качестве сообщника Пятакова и других обвиняемых.

Бросая такой вызов, Троцкий ставил на карту собственную жизнь. Правительство маленькой Норвегии едва ли смогло бы отклонить подобное требование своего могучего соседа, тем более Троцкий сам поднял вопрос о его выдаче. Но всё дело в том, что Сталин боялся выдачи Троцкого, ибо знал, что, согласно закону, сначала норвежский суд должен будет проверить

обвинения, выдвинутые против Троцкого, и досконально расследовать историю с полётом Пятакова в Осло, а может быть, заодно и скандальный эпизод, связанный с гостиницей «Бристоль». Сталин, разумеется, не мог допустить, чтобы его фальшивки были представлены на беспристрастный норвежский суд. Более выгодным было требовать не выдачи Троцкого Советскому Союзу, а подослать к нему тайных агентов, которые могли бы заставить его замолчать раз и навсегда.

Пятаков добросовестно выполнил свои обязательства. Болезненно переживая публичный позор и черня своё героическое прошлое, он надеялся ценой таких унижений спасти жизнь близким – жене и ребёнку.

Ему, как и другим подсудимым, было предоставлено «последнее слово», прежде чем суд удалился на совещание для вынесения приговора. Из его краткого выступления мне врезались в память следующие слова, сказанные с трагической проникновенностью:

– Любое наказание, которое вынесет суд, – сказал Пятаков, – будет для меня легче самого факта признания… В ближайшие часы вы произнесёте свой приговор; и вот я стою перед вами в грязи… потерявший свою партию, свою семью, самого себя.

30 января 1937 года военное ведомство Верховного суда приговорило тринадцать из семнадцати подсудимых к смертной казни. Все тринадцать, в том числе Пятаков, Серебряков и другие ближайшие сотрудники Ленина, были расстреляны в подвалах НКВД.

2

Спустя три недели после расстрела Пятакова газеты сообщили, что народный комиссар тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе, которому было всего пятьдесят лет, внезапно умер от сердечного приступа.

Орджоникидзе похоронили с большими почестями. ЦК обязал партийные организации по всей стране провести траурные заседания и должным образом оплакать смерть «железного наркома, верного соратника товарища Сталина».

Прошло около двух месяцев и в Испанию с дипломатической почтой прибыл новый дипкурьер, работавший до того в Специальном управлении НКВД, – здоровенный парень с нахальной физиономией и растрепанной копной рыжих волос. В Испании он повстречал старого приятеля, который был в моём подчинении. И вот как-то мой подчинённый зашёл ко мне и с таинственным видом сообщил, что новый дипкурьер рассказывает какие-то странные истории. Например, будто Особое управление НКВД имеет сведения, что корреспондент «Правды» Михаил Кольцов, тоже находившийся в это время в Испании, «продался англичанам» и снабжает секретной информацией о Советском Союзе лорда Бивербрука. Или: будто бы Серго Орджоникидзе умер не своей смертью, а был ликвидирован.

Сплетня относительно Михаила Кольцова, моего близкого знакомого, очень не понравилась мне. Это, конечно, не значило, что я не верил сообщению, якобы НКВД имеет какие-то особые сведения о нём. НКВД – это нечто вроде гигантского почтового ящика, куда любая безответственная личность могла направить любые безответственные измышления. Что же касается слухов о будто бы насильственной смерти Орджоникидзе, то они мне показались обычной сплетней, хотя после того, что случилось с Кировым, казалось, я должен был больше доверять слухам такого рода. Однако в этот период (дело было весной 1937 года) Сталин ещё не приступил к массовому уничтожению преданных ему сподвижников и трудно было вообразить, что он

способен убить своего близкого друга – последнего остававшегося в Кремле человека, с которым он мог поговорить на родном грузинском языке.

В октябре 1937 года в Испанию наведался Шпигельгляс, заместитель начальника Иностранного управления НКВД. Перед этим, летом, в Москве произошли сенсационные события. Начиная с мая среди самых верных сподвижников Сталина происходили всё новые и совершенно необъяснимые аресты. Арестованные никогда не принимали участия ни в какой политической оппозиции. Не проходило дня, чтобы в Москве или других городах бесследно не пропали виднейшие деятели страны – наркомы, председатели верховных советов союзных республик, секретари обкомов партии, крупнейшие военачальники. Двое членов правительства, считавшиеся сталинскими фаворитами, исчезли в Москве по дороге из дому на службу. Они сгинули вместе со своими автомобилями и личными шоферами. Тайные аресты начались даже среди руководителей НКВД!

Шпигельгляс был буквально нашпигован подобными историями. Ему и самому позволили съездить за границу только потому, что в Москве у него оставались заложники – жена и дочь. Из его рассказов мне стало ясно, что он серьёзно опасается за свою жизнь. Подобные рассказы мне приходилось слышать и раньше, но Шпигельгляс благодаря своему положению в НКВД знал больше других.

Судя по всему, Шпигельгляс завидовал мне – ведь я находился за границей вместе с семьёй, вдали от разразившейся вакханалии арестов и казней. Много раз он признавался, что хотел бы получить назначение на работу в Испанию. Видя, что я никак не реагирую на эти намеки, он как-то раз прямо заявил, что не прочь бы стать моим заместителем, лишь бы только я согласился

взять инициативу на себя и попросить Москву о его переводе сюда. Было совершенно ясно, что он смотрит на Испанию, охваченную гражданской войной, как на идеальное прибежище, где можно переждать бурю, бушующую в СССР.

Однажды, когда мы ехали с ним в машине из Валенсии в Барселону, он вновь заговорил о массовых арестах и рассказал, между прочим, о самоубийстве ряда видных сотрудников НКВД, которых мы оба хорошо знали. Он перечислял фамилии крупнейших деятелей, исчезнувших за последние месяцы, и неожиданно произнёс: «Они прикончили также и Орджоникидзе!»

Услышав это, я вздрогнул. Хотя Шпигельгляс только подтвердил слух, дошедший к нам через дипкурьера, у меня невольно вырвалось: «Не может быть!»

– Это точно, – возразил Шпигельгляс. – Я знаю подробности этого дела. У Орджоникидзе тоже текла в жилах кавказская кровь – вот он и поссорился с хозяином. Нашла коса на камень. Всё из-за Пятакова…

Карл Радек

Среди самых известных деятелей, оказавшихся на скамье подсудимых во время второго московского процесса, был Карл Радек. В кругах большевистской «старой гвардии» он, впрочем, не пользовался особым уважением. Во-первых, вероятно, потому что принимал весьма скромное участие в революции и гражданской войне. Во-вторых, старые большевики считали его не особенно серьёзным человеком. Хотя он и вращался в среде выдающихся деятелей нашей эпохи, ни для кого не было секретом, что ему присущи чрезмерная болтливость, склонность к хвастовству и нелепому фиглярничанью.

В речах и докладах он имел обыкновение удаляться от темы и разглагольствовать о своей персоне. При этом в погоне за популярностью он начинал потешать аудиторию неуместными шутками не всегда приличного свойства. Эти дешёвые приёмы, впрочем, снискали ему популярность, однако не среди партийной верхушки, а в кругах молодых партийцев и комсомольцев.

При всём том Радек отнюдь не был обделён способностями. Он был блестяще начитанным и хорошо информированным человеком, способным при необходимости извлечь из памяти массу сведений о любой стране, партии, событии или политическом деятеле. Он считался выдающимся специалистом в области международных отношений, и члены Политбюро нередко пользовались его консультациями по вопросам внешней политики. В партии был широко известен и тот факт, что в 1919 году Радек предостерегал Ленина от похода на Польшу и предсказывал, что в случае нападения советской России весь польский народ, не исключая и рабочих, поднимется на защиту своего отечества и Красная армия потерпит поражение. Предсказание Радека оказалось верным, и Ленин позднее

сам признавал, что Политбюро допустило грубую ошибку, не прислушавшись к блестящему анализу ситуации, данному Радеком.

Однако подлинный талант Радек проявил в области журналистики. Сохранив в разговоре сильный иностранный акцент, он научился писать по-русски с редким совершенством. И всё же Ленин не считал возможным доверить ему действительно крупный пост в государстве, например назначить его народным комиссаром или секретарём какого-нибудь важного обкома. Дело в том, что Радек не был способен к усидчивой, планомерной работе, а его экспансивность мешала ему удержаться от разглашения государственных и партийных тайн. В ряде случаев, когда предполагалось обсуждение особо секретных вопросов, Ленин даже считал нужным скрывать от Радека день и час заседания Политбюро. Все эти соображения заставляли ЦК использовать его главным образом как талантливого журналиста и назначать на различные должности, связанные с Коминтерном.

Когда в партии образовалась так называемая левая оппозиция, Радек после некоторых колебаний примкнул к Троцкому. После разгрома оппозиции, в конце 1927 года, ему пришлось отправиться в сибирскую ссылку. Оттуда он разразился едкими письмами и заявлениями, направленными против сталинской политики и призывавшими оппозиционеров «держаться твёрдо». Когда Зиновьев и Каменев капитулировали перед Сталиным, Радек писал (дело было в 1928 году): «Совершив насилие над своими убеждениями, они отреклись. Невозможно служить рабочему классу, исповедуя ложь. Те, кто остался, должны сказать правду».

Но самому Радеку недолго довелось «говорить правду». Проведя в Сибири полтора года и сообразив, что его ссылка может стать вообще бессрочной, Радек

решил переметнуться в сталинский лагерь и таким путём обрести свободу.

Тем, кто проявил готовность сдаться раньше, были поставлены относительно мягкие условия капитуляции. Единственно, что от них требовалось, – это подписать декларацию, где было бы сказано, что они отклонились от настоящей большевистской линии и что сталинская политическая линия была верна. Радек, капитулировавший значительно позже Зиновьева с Каменевым, был поставлен перед необходимостью принять более суровые условия: помимо заявления о раскаянии, он взял на себя обязательство вести пропаганду, направленную против оппозиции. С этого времени Радек поставил своё перо на службу Сталину, всеми силами стремясь войти к нему в доверие и восстановить своё прежнее положение в партии.

Ещё так недавно, находясь в Сибири, Радек писал в адрес ЦК о Троцком (в ту пору находившемся в алма-атинской ссылке):

«Мы не можем оставаться безгласными и пассивными, видя, как малярийная лихорадка сжигает бойца, который всю свою жизнь посвятил рабочему классу и был мечом Октябрьской революции».

Прошло не более года – и тот же самый Радек, стремясь заслужить благосклонность Сталина, начал поливать Троцкого грязью и клеймить его как изменника делу революции и отступника от коммунизма. Вплоть до судебного процесса 1937 года Радек оставался верным сталинским помощником в организации непрекращающейся клеветнической кампании против Троцкого.

В 1929 году, вскоре после возвращения Радека из ссылки в Москву, к нему домой зашёл сотрудник Иностранного управления НКВД Яков Блюмкин. Радек был знаком с ним со времён гражданской войны. Пола-

гая что, несмотря на капитуляцию перед Сталиным, Радек в душе остался искренним и неподкупным революционером Блюмкин сообщил ему, что только что им получено служебное задание, требующее выезда в Турцию. Там он рассчитывает встретиться с Троцким (к тому времени высланным из СССР) и переговорить с ним.

Радек быстро сообразил, что сама судьба предоставила ему редкую возможность доказать преданность Сталину и одним махом восстановить своё былое положение в партии. Как только Блюмкин ушёл, Радек помчался в Кремль и передал Сталину всё, что узнал от Блюмкина. Сталина встревожил тот факт, что даже в НКВД находятся люди, готовые рисковать своей головой ради Троцкого. Он тотчас вызвал Ягоду и приказал ему установить тщательное наблюдение за Блюмкиным, чтобы узнать, с кем из вожаков оппозиции он встретится до отъезда. Таким путём Сталин надеялся поймать в ловушку тех ведущих участников оппозиции, кто формально отрёкся от своих взглядов, обвинить их в двурушничестве и снова отправить в Сибирь.

Ягода не был уверен, что его агентам удастся слежка за таким опытным сотрудником разведки, как Блюмкин. Он решил получить информацию, требующуюся Сталину, иным путём. Обсуждая полученное задание с начальником Иностранного управления, Ягода вызвал в свой кабинет сотрудницу этого управления, некую Лизу Г., красивую молодую женщину, которой Блюмкин одно время оказывал усиленные знаки внимания, и попросил её быть с Блюмкиным поласковее и, изображая разочарование в официальной политике партии, вести себя так, словно она сочувствует троцкистской оппозиции. Ягода надеялся, что, сблизившись с Блюмкиным, Лиза Г. сможет узнать от него о планах его свидания с Троцким и о том, с кем из бывших лидеров

оппозиции Блюмкин рассчитывает встретиться после этого свидания. Лизе дали понять, что в интересах партии ей следует отбросить всяческие буржуазные предрассудки и попытаться вступить в интимную связь с Блюмкиным.

Не отличавшийся особой щепетильностью Блюмкин не оттолкнул молодую женщину, открывшую ему душу. Однако, несмотря на «вспыхнувшую» страсть, он ничего не рассказывал ей ни о Троцком, ни о ком-либо другом из оппозиционной верхушки. Сыщики, следовавшие за ним по пятам, отражали в сводках каждый его шаг, включая интимные свидания с Лизой Г., но так и не засекли ни одной его встречи с вожаками оппозиции.

Роман Лизы Г. с Блюмкиным продолжался три недели. После этого, поскольку он не принёс Ягоде ожидаемой информации, тот приказал Иностранному управлению «направить» его наконец в Турцию, однако по дороге на вокзал арестовать – так, чтобы он не успел даже выбраться из Москвы. Лиза Г., как и следовало ожидать, провожала его на вокзал. Машина, в которой они ехали, была задержана, и Блюмкин доставлен в тюрьму. На допросах он держался с поразительным достоинством и смело пошёл на расстрел. В последний момент перед тем, как его жизнь оборвалась, он успел крикнуть: «Да здравствует Троцкий!»

Вскоре «органам» стало известно, что о предательстве Радека и обстоятельствах ареста Блюмкина какимто образом дознались лидеры оппозиции. Специальное расследование, проведённое по приказу Ягоды, позволило установить, что они получили эти сведения от сотрудника Секретного политического управления Рабиновича, втайне разделявшего взгляды оппозиционеров. Рабинович был тоже расстрелян без суда.

Обо всём происшедшем узнал также и Троцкий в своём турецком изгнании. Вина Радека по своей тяжести была равносильна тому, если бы он сделался агентом-провокатором советских карательных органов. Путь в оппозицию был для него отрезан, и ему не оставалось ничего другого, как навсегда связать свою судьбу со Сталиным.

Тайный расстрел Блюмкина, относящийся к 1929 году, произвёл тяжёлое впечатление на всех, кто узнал об этом деле. В истории СССР это был первый случай расстрела члена большевистской партии за сочувствие оппозиции. Старые большевики – даже те из них, кто никогда не имел ничего общего с оппозицией, – начали бойкотировать Радека и перестали с ним здороваться. Неприязненное отношение прежних товарищей только тесней привязало Радека к сталинскому блоку. В общем, санкционировав расстрел Блюмкина, Сталин превратил Радека в своего покорного раба.

Из-под его пера теперь выходили самые беспринципные обвинения и ядовитые инвективы, направленные против Троцкого. Уже в 1929 году, за семь лет до начала московских процессов, Радек в своих публичных выступлениях называл Троцкого Иудой и обвинял его в том, что он сделался «прихвостнем лорда Бивербрука». Поток этой брани и клеветы с годами усиливался буквально в геометрической прогрессии.

Усердие Радека принесло свои плоды: он вновь получил доступ в Кремль (ему даже выдали туда постоянный пропуск), начал заглядывать в кабинет Сталина и даже на его дачу. Позднее, на суде, он оценит этот период своей жизни словами, обращёнными к государственному обвинителю: «Я оказался в опасной близости к власти».

В 1933 году Радек в свойственной ему блестящей литературной манере написал небольшую книжку под

названием «Зодчий социалистического общества». Он совершил в ней фантастический скачок в будущее и, как бы глядя оттуда глазами грядущих поколений, изобразил ретроспективно образ Сталина. Эта весьма оригинальная работа была написана Радеком в форме лекции, которую будто бы читает в начале последней трети XX века некий знаменитый историк. Лекция посвящена великому Сталину – гению, который преобразовал человеческое общество.

Радек видел, с какой неиссякающей энергией Сталин фальсифицирует из года в год историю революции, чтобы сфабриковать себе героическую биографию вождя Октября и победоносного стратега гражданской войны. Он понимал, что Сталин, как и всякий фальсификатор, в глубине души полон опасений. Как бы ловко он ни манипулировал историческими архивами, уничтожая документы и ликвидируя живых свидетелей и участников революции, – нельзя было поручиться, что не найдутся беспристрастные историки, которые смогут отделить вымысел от действительных фактов. В глубине души Сталин не мог не опасаться приговора истории. Поэтому Радек и решил предпринять фантастический экскурс в будущее и дать Сталину возможность ещё при жизни увидеть собственное отражение в зеркале истории. Надо сказать, что Радек успешно выполнил задачу, за которую взялся. В «Зодчем социалистического общества» он с ловкостью фокусника приподнял перед Сталиным непроницаемую завесу будущего и позволил ему насладиться собственным величественным образом, перед которым бледнели образы великих мужей прошлого.

Сталин, которому уже набили оскомину однообразные хвалебные оды в его честь, наводнившие советскую литературу и прессу, был весьма польщён, познакомившись с оригинальным произведением Ра-

дека. Он распорядился опубликовать его громадным тиражом и велел отделу пропаганды ЦК проследить, чтобы оно было проработано в каждой партийной ячейке по всей стране.

Звезда Радека снова засияла. Он был назначен главным редактором «Известий» и советником Политбюро по вопросам внешней политики. Аппарату ЦК было предписано всячески популяризировать имя Радека и организовать цикл его лекций, посвящённых проблемам международных отношений. Эти лекции были затем опубликованы в виде брошюр и распространены в сотнях тысяч экземпляров. Ягода, в 1927 году лично арестовывавший Радека, теперь обращался к нему с преувеличенной вежливостью и почтительно именовал Карлом Бернгардовичем. Кто-то из старых большевиков в разговоре со мной иронически заметил: «Посмотрите-ка на Радека! Если б не его оппозиционное прошлое, ему бы не видать такой карьеры!»

А в 1936 году Сталин – после всего, что Радек для него сделал, – распорядился не только арестовать его, но и представить на судебном процессе как ближайшего приспешника Троцкого. Это не умещалось у меня в голове. Быть может, сталинские поступки объяснялись его неумением забывать старые обиды? Это было бы слишком однобокое объяснение. На мой взгляд, Сталин решил избавиться от Радека скорее всего потому, что держался всё той же своей генеральной линии: ликвидировать всех, кто принадлежал к старой гвардии.

Арестованный Радек не мог прийти в себя от негодования: «После всего, что я сделал для Сталина, – такая с его стороны несправедливость!» Радек умолял дать ему возможность поговорить со Сталиным, однако ему отказали; тогда он написал ему большое письмо, но и оно осталось без ответа.

Видя, что попытка пробудить в Сталине совесть осталась безрезультатной, Радек сосредоточил свои усилия на другой идее: убедить следователей, что в их же собственных интересах – исключить его из числа участников судебного процесса. Его аргументам нельзя было отказать в логике: после всего того, что он говорил и писал о Троцком, смешно изображать его близким другом и соучастником последнего. Руководители НКВД понимали, конечно, что Радек прав, но «хозяин» хотел видеть Радека на суде в качестве обвиняемого, и им оставалось лишь исполнить его прихоть.

Радек не отличался сильной волей, однако чувство горькой обиды придало ему упрямства. Над Радеком работала целая бригада следователей, включая Бермана и Кедрина-младшего; они допрашивали его, пользуясь методом так называемого «конвейера», он всем на удивление, держался. Он терпеливо сносил оскорбления, какими осыпали его следователи, и не мог стерпеть лишь одного: кто-то из следователей лицемерно и методично заявлял ему, будто он убеждён, что Радек являлся секретным представителем Троцкого в СССР. С этим следователем он отказывался разговаривать.

В феврале 1937 года начальник Иностранного управления НКВД рассказал мне о на редкость пикантной сцене, разыгравшейся между Радеком и начальником Секретного политического управления Молчановым.

Однажды ночью, допрашивая Радека, Молчанов довел его до крайнего озлобления. Не в силах более сдерживаться, Радек ударил по столу кулаком и решительно объявил:

– Ладно! Я согласен сейчас же подписать всё что угодно. И признать, что я хотел убить всех членов Политбюро и посадить на кремлёвский престол Гитлера. Но к своим признаниям я хочу добавить одну неболь-

шую деталь, – что, кроме тех сообщников, которых вы мне навязали, я имел ещё одного, по фамилии… Молчанов… Да, да, Молчанов! – истерически закричал Радек. – Если вы считаете, что необходимо кем-то пожертвовать для блага партии, то пусть мы пожертвуем собой вместе!

Молчанов побледнел как полотно.

– И знаете, что я думаю? – продолжал Радек, наслаждаясь его замешательством. – Я думаю, что, если я всерьёз предложу это условие Ежову, он его охотно примет. Что для Ежова судьба какого-то там Молчанова, когда дело идёт об интересах партии! Чтобы заполучить на суд одного такого, как Радек, он без разговора подкинет дюжину таких Молчановых!

Когда руководители НКВД убедились, что подготовка Радека к судебному процессу непозволительно затягивается, они потребовали от другого обвиняемого – Григория Сокольникова, бывшего посла в Англии – повлиять на Радека. Сокольников, который капитулировал уже давно, опасаясь за жизнь молодой жены и двадцатитрёхлетнего сына от первого брака, согласился поговорить с Радеком. Разговор состоялся в присутствии следователя и в дальнейшем был запротоколирован как очная ставка двух обвиняемых. Однако в протоколе ни единым словом не упомянуто о том, что в действительности происходило на этой встрече. Следователь написал только, что в ответ на его вопросы Сокольников во всём сознавался и указывал на Радека как на своего сообщника.

Тем не менее позиция Сокольникова оказала решающее влияние на дальнейшее поведение Радека. Григорий Сокольников, являвшийся членом ЦК партии ещё при Ленине, в решающие годы революции и гражданской войны, пользовался репутацией исключительно серьёзного и осмотрительного политического

деятеля, не склонного к опрометчивым решениям. И когда слабохарактерный и легкомысленный Радек почувствовал себя загнанным в тупик, он послушно последовал примеру человека, который имел смелость прийти к определённому решению и придерживаться его.

Правда, Радек не хотел предстать перед судом на худших условиях, чем те, что Сокольников смог обеспечить себе. Он узнал от Сокольникова, что тому удалось добиться встречи со Сталиным и даже получить от него некоторые обещания. Радеку тоже требовались гарантии – не от руководителей НКВД, а из уст Сталина. На этом условии он был готов подписать «признание» и предстать перед судом в качестве подсудимого.

Однако Сталин не пожелал видеть Радека. Быть может, это был один из тех редких случаев, когда даже ничем не гнушавшийся Сталин испытывал некоторую неловкость.

«Следствие» по делу Радека тянулось уже что-то около двух месяцев, а тот всё продолжал настаивать на свидании с «хозяином». Наконец, Ежов заявил, что если Радеку это так уж необходимо, то сначала он должен обратиться к Сталину с личным письмом, содержащим требуемые признания. Радек написал такое письмо, но по каким-то причинам оно было отклонено Ежовым. Пришлось написать второе, уже при участии самого Ежова. Не могу сказать, почему «органы» придавали этому письму столь серьёзное значение.

Через несколько дней Сталин появился в здании НКВД и в присутствии Ежова у него состоялся долгий разговор с Радеком. После этого Радека привели в кабинет Кедрова, где его ждал уже заранее подготовленный протокол допроса. Он внимательно прочел показания, написанные за него и неожиданно, взяв карандаш, принялся делать поправки, не обращая внима-

ния на протесты, Кедрова. Наконец ему, видимо, надоело это занятие и он объявил: «Это не то, что нужно. Дайте мне бумагу и ручку, и я напишу сам!»

Радек набросал протокол допроса, который привёл следователей в восторг. В нём он сам задавал себе вопросы, сам же и отвечал на них. Руководители НКВД не рискнули сделать в писаниях Радека никаких поправок.

Несколькими днями позже Радек по собственной инициативе приписал такое дополнение: действуя по указаниям Троцкого, он будто бы подтвердил одному из гитлеровских дипломатов (во время какого-то банкета), что подпольный антисоветский «блок» уполномочил Троцкого вести переговоры с германским правительством и что тот же «блок» готов сделать Германии территориальные уступки, которые пообещает Троцкий.

Изменения, внесённые Радеком в сложившуюся к тому времени картину «антисоветского заговора», заставили переписывать почти все показания основных обвиняемых по этому делу. С этого момента Радек сделался личным консультантом Ежова по совершенствованию легенды о заговоре. Легенда сделалась с его помощью ещё более драматичной и получила отличное словесное оформление.

Стремясь угодить Сталину, Радек выдумал ещё одну версию, представленную им в качестве дополнения к показаниям Сокольникова. Согласно этой версии один японский дипломат, нанося официальный визит Сокольникову, в то время заместителю наркома иностранных дел, спросил у него, насколько серьёзны предложения, которые Троцкий сделал германскому правительству. Сокольников якобы подтвердил этому дипломату, что Троцкий действительно получил полномочия на ведение таких переговоров. Сталину

понравилась эта выдумка, и Сокольникову тоже пришлось поставить под ней свою подпись.

Но главная услуга, которую Радек оказал следствию, состояла в том, что он помог убедить Николая Муралова, личного друга Троцкого и выдающегося полководца гражданской войны, тоже дать ложные показания, направленные против Троцкого.

Не годясь по своему характеру в настоящие заговорщики, Радек вместе с тем, как никто другой, подходил для того, чтобы разыграть роль заговорщика в сталинской судебной комедии. Для такой роли он обладал поистине блестящими данными. Прирождённый демагог, он считал и правду и ложь одинаково приемлемыми средствами для достижения своих целей. Софистика и риторика были его стихией, и в прошлом он нередко – в тех случаях, когда требовалось партии, – с ловкостью настоящего фокусника умел доказать, что белое – это чёрное, а чёрное – белое. Пообещав Сталину лгать на суде «для блага партии», а фактически для спасения собственной шкуры, Радек бросился исполнять порученное задание с прытью хорошего спортсмена. Стремление первенствовать во всём было одной из его характернейших черт. Теперь он хотел быть первым и здесь. Даже в весьма жалкой роли подсудимого, играющего разоблачённого убийцу и шпиона, он усмотрел свой «шанс» – возможность интеллектуального состязания с другими подсудимыми и даже с прокурором.

Радек сыграл свою роль на суде с таким артистическим совершенством, что непосвящённые были убеждены: он говорит чистую правду. Другие, подсудимые рассказывали суду о своих преступлениях вялым, бесцветным голосом, словно читая лекцию о давно забытых страницах древней истории. А Радек так вжился в роль, что всему, о чём заходила речь, готов был сооб-

щить истинно драматический оттенок, точно это были реальные и притом недавние события.

Он отнюдь не начинал с изложения криминальных разговоров, которые будто бы вёл со своими сообщниками, или с содержанием писем, будто бы полученных им от Троцкого. Нет, будучи прирождённым артистом и незаурядным психологом, он прежде всего набрасывал перед судом драматическую картину терзавших его сомнений, душераздирающих страданий, которые он испытывал, когда «логика фракционной борьбы» шаг за шагом заводила его в лабиринт преступлений, откуда – он чувствовал – ему не выбраться.

На суде Радек буквально скулил, занимаясь безжалостным самобичеванием. О да, теперь он понял: то, что он делал, было чистым безумием… средства, которыми он пользовался, не могли привести его к тем целям, какие он себе ставил… Ему давно уже стало ясно, что если бы даже он и его товарищи преуспели в своём стремлении помочь Гитлеру, то Гитлер не допустил бы их к власти, а отбросил, «как выжатый лимон»…

Радек рассказывал суду, как под влиянием гигантских успехов, достигнутых в стране под руководством Сталина, он понял всю чудовищность преступлений, на которые толкал его Троцкий.

– Просто так, за здорово живешь, ради прекрасных глаз Троцкого страна должна вернуться к капитализму! – возмущенно восклицал он.

Преступные директивы Троцкого, говорил Радек, завели его и других руководителей заговора в тупик. Как вообще они, эти заговорщики, смогли стать членами подпольной антисоветской организации, когда у многих были за плечами десятки лет честной революционной работы? Как было объяснить рядовым троцкистам, что они должны теперь бороться за победу фашистской Германии над советским народом?

Сделать это было бы безумием; в результате таких директив надо было ожидать, что возмущенные члены организации отправятся в НКВД и выдадут весь заговор…

– Я чувствовал себя так, будто нахожусь в сумасшедшем доме! – заявил Радек.

– И что же вы предприняли? – перебил его государственный обвинитель Вышинский.

На это Радек ответил, как всегда витиевато:

– Единственным выходом было пойти в ЦК партии, сделать признание, назвать всех участников. Я этого не сделал. Я не пошёл в ГПУ, но ГПУ само пришло ко мне.

– Красноречивое признание! – откликнулся Вышинский.

– Горькое признание, – уточнил Радек.

Борясь за спасение собственной жизни, Радек не только выполнил, но и перевыполнил указания, полученные от Сталина. Но Вышинскому этого было недостаточно. Он полагал, что в задачу прокурора на процессе входит вновь и вновь наносить удары тем, кто уже лежал, поверженный ниц. Задав Радеку несколько каверзных вопросов, Вышинский напомнил ему, что он не только отказался от намерения рассказать о заговоре и своих сообщниках, но даже и после ареста в течение трёх месяцев продолжал отрекаться от своего участия в заговоре.

– Можно ли после этого принимать всерьёз то, что вы тут говорили о своих колебаниях и опасениях? – спрашивал Вышинский.

Придирки Вышинского разозлили Радека, и он огрызнулся: «Да, если игнорировать тот факт, что о программе заговорщиков и об указаниях Троцкого вы узнали только от меня, тогда, конечно, принимать всерьёз нельзя…»

Радек позволил себе опасный намек. Эти слова «вы узнали только от меня» показывали, что ни НКВД, ни государственный обвинитель не имели, кроме этого признания, никаких улик против Радека и остальных обвиняемых.

Радек вполне обоснованно предъявлял свои авторские права на так называемые «инструкции Троцкого». Ведь никто иной, как он, после свидания с глазу на глаз со Сталиным отверг «показания», составленные для него следователем Кедровым, и собственноручно изложил на бумаге новую версию этих «инструкций». Неожиданная вспышка Радека и его намек на особые услуги, оказанные им следствию, встревожили суд и прокурора. Во избежание дальнейших осложнений председательствующий Ульрих поспешил объявить перерыв.

Радек так долго пресмыкался перед Сталиным и так лез из кожи вон, чтобы помочь прокурору, что можно было подумать, будто он был просто растленной личностью, уже равнодушной к тому, что скажет о нём мир. Однако, если внимательнее вдуматься в то, что Радек сказал на суде, станет ясно, что он строил свои саморазоблачения так, чтобы мир мог сделать из них вывод о беспочвенности обвинений и отсутствии у суда каких бы то ни было доказательств вины подсудимых.

Вплоть до конца судебного спектакля его режиссеры не разгадали скользкий замысел Радека. Ублажаемые его саморазоблачением и яростными нападками на Троцкого, прокурор и судьи не заметили, как искусно он протащил свою опасную контрабанду, подточившую тот фундамент, на котором строились многие обвинения.

В своём последнем слове Радек приоткрыл завесу над теми приёмами, с помощью которых ему удалась

эта контрабанда. «Последнее слово» он начал с того, что недвусмысленно признал свою вину.

– Нет таких оправданий, – говорил Радек, – которыми взрослый человек, владеющий рассудком, мог бы объяснить свою измену родине. Напрасно и я пытался подыскать себе смягчающие обстоятельства. Человек, проведший тридцать пять лет в рабочем движении, не может оправдывать своё преступление какими бы то ни было обстоятельствами, когда он сознаётся в измене родине. Я не мог прикрываться даже тем, что меня совратил с пути Троцкий. Я был уже взрослым человеком с полностью сформировавшимися, убеждениями, когда встретился с Троцким.

Выплатив таким образом дань, обещанную следователям, и усыпив бдительность прокурора, Радек прибег к тактическому маневру, который давал ему шанс выразить вслух кое-что из того, что отнюдь не входило в планы организаторов процесса. Радек заявил, суду, что, хотя он согласен с прокурором по всем главным пунктам обвинения, он тем не менее протестует против попытки Вышинского охарактеризовать подсудимых как сущих бандитов.

– Слыша, что люди, сидящие здесь на скамье подсудимых, являются попросту бандитами и шпионами, я протестовал против этого! Имеются свидетельства двух человек – моё собственное признание в том, что я получал инструкции и письма от Троцкого (которые, к сожалению, я сжёг), и признание Пятакова, который говорил с Троцким. Все признания остальных обвиняемых основываются на нашем признании. Если вы имеете дело с обычными бандитами и шпионами, на чём же основано ваше убеждение, что мы говорили чистую правду?

Эти слова Радека прозвучали пощёчиной Сталину. Но несмотря на эти несколько коротких, хотя и эффек-

тивных выпадов, Радек всё же оказал Сталину неоценимую услугу в подготовке судебного спектакля. В целом он полностью выполнил полученные от Сталина указания.

И вот ранним утром 20 января 1937 года Радек вместе со своими товарищами по скамье подсудимых стоя внимал словам приговора. Все подсудимые вслушивались в чтение Ульриха, затаив дыхание. Покончив с так называемой констатирующей частью приговора, Ульрих перешёл к мерам наказания, определённым каждому из обвиняемых. «К высшей мере наказания…», «к высшей мере наказания…», «к высшей мере наказания…». Дойдя до фамилии Радека, он произнёс: «…приговаривается к лишению свободы на срок десять лет».

Лицо Радека просияло. Он подождал конца чтения, затем повернулся к остальным подсудимым, пожал плечами, точно стесняясь своей удачи, и послал им виноватую усмешку. Точно такую же усмешку он адресовал и аудитории.

Разоблачение

Когда Сталин узнал, что его жульническая выдумка о полётах Пятакова в Осло к Троцкому провалилась, ему стало ясно: его судебные спектакли безнадёжно дискредитированы и независимо от того, что он теперь станет говорить и какие средства использовать для демонстрации вины троцкистов, мир не поверит ни ему, ни аппарату НКВД.

Тем не менее, Сталину показалось, что репутация московских процессов может быть в известной мере спасена, если полиция капиталистических стран тоже начнёт обнаруживать в этих странах троцкистов, завербованных фашистской Германией для ведения шпионажа.

Не дожидаясь окончания второго московского процесса, на котором муссировалась фальшивка о полёте Пятакова к Троцкому, Сталин приказал Ежову уведомить начальника Иностранного управления НКВД Слуцкого (выполнявшего в то время некое задание в Чехословакии), что необходимо подбросить местным троцкистам несколько документов провокационного характера, и, когда это будет сделано, навести на них чехословацкую полицию для производства обысков.

Изучив контакты, установленные с местными троцкистами резидентом НКВД в Праге, Слуцкий выбрал жертву предстоящей провокации. Это был один из руководителей немецких троцкистов, Антон Грилевич, бежавший в Чехословакию от Гитлера. С помощью его близкого знакомого – чехословацкого коммуниста – резиденту удалось подбросить в портфель Грилевичу несколько специально сфабрикованных документов. Среди них была фотокопия плана военного нападения Германии на Судетскую область с целью её оккупации, куча фальшивых паспортов и формулы симпатических чернил. Затем некое лицо, отказавшееся назвать себя,

позвонило в чешское полицейское управление и сообщило, что Грилевич является опасным немецким шпионом. Слуцкий полагал, что чешская полиция отреагирует на эти измышления так же поспешно, как это делает в СССР аппарат НКВД. Поэтому он сразу же телеграфировал Ежову, что бумаги успешно подброшены немецкому троцкисту Грилевичу и вот-вот следует ожидать его ареста. Одновременно Слуцкий провёл необходимую подготовку для того, чтобы дать возможность «дружественной прессе» тотчас же раззвонить на весь мир о шпионской деятельности немецкого троцкиста.

Каждое утро Слуцкий являлся в советское посольство в Праге и ждал, пока помощники резидента НКВД просмотрят свежие газеты в поисках столь желанного известия об аресте Грилевича. Однако такого сообщения всё не было. После нескольких дней бесплодного ожидания Слуцкий направил дополнительные «разоблачения» в Главный штаб чехословацкой армии и министру внутренних дел. Время шло, а Грилевич продолжал оставаться на свободе и даже не подозревал, какие злобные и могущественные силы пытаются играть его судьбой.

Между тем вслед за нетерпеливыми запросами Ежов разразился срочной телеграммой. В ней он информировал Слуцкого, что «Иван Васильевич хочет знать результат операции». Во всём аппарате НКВД не более десятка руководителей были осведомлены о том, что это за Иван Васильевич. Таков был новый псевдоним, который Ежов выбрал для Сталина на случай особо секретных операций. Псевдоним был весьма прозрачен – так звали любезного сталинской душе царя, Ивана Грозного, с которым у Сталина были к тому же одинаковые инициалы.

Слуцкому казалось диким, как это чешская полиция не реагирует на факт явного шпионажа, поднесённый ей «как на блюдце». Он был взбешён. Нервно меряя шагами кабинет резидента НКВД, он обзывал здешних полицейских офицеров разгильдяями, которых следовало бы немедленно разогнать.

– Пьянчуги! – негодовал он. – Скажи им, что у Грилевича завелась контрабандная водка – тут же бы набежали, а когда тут серьёзное политическое дело, они спят, точно слепые котята!

Подгоняемый новыми запросами из Москвы и, в частности, известием о том, что Сталин лично «взял это дело под контроль», Слуцкий приказал сообщить руководителю чехословацкой полиции по телефону, будто Антон Грилевич, германский шпион, «приготовился бежать из страны». Но и это не помогло.

Взбешённый Слуцкий отбыл из Праги в Париж в сопровождении своего помощника Партина и резидента НКВД в Чехословакии Фурманова. Вся троица остановилась в небольшом отеле на Рю дю Бак, неподалеку от советского посольства. Слуцкий зарегистрировался здесь под фамилией Черниговский (такая фамилия стояла у него в дипломатическом паспорте). Из Парижа он отправил письмо в Прагу, адресованное Антону Грилевичу «до востребования» и написанное по-немецки. Между строчками письма специально были оставлены грубые следы симпатических чернил: если письмо будет подвергнуто «проявлению», выступивший текст окажется инструкцией явно шпионского характера. Одновременно чехословацкая полиция была извещена, что германский шпион Антон Грилевич получает из-за границы подозрительные письма, адресуемые ему на почтамт до востребования.

Полиция и на сей раз осталась безучастной. Не желая вернуться в Москву ни с чем и всё ещё надеясь, что

чехи в конце концов произведут у Грилевича обыск, Слуцкий решил провести несколько дней в Испании. Возможно, он воображал, что поездка в Испанию, охваченную гражданской войной, придаст его неудавшейся миссии некий оттенок благородного риска. По возвращении из Валенсии в Париж он демонстрировал всем и каждому упавший в двух шагах от него осколок снаряда. В Париже он задержался на несколько дней, чтобы накупить подарков для большого начальства и трубочного табаку лично для Сталина, и отбыл в Москву в конце февраля.

И до и после Испании он также заглянул проведать меня. Я лежал в те дни на обследовании в хирургической клинике профессора Бержере. Слуцкий рассказал, что новый нарком внутренних дел Ежов привёл с собой из ЦК партии около трёхсот сотрудников и что он создал подчинённые ему лично специальные подвижные группы, которые будут направляться за границу с фальшивыми иностранными паспортами. Им предполагается поручать ликвидацию видных зарубежных троцкистов и выполнение других тайных поручений, исходящих от Сталина.

Чехословацкие власти несколько месяцев не беспокоили Грилевича. Наконец в июне 1937 года он был арестован. При обыске его квартиры полиция обнаружила документы, подброшенные агентурой НКВД. Позже мне стало известно, что для ускорения ареста Грилевича резидент НКВД в Чехословакии подкупил, с санкции Москвы, одного из высших чиновников пражской полиции. Чехи продержали Грилевича в тюрьме несколько месяцев, после чего он был освобождён.

Жертва провокации отделалась сравнительно легко. Куда худшая судьба ждала тайного агента НКВД, который подбросил Грилевичу поддельные документы. Опасаясь, что Грилевич догадается, кто вложил в его

портфель порочащие бумаги, и дело дойдет до разоблачения хозяев агента, резидент посоветовал ему на время покинуть Чехословакию и совершить поездку в СССР. Бедный чех прибыл в Москву в разгар кровавой сталинской «чистки», когда иностранных коммунистов арестовывали сотнями. Проведя некоторое время в СССР в качестве гостя, он надумал вернуться в Чехословакию и попросил разрешение на выезд. Его начальство, вместо того, чтобы удовлетворить просьбу, предложило ему остаться в СССР и принять советское гражданство. Это его напугало. Он явно не желал для себя участи, какая постигла массу других иностранных коммунистов, и надумал искать защиты… в чехословацком консульстве. Не успел он туда войти, как тут же, на пороге консульства, был арестован.

Ликвидация чекистов

1

В день, когда советские газеты объявили, что смертный приговор обвиняемым на втором московском процессе приведён в исполнение, один из следователей Секретного политического управления НКВД, принимавший участие в допросах, покончил с собой. Им было оставлено письмо, содержание которого скрыли от прочих сотрудников НКВД. Это породило слухи, что самоубийцу «замучила совесть».

Не прошло и двух месяцев, как застрелился начальник Горьковского управления НКВД Погребинский. В ходе подготовки первого московского процесса он лично арестовывал преподавателей школ марксизма-ленинизма в Горьком и вымогал у них признания, будто они собирались убить Сталина во время первомайской демонстрации.

Погребинский не был инквизитором по призванию. Хоть ему и пришлось исполнять сомнительные «задания партии», по природе это был мягкий и добродушный человек. Именно Погребинскому принадлежит идея специальных коммун для бывших уголовников, где им помогали начать новую, честную жизнь, и трудовых школ для бездомных детей. Обо всём этом было рассказано в широко известном фильме «Путёвка в жизнь», очень популярном в СССР и за рубежом. У Погребинского завязалось близкое знакомство, если не дружба, с А. М. Горьким, очень увлекавшимся одно время идеей «перековки» человека в СССР.

Накануне самоубийства Погребинский оставил письмо, адресованное Сталину. Письмо, прежде чем попасть в Кремль, прошло через руки нескольких видных сотрудников НКВД. Погребинский писал в нём:

«Одной рукой я превращал уголовников в честнейших людей, а другой был вынужден, подчиняясь партийной дисциплине, навешивать ярлык уголовников на благороднейших революционных деятелей нашей страны…»

Самоубийство Погребинского не было единственным в своём роде. С начала тридцатых годов самоубийства среди сотрудников НКВД вообще участились. Особенно среди сотрудников Секретного политического управления, которые отвечали за «успешное» проведение репрессий против членов оппозиции.

Наиболее характерным явилось самоубийство Козельского, начальника Секретного политического отдела украинского управления НКВД. Он покончил с собой ещё до начала московских процессов. Поляк по происхождению, Козельский воспитывался в религиозной католической семье. У него рос четырёхлетний сын, который был ему дороже всего на свете. Однажды мальчик тяжело заболел. Козельский мобилизовал для его спасения лучших врачей, каких только мог найти в СССР. Мальчик трижды подвергался трепанации черепа, но спасти его не удалось. Подавленный смертью сына, Козельский застрелился. В оставленном им письме он писал, что Бог покарал его ребёнка за грехи отца, арестовывавшего и отправлявшего в ссылку невинных людей.

Хотя, с партийной точки зрения, письмо Козельского являлось еретическим и чрезвычайно постыдным документом, он не был посмертно объявлен «чуждым элементом, пробравшимся в партию». Власти нашли более выгодным объявить, что его психика расстроилась, и он «скатился к мистицизму». НКВД Украины устроил ему торжественные похороны, а его семье была назначена пенсия.

2

Если бы в ходе подготовки московских процессов руководители НКВД сделали попытку проанализировать директивы, получаемые от Сталина (не только с узкопрофессиональной, следовательской точки зрения, а с целью изучить характер сталинского мышления и его тайные планы), то они сделали бы такое удивительное для себя открытие: Сталин наметил уничтожить также их самих – как нежелательных свидетелей его преступлений и как своих прямых соучастников в подготовке фальсификаций, направленных против старой ленинской гвардии. Вот они, эти штрихи юридического сценария, которые, будучи зафиксированы в документах, вполне могли быть расшифрованы как сталинский план уничтожения верхушки НКВД.

Когда Миронов доложил Сталину показания Рейнгольда, направленные против Зиновьева и Каменева, Сталин приказал ему внести в эти признания такое дополнение: «Зиновьев и Каменев не исключали возможности, что ОГПУ держит в своих руках нити подготовляемого ими антигосударственного заговора. Поэтому они считали своей важнейшей задачей уничтожить (после захвата власти) все возможные следы совершённых преступлений.

Для этого было решено назначить председателем ОГПУ Бакаева. На него предполагалось возложить обязанности по физическому уничтожению тех лиц, которые непосредственно осуществят террористические акты против Сталина и Кирова и равным образом по уничтожению тех сотрудников ОГПУ, кто был в курсе планируемых преступлений».

Руководители НКВД и следователи отлично знали, что Зиновьев с Каменевым никого не убивали и не собирались убивать. Так что из сталинского добавления к

показаниям Рейнгольда они должны были бы сделать исключительно важный вывод, имевший первостепенное значение для них самих: согласно сталинской логике политические лидеры, которые в борьбе за власть организуют убийства своих соперников, должны принимать меры к уничтожению всех следов этих преступлений, не останавливаясь перед ликвидацией тех, кто по их указаниям осуществлял эти убийства. Неужели, записывая дополнение Сталина к показаниям Рейнгольда, Миронов не понял, что Сталин (это бывало с ним крайне редко) выразил здесь свой собственный тайный принцип?

Отлично зная, что не кто иной, как сам Сталин, организовал судебные спектакли, верхушка НКВД должна была уяснить себе, что после уничтожения своих политических противников или соперников Сталин уничтожит также всех следователей НКВД, помогавших ему организовать московские процессы, да и вообще всех тех, кто знаком с кухней этих процессов.

Но увы! Эти люди, подобно охотничьим собакам, были так заняты преследованием дичи, что не обращали внимание на самого охотника. Не будучи в состоянии распознать коварный сталинский план, они лишили себя возможности обратить огромную мощь своего аппарата на спасение собственных жизней.

План физического уничтожения всех сотрудников НКВД, кто знал зловещую закулисную сторону московских процессов, был разработан Сталиным и Ежовым с тщательностью, достойной военной операции. Ещё в октябре 1936 года сталинский фаворит Ежов был назначен наркомом внутренних дел вместо смещённого Ягоды. Те без малого три сотни «своих людей», что Ежов привёл за собой из ЦК, были назначены помощниками начальников управлений НКВД в Москве и на периферии. Приток новых кадров

официально объяснялся желанием Политбюро «поднять работу НКВД на ещё более высокий (!) уровень». В действительности новые люди понадобились для того, чтобы в дальнейшем заменить прежних сотрудников НКВД, намеченных к ликвидации.

Несколько месяцев Ежов и руководящие кадры, оставшиеся после Ягоды, работали в кажущемся согласии. Ежову они всё ещё были необходимы – шла подготовка ко второму московскому процессу, требовалось обучать новых людей искусству ведения следствия.

К исполнению сталинского плана Ежов приступил уже после второго процесса. Перестраховываясь, уничтожали не только тех сотрудников НКВД, которые знали грязные сталинские секреты, но и тех, кто мог их знать. Происходило это так.

Однажды мартовским вечером 1937 года Ежов созвал совещание своих заместителей, занимающих эти должности со времён Ягоды, а также начальников основных управлений НКВД. Он сообщил, что по распоряжению ЦК каждому из них поручается выехать в определённую область для проверки политической надёжности руководства соответствующих обкомов партии. Ежов снабдил их подробными инструкциями, раздал мандаты на бланках ЦК и приказал срочно отбыть к месту назначения. Только четыре руководителя управлений НКВД не получили таких заданий. Это были начальник Иностранного управления Слуцкий, начальник погранвойск Фриновский, начальник личной охраны Сталина Паукер и начальник московского областного управления НКВД Станислав Реденс, женатый на свояченице Сталина (Аллилуевой).

На следующее утро все получившие мандаты отбыли из Москвы. Места назначения, указанного в этих мандатах, никто из них не достиг: все были тайно высажены из вагонов на первой же подмосковной

станции и на машинах доставлены в одну из подмосковных тюрем. Через два дня Ежов проделал тот же трюк с заместителями «уехавших». Им перед отъездом сообщили, что они направляются для участия в выполнении того же задания.

Прошло несколько недель, прежде чем сотрудники НКВД узнали о безвозвратном исчезновении начальства. За этот срок Ежов сменил в НКВД охрану, а также всех командиров в энкаведистских частях, размещённых в Москве и Подмосковье. Среди вновь назначенных командиров оказалось множество грузин, присланных из Закавказского НКВД.

Чтобы старые сотрудники НКВД не могли бежать за границу, Ежов изъял из ведения Иностранного управления группу, ответственную за выдачу заграничных паспортов, и присоединил её к собственному секретариату. Одновременно он сместил командиров авиаэскадрилий НКВД, лишив тем самым потерявших голову чекистов всякой возможности побега за границу на боевом самолёте.

Опасаясь со стороны сотрудников НКВД безрассудных действий, продиктованных отчаянием, Ежов забаррикадировался в отдалённом крыле здания НКВД и окружил себя мощным контингентом личной охраны. Каждый, кто хотел попасть в его кабинет, должен был сначала подняться на лифте на пятый этаж и пройти длинными коридорами до определённой лестничной площадки, затем спуститься по лестнице на первый этаж, опять пройти по коридору к вспомогательному лифту, который и доставлял его в приёмную Ежова, расположенную на третьем этаже. В этом лабиринте посетителю неоднократно преграждали путь охранники, проверявшие документы у любого посетителя, будь то сотрудник НКВД или посторонний, имеющий какое-либо дело к Ежову.

Осуществив всё эти предупредительные мероприятия, Ежов начал действовать более энергично. Пошли массовые аресты следователей, принимавших участие в подготовке московских процессов, и всех прочих лиц, которые знали или могли знать тайны сталинских фальсификаций. Их арестовывали одного за другим, днём – на службе, а ночью – в их квартирах. Когда в предрассветный час опергруппа явилась в квартиру Чертока (прославившегося свирепыми допросами Каменева), он крикнул: «Меня вы взять не сумеете!» – выскочил на балкон и прыгнул с двенадцатого этажа, разбившись насмерть.

Феликс Гурский, сотрудник Иностранного управления, за несколько недель перед этим награждённый орденом Красной звезды «за самоотверженную работу», выбросился из окна своего кабинета на девятом этаже. Также поступили двое следователей Секретного политического управления. Сотрудники Иностранного управления, прибывшие в Испанию и Францию, рассказывали жуткие истории о том, как вооружённые оперативники прочесывают дома, заселённые семьями энкаведистов, и как в ответ на звонок в дверь в квартире раздается выстрел – очередная жертва пускает себе пулю в лоб. Инквизиторы НКВД, не так давно внушавшие ужас несчастным сталинским пленникам, ныне сами оказались захлёстнутыми диким террором.

Комплекс зданий НКВД расположен в самом центре Москвы, и случаи, когда сотрудники НКВД выбрасывались с верхних этажей, происходили на виду у многочисленных прохожих. Слухи о самоубийствах энкаведистов начали гулять по Москве. Никто из населения не понимал, что происходит.

По делам арестованных сотрудников НКВД не велось никакого следствия, даже для видимости. Их целыми группами обвиняли в троцкизме и шпионаже и

расстреливали без суда. Тем сотрудникам, кто был или считался польского происхождения, объявляли, что они польские шпионы, латышам, – что они шпионы Латвии, русским, – что они шпионы Германии, Англии или Франции.

О том, что представляли собой эти обвинения, можно судить по делу Казимира Баранского, ветерана Иностранного управления НКВД, которому Ежов навесил ярлык «шпиона». Баранский был польского происхождения. Фанатичный коммунист, во время гражданской войны он сражался на западном фронте против польских войск и был награждён орденом за то, что вытащил раненого командира своего полка из-под пулемётного обстрела. При этом он сам был ранен. По окончании войны Баранского направили в Иностранное управление ГПУ. В 1922 году он был послан этим Управлением в Польшу для организации агентурной сети. В Варшаве он занял официальный пост второго секретаря советского полпредства, под именем Казимира Кобецкого.

В 1923 году, когда советское правительство разрабатывало планы посылки войск через Польшу для оказания помощи немецким рабочим, Баранский получил приказ взорвать склады боеприпасов и амуниции, размещавшихся в варшавской цитадели. Это опасное задание ему удалось выполнить 12 октября 1923 года.

Поляки каким-то образом узнали, что взрыв в варшавской цитадели – дело рук их земляка, второго секретаря советского посольства Казимира Кобецкого. Однако они не стали требовать его отзыва, а решили поймать его с поличным и тогда уж взять реванш за всё. Такого случая им пришлось ждать почти год. Польская контрразведка сумела внедрить в агентурную сеть Баранского собственного агента, официальным местом работы которого было польское министерство

иностранных дел. Чтобы разжечь аппетит Баранского, этот человек начал снабжать советское посольство подлинными (хотя и без подписей должностных лиц) документами своего министерства. Постепенно агент завоевал доверие Баранского, и тот начал лично встречаться с ним. Как-то летним днём 1925 года Баранскому предстояло встретиться с этим агентом, чтобы возвратить тому полученные на время бумаги. Среди них был, между прочим, доклад польского посла в Японии, некоего Патека.

Придя на условленное место встречи, Баранский заметил поблизости подозрительных лиц, проявлявших к нему интерес. Он попытался ускользнуть, однако сыщики стали окружать его. Баранский вырвался из окружения, стремясь во что бы то ни стало избавиться от компрометирующих документов, которые лежали у него в кармане, – он бросился в боковую улицу и вбежал в костёл святой Екатерины. Там опустился на скамью для молящихся, сунул документы в какую-то щель и покинул костёл через другие двери, выходящие на Иерусалимские аллеи. Выбежав на улицу, он вновь наткнулся на сыщиков, уже было потерявших его из виду. Они схватили его, обыскали, но, не найдя нужных бумаг, стали избивать, топтать его ногами, несколько раз ударили по голове.

Баранский боялся, что его убьют тут же на улице и советское полпредство так и не узнает, что с ним стряслось. Он начал кричать по-польски, обращаясь к прохожим: «Господа, смотрите, как польская полиция бьёт советского дипломата!» – и потерял сознание.

Очнулся он в главном управлении полиции. Он отказался отвечать на вопросы руководителей польской контрразведки и, ссылаясь на свой дипломатический иммунитет, требовал, чтобы его освободили. Однако это произошло только после протестов со стороны

советского правительства. Баранского доставили в советское полпредство с кровоподтёками на лице и с сочащейся кровью повязкой на голове. Пролежав с неделю в больнице, он вскоре по требованию польского правительства был отозван в Москву.

По возвращении Баранского из Польши нарком иностранных дел Чичерин пожаловался на его поведение в Центральную контрольную комиссию, – высший орган, расследовавший поведение членов партии. Ведомство Чичерина жаловалось, что, находясь в Варшаве, Баранский ввязался в исключительно опасные и скандальные авантюры с участием поляков, что вызвало ухудшение отношений между Польшей и СССР. Зная вспыльчивый характер Баранского, помощник Ягоды Трилиссер посоветовал ему на заседании комиссии «вести себя смирно» и признать, что, действительно, в ряде случаев он зашёл в своих действиях слишком далеко. Во время слушания дела Баранского в помещение, где заседала комиссия, вошёл её председатель Арон Сольц. Присев, он некоторое время молча слушал, как обвиняет Баранского советский полпред в Польше Оболенский, и вдруг неожиданно вмешался: «Кого вы в этом обвиняете? Бойца Красной армии, раненного в стычке с врагом! Я предлагаю, товарищи, чтобы мы представили Баранского за его работу к ордену Красного знамени!»

Кончилось тем, что Оболенскому объявили выговор за клевету на Баранского, а тот действительно получил орден – в то время знак высшего боевого отличия.

Избиение Баранского польскими шпиками серьёзно отразилось на его здоровье. Вскоре после возвращения в Москву он оказался частично парализован, у него отнялась речь. Позже паралич прошёл, однако Баранский на всю жизнь остался инвалидом. И вот это-

го инвалида, потерявшего здоровье по милости польской контрразведки, Ежов в числе других объявил польским шпионом и приказал расстрелять без суда и следствия. Сталин с Ежовым прекрасно знали, что никакой он не шпион и никогда им не был. Они попросту считали его теперь «ненадёжным»: у него было много друзей среди следователей НКВД, и от них он мог узнать – да наверняка и узнал! – закулисную сторону московских процессов, в том числе и сталинские указания, полученные следователями.

Постепенно волна арестов распространилась и на периферию. Только за один 1937 год было казнено более трёх тысяч оперативников НКВД. Среди исчезнувших в этой кровавой мясорубке были Молчанов, заместители Ягоды Агранов и Прокофьев, а также все начальники управлений НКВД в Москве и провинции. До расстрела самого Ягоды дело пока не дошло.

Будь эти люди виновны в растрате крупных денежных сумм или даже в убийстве, совершённом по каким-нибудь личным мотивам, – им, вероятно, удалось бы отделаться несколькими годами заключения. Но они были «повинны» в гораздо более тяжком грехе – самом тяжком, какой существовал в Советском Союзе: они знали тайну сталинских преступлений. Этот грех влёк за собой неизменно лишь одну кару – смертную казнь. Только одному человеку из числа руководителей НКВД удалось избежать такого конца. Это был заместитель начальника Секретного политического управления НКВД Люшков, помогавший Молчанову в подготовке первого московского процесса. Благодаря дружеским отношениям с Ежовым Люшков продержался на своей должности до лета 1938 года, а затем получил назначение начальником Дальневосточного управления НКВД. Увидев из своего далёка, что Сталин как будто уже не оставил в живых никого из

опасных свидетелей своих преступлений, Люшков использовал преимущества своей новой должности и тем же летом перелетел к японцам. Ему удалось это сделать без особого труда: дальневосточные войска погранохраны находились в его прямом подчинении.

3

Высокопоставленные сотрудники НКВД, приезжавшие во Францию и Испанию, рассказывали о кошмарной судьбе детей расстрелянных чекистов. Когда родителей арестовывали и квартиры опечатывали, дети оказывались в буквальном смысле слова выброшенными на улицу. Друзья этих семей и даже близкие родственники не решались дать приют детям арестованных, опасаясь навлечь на себя серьёзные неприятности. В школах и пионерских отрядах они не находили ни малейшей моральной поддержки. Их сверстники всячески изводили и били их как детей предателей и шпионов. При этом нередко случалось, что ученики, издевавшиеся над ними, за одну ночь сами превращались в детей «врага народа», которым теперь предстояло хлебнуть горя.

Отношения между детьми в это смутное время отражали, как в зеркале, отношения взрослых. Отравленные сталинистскими изречениями о «притаившихся врагах народа», наученные педагогами принимать резолюции с требованием смертной казни для старых большевиков, школьники утрачивали черты, присущие детям, да и вообще всякое представление о человечности. Чувство дружбы вытеснялось из их детских душ подозрительностью и страстью всеобщего разоблачения, то есть доносительства.

В крупных городах появилось ещё одно страшное знамение времени: случаи самоубийства подростков

10–25 лет. Мне рассказывали, например, такой случай. После расстрела группы сотрудников НКВД четверо их детей, оставшиеся сиротами, украли из квартиры другого энкаведиста пистолет и отправились в Прозоровский лес под Москвой с намерением совершить самоубийство. Какому-то железнодорожнику, прибежавшему на пистолетные выстрелы и детские крики, удалось выбить пистолет из рук четырнадцатилетнего мальчика. Два других подростка лежали на земле, – как выяснилось, тяжело раненные. Тринадцатилетняя девочка, сестра одного из раненых, рыдала, лёжа ничком в траве. Рядом валялась записка, адресованная «дорогому вождю народа товарищу Сталину». В ней дети просили дорогого товарища Сталина найти и наказать тех, кто убил их отцов. «Наши родители были честными коммунистами, – следовало дальше. – Враги народа, подлые троцкисты, не могли им этого простить…» Откуда детям было знать, кто такие троцкисты!

Сталинский секретариат получал десятки таких писем. Отсюда они направлялись в НКВД с требованием убрать маленьких жалобщиков из Москвы. Здесь не должно было быть места детским слезам! Иностранные журналисты и гости из-за рубежа не должны были видеть эти массы выброшенных на улицу сирот.

Многие из осиротевших детей не ждали, когда их вышлют из Москвы. Столкнувшись в домах друзей своих родителей с равнодушием и страхом, они присоединились к тем, кто принял их в свою среду как равных – к бездомным подросткам, жертвам более ранней «жатвы», которую принесла сталинская коллективизация. Банда беспризорных обычно забирала у новичка, в качестве вступительного взноса, часть его одежды, часы и другие ценные вещи и быстро обучала его своему ремеслу – воровству.

Хуже было осиротевшим девочкам. О судьбе одной из них я узнал от того же Шпигельгляса. Весной 1937 года были внезапно арестованы заместитель начальника разведуправления Красной армии Александр Карин и его жена. Обоих расстреляли. До начала службы в разведуправлении Карин несколько лет работал в Иностранном управлении НКВД, помогая Шпигельглясу при выполнении секретных и опасных заданий за границей. Карины и Шпигельглясы дружили семьями; единственная дочь Кариных, которой было к моменту ареста отца тринадцать лет, была лучшей подругой дочери Шпигельгляса.

После ареста Кариных их дочь оказалась на улице, а их квартиру занял один из «людей Ежова». Девочка пришла к Шпигельглясам. «Ты должен меня понять, – втолковывал мне Шпигельгляс, – Я люблю этого ребёнка не меньше собственной дочери. Она пришла ко мне со своим горем, как к родному отцу. Но мог ли я рисковать… и оставить её у себя? У меня язык не повернулся сказать ей, чтобы она уходила. Мы с женой постарались её утешить и уложили спать. Ночью она несколько раз вскакивала с постели с душераздирающими криками, не понимая, где она и что с нею. Утром я пошёл к ежовскому секретарю Шапиро и рассказал ему, в каком положении я очутился. „В самом деле, положение щекотливое, – заметил Шапиро. – Надо найти какой-то выход… Во всяком случае, тебе не стоит держать её у себя… Мой тебе совет: попробуй от неё избавиться!“

„Совет Шапиро, – продолжал Шпигельгляс, – был по существу приказом выгнать ребёнка на улицу. Моя жена вспомнила, что у Кариных были какие-то родственники в Саратове. Я дал девочке денег, купил ей билет на поезд и отправил её в Саратов. Мне было стыдно глядеть в глаза собственной дочери. Жена бес-

престанно плакала. Я старался поменьше бывать дома…“

Через два месяца дочь Кариных вернулась в Москву и пришла к нам. Меня поразило, как она изменилась: бледная, худая, в глазах застыло горе. Ничего детского в её облике не осталось. „Я подала в прокуратуру заявление, – сказала она, – и прошу, чтобы люди, которые живут в нашей квартире, вернули мою одежду“. Так посоветовал сделать человек, приютивший её в Саратове. „Я была в нашей пионерской дружине, – продолжала девочка, – и получила там удостоверение для прокуратуры, что меня два года назад приняли в пионеры. Но пионервожатый потребовал, чтобы я выступила на пионерском собрании и сказала, что одобряю расстрел моих родителей. Я выступила и сказала, что если они были шпионы, то это правильно, что их расстреляли. Но от меня потребовали сказать, что они на самом деле были шпионы и враги народа. Я сказала, что на самом деле… Но мне-то известно, что это неправда и они были честные люди. А те, кто их расстрелял, – вот они и есть настоящие шпионы!“ – сердито закончила она. Девочка отказалась от еды и не пожелала взять денег…»

В это же самое время на митингах и в газетах до небес превозносили «гуманизм сталинской эпохи». Крики обездоленных детей заглушались дифирамбами «сталинской заботе о людях» и «трогательной любви к детям».

4

Уничтожение чекистских кадров в СССР было делом куда более лёгким, чем ликвидация тех же кадров за рубежом. Разумеется, с ними было бы легче расправиться, если бы удалось их заманить в Советский Союз.

Отзыв сотрудников НКВД из-за границы был деликатной операцией, требовавшей особого такта. Массовые расстрелы в СССР заставили закордонных сотрудников серьёзно опасаться за свою собственную судьбу. С другой стороны, отказ сотрудника вернуться из-за границы был связан с опасностью, что он раскроет Западу тайны чекистских операций на территории иностранных государств.

Сталин и Ежов не могли не принять во внимание эти обстоятельства. Чтобы не вызывать паники среди иностранных сотрудников НКВД, они временно воздержались от «чистки» Иностранного управления, которое руководило работой резидентов. Вот почему, безжалостно ликвидировав руководителей всех управлений, Ежов почти год не трогал начальника Иностранного управления НКВД Слуцкого.

У сотрудников, работавших за границей, следовало создать обманчивое впечатление, будто кровавая чистка к ним не относится.

Не доверяя ветеранам Иностранного управления и разрабатывая секретный план их уничтожения, Ежов образовал в декабре 1936 года так называемое Управление специальных операций, подчинённое лично ему. В его задачи входило выполнение за рубежом личных поручений Сталина, которые не могли быть поручены кадровым энкаведистам. В состав Управления входили подвижные группы, укомплектованные террористами и разъезжающие по разным странам с целью убийства лидеров зарубежных троцкистских партий, а также сотрудников НКВД, отказавшихся вернуться на родину. К январю 1937 года это Управление создало нелегальные представительства в трёх европейских столицах и в Мексике. Все его представители жили там с фальшивыми документами.

Отзыв сотрудников НКВД из-за рубежа начался летом 1937 года. Для начала отозвали тех, у кого в СССР оставались семьи. Это была наименее трудная часть операции: в сталинской системе жёны, и дети всегда считались надёжными заложниками. Отозванные сотрудники не были арестованы сразу по прибытии. Как правило, Слуцкий, выслушав их доклады, предоставлял им месячный отпуск и путёвку в южный дом отдыха или санаторий, предназначенный для видных советских чиновников. Оттуда они писали восторженные письма остающимся за границей товарищам. По возвращении с юга следовало назначение этих людей на нелегальную работу в какую-нибудь страну, где раньше им не приходилось бывать. Их снабжали фальшивыми документами; в назначенный день они должны были выехать поездом на новое место назначения. Нередко на вокзале их провожали друзья. Однако путешествие кончалось тут же под Москвой. В дороге их высаживали из поезда и доставляли в секретную тюрьму. Проходило несколько месяцев, прежде чем становилось известно, что эти сотрудники так и не появились в стране назначения.

Приблизительно в июле 1937 года резидент НКВД во Франции Николай Смирнов (его настоящая фамилия была Глинский) был вызван в Москву для доклада. Через неделю по прибытии в Москву он написал жене, остававшейся в Париже, что получил новое назначение – на подпольную работу в Китай и просит её срочно приехать и привезти с собой вещи. Смирнов проработал во Франции четыре года, так что его перевод в другую страну был вполне обычным делом. Парижские сотрудники НКВД ещё много лет оставались бы в неведении относительно судьбы Смирнова, если бы не произошло событие, которого люди Ежова не могли предвидеть.

Недели через две после того, как Смирнов уехал на родину, в Париж вернулась супруга некоего Грозовского – чекиста, работавшего во Франции. Она по секрету поведала женам других сотрудников, что перед отъездом из СССР зашла в гостиницу «Москва», где остановился Смирнов, чтобы получить его, так сказать, благословение на дорогу. Только она собралась постучать в дверь его номера, как дверь распахнулась и вышел Смирнов, сопровождаемый двумя вооружёнными агентами. Ей ничего не оставалось, как скорее повернуться и уйти прочь.

Жена Смирнова выехала в Москву в одном вагоне с советскими дипкурьерами. Вернувшись в Париж, дипкурьеры рассказали сотрудникам советского полпредства, что едва поезд подошёл к перрону Белорусского вокзала, в вагоне появился агент НКВД и попросил Смирнову следовать за ним.

– А где же мой муж? – спросила она, удивлённая тем, что его нет на перроне.

– Он ждёт вас в машине, – ответил агент.

Явно обеспокоенная, она последовала за ним. Когда они вышли из здания вокзала, подъехал старенький открытый газик; агент жестом предложил ей сесть в машину. Смирнова там не было. Несчастная женщина лишилась чувств, и дипкурьерам пришлось помочь агенту уложить её на сиденье автомобиля. С тех пор она как в воду канула.

Когда Ежов услышал, что парижские подчинённые Смирнова знают об его аресте, он велел распустить слух, будто Смирнов был французским и польским шпионом. Французским – потому, что работал во Франции; польским – потому что по происхождению был поляком.

Сотрудники НКВД в Париже не могли в это поверить, ибо знали преданность Смирнова своей стране. С

другой стороны, будь Смирнов агентом французской контрразведки, это означало бы, что он передавал французам секретную информацию, которая была в его распоряжении, и уж наверняка передал бы шифр, с помощью которого резиденты НКВД во Франции сносились с Москвой. Если бы Ежов верил в измену Смирнова, первым долгом он должен был бы распорядиться сменить шифр и порвать все связи с тайными информаторами, которые при Смирнове поставляли резидентам французские секретные документы и сведения. Но Ежов не сделал ни того ни другого: резидентура продолжала пользоваться прежним шифром и услугами всё тех же информаторов.

В течение лета 1937 года под разными предлогами в Москву были отозваны примерно сорок сотрудников. Только пятеро из них отказались вернуться и предпочли остаться за границей; остальные попались в ежовскую ловушку. Из тех, кто не вернулся, я знал Игнатия Рейсса, глубоко законспирированного резидента НКВД, Вальтера Кривицкого, возглавлявшего резидентуру в Голландии, и двух тайных агентов, известных мне под псевдонимами Пауль и Бруно.

Раньше всех вышел из игры Игнатий Рейсс. В середине июля 1937 года он направил советскому полпредству в Париже письмо, предназначенное для ЦК партии. Рейсс информировал ЦК о том, что он порывает со сталинской контрреволюцией и «возвращается на свободу». Из того же письма следовало, что под свободой он понимает «возврат к Ленину, его учению и его делу».

Разрыв Рейсса с НКВД и партией являлся опасным прецедентом, которому могли последовать и другие сотрудники, работавшие за рубежом. Это наверняка привело бы к целой серии разоблачений, касающихся энкаведистских преступлений и кремлёвских тайн.

Когда Сталину доложили об «измене» Рейсса, он приказал Ежову уничтожить изменника, вместе с его женой и ребёнком. Это должно было стать наглядным предостережением всем потенциальным невозвращенцам.

Подвижная группа Управления специальных операций немедленно выехала из Москвы в Швейцарию, где скрывался Рейсс. Агенты Ежова рассчитывали на помощь друга семьи Рейссов, некоей Гертруды Шильдбах. Рейсс доверял госпоже Шильдбах, и с её помощью, действительно, удалось напасть на след «изменника». На рассвете 4 сентября тело Рейсса, изрешечённое пулями, было найдено на шоссе под Лозанной.

Гертруда Шильдбах и её сообщники бежали так поспешно, что в отеле, где они останавливались, остался их багаж. Среди вещей Шильдбах швейцарская полиция нашла коробку шоколадных конфет, отравленных стрихнином. Конфеты явно предназначались для ребёнка «изменника». У Шильдбах не хватило то ли времени, то ли совести, чтобы угостить ими ребёнка, привыкшего доверчиво играть с ней.

Убийство Игнатия Рейсса было организовано с такой быстротой, что он не успел даже сделать разоблачения, касавшиеся Сталина, к которым так стремился.

Не прошло, однако, и двух месяцев – и в СССР отказался вернуться ещё один резидент НКВД – Вальтер Кривицкий, до 1935 года работавший в Разведуправлении Красной армии. Он оставил свой пост в Гааге и приехал в Париж с женой и маленьким сыном.

Ежов немедленно направил во Францию аналогичную подвижную группу, и Кривицкий не прожил бы и месяца, если б не решительная акция французского правительства, которое предоставило ему вооружённую охрану и, кроме того, сделало Кремлю соответствующее предупреждение. В министерство иностранных

дел Франции был вызван советский поверенный в делах Гиршфельд. Его попросили довести до сведения советского правительства, что французская общественность так возмущена только что совершённым похищением бывшего царского генерала Миллера, что в случае повторения советскими агентами аналогичных действий – похищения или убийства неугодных СССР лиц на французской территории, – правительство Франции окажется вынужденным порвать дипломатические отношения с Советским Союзом.

Похищение генерала Миллера, руководителя Российского общевоинского союза, средь бела дня, в самом центре Парижа, действительно ошеломило французов. Эта вылазка советской агентуры, совершённая 23 сентября 1937 года, фактически спасла Кривицкого. Но в конечном счёте он всё же не ушёл от Сталина. В 1941 году его нашли застреленным в одном из номеров вашингтонской гостиницы.

Ряд заграничных сотрудников НКВД исчез, не привлекая в отличие от Рейсса и Кривицкого внимания иностранной печати. Часто их ликвидировали только из-за того, что подозревали в намерениях порвать со сталинским режимом и остаться за границей.

В начале 1938 года в Бельгии был застрелен Агабеков, бывший резидент ОГПУ в Турции, порвавший со сталинским режимом ещё в 1929 году. Как видим, за ним охотились целых десять лет. Убийство Агабекова прошло почти незамеченным. Один только Бурцев, известный русский политэмигрант, регулярно встречавшийся с Агабековым, поднял тревогу после его таинственного исчезновения. Случай с Агабековым показал, что срок давности не имеет для «органов» никакого значения: сколько бы лет ни прошло после отказа резидента вернуться в СССР, люди Сталина рано

или поздно нападут на его след и постараются его уничтожить.

Иностранцам, слабо разбиравшимся в особенностях сталинского аппарата власти, трудно было понять, почему многие советские работники покорно возвращались из-за границы в СССР, где за немногим исключением их ждала верная смерть. Но если подробнее рассмотреть дилемму, стоявшую перед сотрудниками НКВД, оказавшимися за рубежом, мы увидим, что сталинская система террора и шантажа не оставляла им выбора.

Решающим мотивом, удерживающим их от разрыва с режимом, была боязнь репрессий по отношению к членам их семей. Им всем был известен чрезвычайный закон, изданный Сталиным 8 июня 1934 года. Закон предусматривал в случае бегства военнослужащего за рубеж высылку его ближайших родственников в отдалённые районы Сибири, даже при условии, что они не знали о его намерениях. На энкаведистских «оперативках» было объявлено секретное дополнение к этому закону, которое гласило: если сотрудник НКВД откажется вернуться после заграничного задания, либо бежит из СССР, то его близкие подвергаются лишению свободы на срок до десяти лет. А в случае выдачи этим сотрудником государственной тайны, его близким грозила высшая мера наказания – смертная казнь. Отсюда становится понятным, что мало кто отваживался, переступая через трупы близких, порвать со сталинским режимом и обречь себя на вечно опасное существование в чужой стране.

Сотрудники НКВД, работавшие за границей, знали, что едва ли не в каждой стране НКВД имеет платных информаторов среди правительственных чиновников, иногда очень высокого ранга и что с их помощью под-

вижные группы Ежова без труда могут получить адрес «изменника» и прикончить его.

Особенно сложным было положение тех, у кого в семье были маленькие дети. Из Москвы мог поступить приказ попросту выкрасть их. Для бандитов вроде тех, что среди бела дня похитили в Париже двух русских генералов – Кутепова и Миллера, – не составило бы сложности завлечь в ловушку детей – обманом или силой.

Мне думается, что большинство сотрудников НКВД возвращалось в Москву, как только из СССР приходил приказ, ещё и по такой причине: они не знали за собой никаких грехов по отношению к Сталину и его режиму. Странным образом люди верили в то, что по отношению к ним не будет учинено явной несправедливости, хотя и знали, как часто принципы справедливости грубейшим образом попирались, когда дело касалось других людей. Многие сотрудники НКВД надеялись, что, если они добровольно вернутся в Советский Союз именно в то время, когда их товарищей арестовывают и расстреливают, они тем самым докажут Сталину свою беззаветную преданность и уже за одно это заслужат иного отношения.

Среди сотрудников Иностранного управления НКВД, отозванных в 1937 году в СССР, был некто Малли (псевдоним – «Манн»), работавший в Европе в качестве нелегального резидента. Биография этого человека необычна.

В годы первой мировой войны он служил капелланом одного из венгерских полков, входивших в австро-венгерскую армию, и попал в плен к русским. Октябрьская революция сделала Малли большевиком. После гражданской войны партия направила его в ГПУ, где он несколько лет проработал в Управлении контрразведки. В начале 30-х годов его перевели в Иностранное

управление и послали в Западную Европу нелегальным резидентом. В НКВД Малли пользовался репутацией одного из лучших работников своего управления. В то время как любому русскому сотруднику разведки приходилось скрывать свою национальность и усиленно работать над собой, чтобы сойти за гражданина какой-либо из европейских стран, Малли был прирождённым европейцем. Его с равной лёгкостью принимали за венгра, австрийца, немца или швейцарца. Он отличался смелостью и охотно брался в гитлеровской Германии за выполнение самых опасных заданий, каждое из которых могло кончиться для него смертью в гестаповском застенке. Слуцкий, очень ценивший Малли, приписывал его успехи внешнему обаянию этого человека и его внутреннему такту в общении с людьми. Внешне Малли, действительно, был очень привлекателен. Высокий, суровое мужественное лицо. Большие голубые глаза с почти детским выражением.

Несмотря на свой солидный стаж в партии и заслуги перед «органами», Малли очень стеснялся своего «поповского» прошлого. Ему казалось, что все вокруг и даже его коллеги видят в нём прежде всего бывшего венгерского капеллана. Поэтому Малли даже не мог считать себя полноценным членом партии, хотя, как известно, сам Сталин учился в духовной семинарии и до двадцатилетнего возраста зубрил катехизис, собираясь стать священником.

В дальнейшем оказалось, что это чувство неполноценности сыграло в жизни Малли роковую роль. И произошло это как раз в тот критический момент, когда следовало бы освободиться от подобных предрассудков и обрести полную ясность мышления.

В июле 1937 года Малли был отозван в Москву. Возвращаясь в СССР, он встретил в Париже одного из своих коллег, они заговорили об арестах и расстрелах

чекистов, что для тех дней было обычным. Малли был очень подавлен тем, что именно в такое время ему приходится возвращаться в Москву. К тому же он знал, что трое его старых друзей по НКВД – Штейнбрук, Сили и Бодеско, подобно ему взятые русскими в плен в первую мировую войну, уже арестованы. Всё это не предвещало лично Малли ничего хорошего. «Я знаю, – мрачно заметил он – у меня, бывшего попа, нет шансов на спасение. Но я решил ехать, чтобы никто потом не говорил: этот поп и вправду оказался-таки шпионом!»

Я не очень понимал, что его заставляет ехать в Москву. Он не был связан по рукам и ногам, как многие из его русских коллег в Париже. Такие мотивы, как любовь к родине или страх за близких, тоже не играли для него никакой роли. Его родиной была Венгрия, а не Россия, и родных в СССР у него не было. Быть может, он решился на столь отчаянный шаг в силу профессиональной привычки к смертельной опасности? Или он полагал, что человеку, прошедшему путь от священника до атеиста и чекиста, нет больше места в буржуазном обществе?

Итак, Малли вернулся в Москву. Месяца три он спокойно работал в Иностранном управлении НКВД. Многие решили было, что он перехитрил судьбу и каким-то чудом избежал верной гибели. Однако в ноябре 1937 года Малли внезапно исчез. С тех пор о нём ничего не было известно.

В то время как разгром всех остальных управлений НКВД завершился очень быстро, аресты сотрудников Иностранного управления производились с большой осмотрительностью и были, так сказать, строго дозированными. До тех пор, пока начальник этого управления Слуцкий находился на своём посту, многим казалось, что Сталин решил не ослаблять это управление поголовными арестами, а, напротив, поберечь

наиболее квалифицированные кадры, знающие заграницу и владеющие иностранными языками.

К началу 1938 года в СССР вернулось большинство ветеранов НКВД, работавших за рубежом. Теперь Сталин уже более не нуждался в сохранении такой приманки, как всё не смещённый Слуцкий… 17 февраля в рабочее время Слуцкого, вызвали в кабинет его старого друга Михаила Фриновского, которого Ежов сделал одним из своих заместителей. Спустя полчаса Фриновский позвонил заместителю Слуцкого Шпигельглясу: «Зайдите ко мне!» В просторном кабинете Фриновского Шпигельгляс прежде всего увидел странную фигуру Слуцкого, бессильно сползшую с кресла. На столе перед ним стояли стакан чая и тарелка с печеньем. Слуцкий был мёртв. Шпигельгляс сразу же подумал, что Слуцкого убили, но лучше было не задавать вопросов. Нервничая, он предложил позвать врача, однако Фриновский заметил, что врач только что был и «медицина тут не поможет». «Сердечный приступ», – небрежно добавил он с видом знатока.

Фриновский назначил Шпигельгляса исполняющим обязанности начальника Иностранного управления и попросил его разослать во все зарубежные резидентуры циркулярное письмо, информирующее о смерти Слуцкого. По просьбе Фриновского Слуцкий был охарактеризован в этом письме как «верный сталинец, сгоревший на работе» и «крупный деятель, которого потерял НКВД». Эта фразеология должна была усыпить подозрения тех немногих ветеранов Иностранного управления, которые всё ещё находились за границей. Продолжая этот фарс, Ежов распорядился, чтобы гроб с телом Слуцкого был выставлен в главном клубе НКВД «для прощания с умершим» и чтобы вокруг гроба нёс дежурство почётный караул.

Этот маскарад, однако, не достиг цели, скорее наоборот. Сотрудники НКВД кое-что смыслили в судебной медицине и сразу же заметили на лице покойного характерные пятна – признак цианистого отравления.

Ежов не спешил рассылать циркулярное письмо о смерти Слуцкого, составленное Фриновским и Шпигельглясом: его не передали по телеграфу, а послали обычной дипломатической почтой, так что многие из работающих за границей узнали о смерти Слуцкого с трёхнедельным опозданием. Я, например, получил циркулярное письмо на двенадцатый день после смерти Слуцкого. За эти дни мне пришлось отправить несколько телеграмм на его имя и получить на них телеграфные ответы за его подписью. В «Правде», прибывшей к нам одновременно с циркулярным письмом, был опубликован короткий некролог, подписанный: «Группа товарищей». Ни нарком Ежов, ни его заместители не сочли нужным поставить свои подписи под некрологом.

Армия обезглавлена

1

После расстрела старых большевиков, фигурировавших на двух московских процессах, и массовой расправы с сотрудниками НКВД террор, развязанный Сталиным, казалось, пошёл на убыль. Даже самые большие пессимисты не могли представить себе, что этот кошмар ещё будет иметь продолжение. Но Сталин всегда имел в запасе сюрприз, который невозможно было предвидеть даже хорошо знавшим его людям.

11 июня 1937 года советские газеты поместили краткое правительственное сообщение, где было сказано, что маршал Тухачевский и семеро других крупных военных арестованы и предстанут перед военным трибуналом по обвинению в шпионаже в пользу «иностранного государства». Они были также обвинены в подготовке поражения Красной армии в войне, замышляемой капиталистическими государствами против Советского Союза. Наутро следующего дня было опубликовано новое официальное сообщение: суд состоялся, все обвиняемые приговорены к расстрелу, приговор приведён в исполнение. При этом правительство сочло уместным упомянуть, что в состав военного трибунала входил ряд крупных военных.

Итак, 12 июня советский народ узнал, что уничтожены прославленный маршал Тухачевский и такие видные военные, как Якир, Уборевич, Корк, Путна, Эйдеман, Фельдман и Примаков, ещё вчера считавшиеся цветом армии и выдающимися стратегами.

Даже члены ЦК и большинство членов Политбюро не подозревали, что Сталин пойдёт на то, чтобы расправиться с этими людьми. Только когда до расправы оставались считанные дни, Сталин созвал чрезвычайное заседание Политбюро, на котором нарком оборо-

ны Ворошилов сделал доклад о заговоре, раскрытом в Красной армии. Уже то обстоятельство, что среди этих военных, обвиняемых в шпионаже в пользу Гитлера, трое были евреи, делало подобные обвинения просто смешными. К тому же члены Политбюро знали, что если бы Тухачевский и его товарищи действительно были гитлеровскими агентами, то и Ворошилову не пришлось бы делать этот доклад перед Политбюро: он сам оказался бы арестован за «преступную беспечность». Ведь получалось, что, являясь наркомом обороны, он окружил себя шпионами и изменниками и, доверив им важнейшие военные округи Советского Союза, подвёл страну к краю пропасти.

На этом заседании члены Политбюро вели себя именно так, как предполагал Сталин. Каждый из них знал, что достаточно любого неосторожного вопроса и, выйдя отсюда, он попадёт не домой, а в тюрьму. Каждый помнил, что личный шофер и телохранитель приставлены к нему ни кем иным, как наркомом внутренних дел Ежовым.

После расстрела Тухачевского и его товарищей по армии прокатилась волна арестов. Любой командир, назначенный на должность кем-либо из казнённых, автоматически попадал под подозрение. Если учесть, что Тухачевский многие годы был заместителем Ворошилова, – нетрудно представить, скольких командиров он назначил, сколько подписал бумаг! И все упомянутые в этих документах оказались внесёнными в чёрные списки.

Ежедневно во всех военных округах СССР исчезали сотни командиров Красной армии. Вместе с ними шли за решётку их ближайшие помощники и все те, кто считался их друзьями. Проходили недели и даже месяцы, прежде чем арестованным удавалось подыскать

замену. Часто, впрочем, бывало, что и те тоже арестовывались, как только доходила до них очередь.

Летом 1937 года Сталин восстановил в армии должности политических комиссаров, упразднённые Лениным в конце гражданской войны. В гражданскую войну комиссары приставлялись к боевым командирам по той причине, что этим командирам – в недавнем прошлом офицерам царской армии – новая власть не могла полностью доверять. Теперь Сталин приставил комиссаров к иным командирам, выросшим и получившим военное образование уже в годы советской власти. Получалось, что им тоже не доверяют. И действительно, Сталин начал относиться к командному составу армии, как к своим врагам; теперь уже трудно было понять, добивался ли он их ареста потому, что не доверял им, или, наоборот, полагал, что им больше нельзя доверять, так как они должны быть арестованы. Авторитет командного состава в армии резко упал, соответственно упала и дисциплина. Армия оказалась настолько деморализованной, что уже не могла считаться мощной боевой силой, и, несомненно, если бы Гитлер воспользовался этим для нападения на СССР, он одержал бы победу.

На партийных собраниях и митингах в воинских частях люди постоянно задавали один и тот же вопрос: «Кому же можно верить?» Такой вопрос ставил вновь назначенных комиссаров в затруднительное положение, и они обращались в ЦК за разъяснениями. «Доверяйте своим командирам», – гласил демагогический ответ ЦК.

К августу 1937 года аресты советских боевых командиров докатились и до Испании. Многие из советских военачальников, приданные в качестве, советников генеральному штабу испанской республиканской армии, были отозваны Ворошиловым в Москву и расстреляны

без суда. Среди них были (я называю псевдонимы, под которыми их знали в Испании) Колев и Валуа – командиры бригад, помогавшие испанскому правительству создавать республиканскую армию; Горев, командир советской танковой бригады, работавший советником командующего Мадридским фронтом и вынесший на своих плечах всю тяжелейшую кампанию по защите Мадрида. Среди уничтоженных оказался даже близкий друг и собутыльник Ворошилова – Ян Берзин, который под псевдонимом «Гришин» работал главным военным советником при испанском правительстве.

Любопытно, что Горева арестовали всего через два дня после того, как на специально устроенном торжестве в Кремле Калинин вручил ему орден Ленина за исключительные заслуги в испанской гражданской войне. Этот эпизод показывает, что даже члены Политбюро не знали, кто занесён в чёрные списки. Такие списки вели и такие дела решали двое: Сталин и Ежов (а в дальнейшем – Сталин и Берия).

Если в уничтожении Сталиным старых большевиков ещё можно было усмотреть какую-то, пусть извращённую логику, то теперь все недоумевали: зачем Сталину понадобилось разрушать собственную военную машину, оплот его личной власти, и уничтожать наиболее выдающихся боевых командиров, которых он сам отбирал и назначал.

Среди иностранных дипломатов в Москве получила распространение легенда о «больном человеке в Кремле». Полагали, что столь чудовищные действия мог предпринять лишь ненормальный, охваченный манией преследования. Но нет, всемогущий диктатор не был безумцем. Когда станут известны все факты, связанные с делом Тухачевского, мир поймёт: Сталин знал, что делает.

2

Я сделал всё, что было в моих силах, чтобы узнать детали трагедии, происшедшей с Тухачевским. Больше всего меня интересовали показания маршала и его товарищей на суде. Мои друзья и знакомые по НКВД, наезжавшие в Испанию, по своему положению обязаны были знать то, что происходило на суде, поскольку аппарату НКВД всегда поручались подготовка и охрана таких судилищ. Однако эти люди пожимали плечами: до того момента, как в газетах появилось сообщение о расстреле руководителей Красной армии, они и понятия не имели об этом судебном процессе.

Подробности, интересовавшие меня, я узнал только в октябре 1937 года от Шпигельгляса. Оказывается, не было никакого трибунала, судившего Тухачевского и его семерых соратников: они просто были втайне расстреляны по приказу, исходившему от Сталина.

– Это был настоящий заговор! – восклицал Шпигельгляс. – Об этом можно судить по панике, охватившей руководство: все пропуска в Кремль были вдруг объявлены недействительными, наши части подняты по тревоге! Как говорил Фриновский, «всё правительство висело на волоске» невозможно было действовать как в обычное время – сначала трибунал, а потом уж расстрел. Их пришлось вначале расстрелять, потом оформить трибуналом!

Как утверждал Шпигельгляс, сразу же после казни Тухачевского и его соратников Ежов вызвал к себе на заседание маршала Будённого, маршала Блюхера и нескольких других высших военных, сообщил им о заговоре Тухачевского и дал подписать заранее приготовленный «приговор трибунала».

Каждый из этих невольных «судей» вынужден был поставить свою подпись, зная, что в противном случае

его просто арестуют и заклеймят как сообщника Тухачевского.

Через некоторое время среди военных в Испании начал циркулировать слух, будто арестован Ворошилов. Это выглядело вполне правдоподобно, так как Ворошилов, будучи наркомом обороны, нёс персональную ответственность за кадры своего наркомата. Слух произвёл большое впечатление на Н., одного из высших военных советников испанского правительства. Однажды на каком-то военном совещании Н. отозвал меня в сторону и заговорщицким тоном спросил, известно ли мне об аресте Ворошилова и не знаю ли я, кто привёз такое сообщение из СССР. Н. имел серьёзные основания для беспокойства: в течение ряда лет он был одним из ближайших сотрудников наркома и теперь, зная сталинский «почерк», боялся, что ему придется разделить его судьбу. Даже, когда выяснилось, что слух не соответствует действительности, Н. не мог себя чувствовать в безопасности. Сегодня слух не подтвердился – может подтвердиться завтра: как-никак Ворошилов является наркомом обороны, и ведь именно в его ведомстве был раскрыт заговор, направленный против Сталина.

Н. решил совершить непродолжительную поездку в Москву, якобы для того, чтобы доложить Ворошилову о ходе войны в Испании. В Москве он пробыл около двух недель. Ворошилов обещал взять его с собой к Сталину, тоже для краткого доклада об Испании, но Сталин его почему-то не принял. Просил Н. и о встрече с Ежовым, в ту пору самым влиятельным после Сталина человеком в СССР. Однако и Ежов уклонился от встречи. Ежов не только занимал тогда должность наркома внутренних дел, но и нёс ответственность за работу Главного разведывательного управления Красной

армии, которое Сталин изъял из ведения Ворошилова после «дела Тухачевского».

Н. вернулся в Испанию не таким нервным, но и далеко не успокоенным. С места в карьер он объявил мне, что Политбюро взяло «новую линию» по отношению Испании. До сих пор советская политика состояла в максимальной помощи республиканскому правительству вооружением, лётчиками, танковыми экипажами – и всё для того, чтобы обеспечить республиканцам быструю победу над Франко. Теперь же Политбюро пришло к выводу, что для Советского Союза более выгодно иметь в Испании «равновесие сил», при котором война должна продолжаться, «сковывая Гитлера», как можно дольше. Все указания, полученные Н. от Ворошилова, основывались именно на этом решении Политбюро. Я не меньше своего собеседника был поражён этими макиавеллиевскими расчётами: чтобы выиграть время для подготовки обороны против Гитлера, Политбюро пошло на то, чтобы испанский народ как можно дольше истекал кровью.

Делясь со мной прочими московскими новостями, Н. коснулся и дела Тухачевского:

– Клим Ефремович до сих пор не может прийти в себя. Только сталинская решительность и ежовская оперативность спасли положение. Ребята Ежова перестреляли их безо всяких церемоний… Клим говорит, нельзя было мешкать ни часу!..

В дальнейшем Н. ещё раз вернулся к тому же делу:

– Клима больше всего потрясла измена Гамарника. Это было действительно невероятно: мы все смотрели на Гамарника как на святого…

Гамарник был заместителем «Клима» по политической части. Советские газеты сообщали, что он покончил самоубийством за одиннадцать дней до расправы с Тухачевским.

Могут спросить: как Сталин допустил, чтобы военные, поставившие свои подписи под фальшивым приговором, узнали, что Тухачевский и другие расстреляны без суда?

Сталин сам ответил на этот вопрос: использовав авторитет имён этих видных военных для формального прикрытия убийства Тухачевского и других высших командиров Красной армии, он поспешил ликвидировать и самих «судей», оказавшихся свидетелями его грязного преступления. Не прошло и года, как один за другим были арестованы и уничтожены «судьи» маршала Тухачевского: командующий военно-воздушными силами Алкснис, командующий Дальневосточной армией маршал Блюхер, командующий войсками Ленинградского военного округа Дыбенко; командующий войсками Белорусского военного округа Белов и командующий войсками Северокавказского военного округа Каширин. Против них не было выдвинуто никаких обвинений, не было проведено ничего похожего на суд. Они были попросту «ликвидированы» в самом прямом и зловещем значении этого слова.

Лишь двое «судей» Тухачевского выжили – маршал Будённый и будущий маршал Шапошников. Будённый, в прошлом унтер-офицер одного из казачьих полков царской армии, был приятелем, и собутыльником Сталина ещё со времён гражданской войны. Это был толстокожий тип, далёкий от «высоких материй», известный своими пьяными кутежами и охочий до женщин – сотрудниц своего «секретариата». Сталину нечего было стесняться или опасаться Будённого.

Второй «судья» – Шапошников – до революции был полковником царской армии и по своим убеждениям монархистом. В первые месяцы революции он оказался свидетелем уничтожения многих своих друзей-офицеров. Он жил в постоянном страхе за

собственную жизнь до тех пор, пока в один прекрасный момент Сталин не заметил его и не взял под свою опеку.

Одним из пяти маршалов Советского Союза был Александр Егоров. Революцию он встретил подполковником царской армии, а в гражданскую войну командовал одной из армий, которые, будучи подчинены Тухачевскому, сражались на польском фронте. В те дни Сталин входил в состав егоровского штаба как политический комиссар (так называемый «член реввоенсовета») и привык с уважением относиться к военным способностям Егорова. Они подружились. Спустя многие годы, когда Сталин перекраивал историю гражданской войны, оплёвывая Троцкого и выпячивая свою персону, он неоднократно привлекал в помощь Егорова как «беспристрастного» свидетеля. Егоров оставался одним из четырёх сталинских компаньонов, неизменно приглашавшихся на попойки, которые Будённый устраивал для Сталина на своей даче. Став абсолютным диктатором, Сталин отказался от подобных подхалимских услуг со стороны почти всех прежних друзей. Тем не менее дружеские отношения с Егоровым сохранялись: Сталин и Егоров даже были друг с другом на «ты», как давние приятели. В общем, когда Сталин начал методично уничтожать верхушку Красной армии, никто из «хорошо информированных» людей не думал, что террор затронет Егорова.

Летом 1937 года один из моих близких друзей, хорошо знавший Егорова и друживший с его дочерью, вернулся в Испанию из очередной поездки на родину. От него я услышал о следующем странном эпизоде.

Вскоре после казни Тухачевского Сталин предложил Егорову занять его роскошную дачу. В ответ Егоров только покачал головой:

– Нет, спасибо! Я человек суеверный…

От Сталина не спаслись ни осторожные, ни суеверные. В конце февраля 1938 года маршал Егоров был неожиданно снят с поста заместителя наркома обороны и вскоре бесследно исчез.

3

Хотя армейская верхушка уже изрядно поредела в результате «чисток», Сталин требовал от НКВД всё новых и новых арестов высших командиров армии. Это была своего рода профилактика. Сталин понимал, что высшие военные, пережившие террор, не забудут об уничтожении своих товарищей и не избавятся от опасений, что та же судьба может постичь и их. На сталинском жаргоне такое состояние умов называлось «нездоровыми настроениями». Избавить от «нездоровых настроений» могло, по мнению Сталина, лишь одно радикальное средство.

Военными дело не ограничилось. В безудержной вакханалии террора, охватившей страну, самым страшным было то, что никто не мог хотя бы приблизительно объяснить себе смысл происходящего. Жертвами новой волны террора становились не бывшие оппозиционеры, а ближайшие соратники Сталина, помогавшие ему захватить власть. Легенда о «больном человеке, сидящем в Кремле», проникла уже в партию и народные массы. С каким бешенством Сталин набросился на своих самых преданных сподвижников, как основательно он разгромил собственную государственную машину, можно судить даже на основе простого перечня жертв.

За вторую половину 1937 года и 1938 год были арестованы следующие члены советского правительства, никогда не участвовавшие ни в какой антисталинской оппозиции.

Народные комиссары: тяжёлой промышленности – Межлаук; финансов – Гринько; земледелия – последовательно Чернов и Яковлев; торговли – Вейцер; связи – Халепский; военной промышленности – Рухимович; юстиции – Крыленко; совхозов – Калманович; просвещения – Бубнов; водного транспорта – Янсон.

Председатели ВЦИК (Всесоюзного центрального исполнительного комитета) – последовательно Енукидзе, Акулов и Уншлихт;

Председатель правления Госбанка – Марьясин;

Заместитель председателя Совнаркома – Антипов;

Заместитель наркома тяжёлой промышленности – Серебровский;

Заместитель наркома внешней торговли – Элиава;

Члены Политбюро – Косиор и Рудзутак.

Эти люди все до одного были преданы Сталину. И я убеждён, что до последней минуты никто из них не знал, по какой причине его арестовали и зачем Сталину понадобилось лишать его жизни.

Здесь перечислены только члены союзного правительства и союзного Политбюро. Но такая же резня была организована на Украине, в Белоруссии и других республиках. На Украине она сопровождалась самоубийством главы украинского правительства Любченко, в Белоруссии – самоубийством Червякова, председателя президиума Верховного совета республики.

К концу 1937 года союзные наркоматы и другие общегосударственные учреждения остались без руководства. Все промышленные предприятия оказались в полупарализованном состояний. Всюду требовались новые администраторы, новые директора. Но Сталин опасался назначать их из оставшегося числа опытных кадров, имевшихся в распоряжении ЦК, так как эти люди были в той или иной степени связаны по про-

шлой работе с теми, кого он истребил. Поэтому он назначал руководить важными государственными учреждениями, и даже целыми наркоматами, совершенно случайных людей, притом с такой поспешностью, с какой в нормальные времена не набирают даже рядовых служащих.

Для иллюстрации приведу такой случай, ставший мне известным, что называется, из первых рук. Однажды вечером в Московском институте внешней торговли появились два представителя ЦК партии. Они попросили директора института и членов партбюро назвать им двух политически проверенных студентов, которых можно было бы порекомендовать на «ответственные должности». Члены институтского партбюро, посовещавшись, назвали две фамилии: одна звучала Чвялев, другую я забыл. Гости просили директора института безотлагательно прислать обоих студентов в отдел кадров ЦК. Прошло дня два, преподаватели и студенты института, раскрыв свежие газеты, не поверили своим глазам: там были опубликованы официальные постановления о назначении Чвялева, ещё недавно работавшего скромным служащим советского торгпредства в Германии, ни много ни мало наркомом внешней торговли. Стал членом правительства и второй студент: он тоже получил какой-то наркомат.

Насильственная смерть не обошла также и руководителей кавказских республик, то есть той части страны, где Сталин родился и вырос. Там он лично знал всех руководителей. Они относились к нему с особой неприязнью, так как слишком многое знали о его прошлом. Ему требовалось избавиться от них прежде, чем им придёт в голову писать свои мемуары. Эта задача была возложена на секретаря Закавказского ЦК партии Лаврентия Берия, который в прошлом был руководителем НКВД Закавказья.

В июне 1938 года в Тбилиси закончился наконец поединок, годами продолжавшийся между Сталиным и одним из самых известных большевиков Закавказья – Буду Мдивани, бывшим руководителем грузинского правительства. Мдивани, знавший Сталина с юных лет, одним из первых разглядел за сталинскими интригами его диктаторские замашки. Дело происходило в 20-х годах, ещё при жизни Ленина. Мдивани и Сталин тогда поссорились, и Ленин принял сторону Мдивани.

Когда инквизиторы из НКВД пытались уговорить Мдивани дать ложные показания, направленные против себя и других бывших руководителей Грузии, он ответил им классической фразой:

– Вы убеждаете меня, что Сталин обещал сохранить старым большевикам жизнь? Я знаю Сталина тридцать лет. Он не успокоится, пока не перережет нас всех, начиная от грудного младенца и кончая слепой прабабушкой!

Мдивани отказался оклеветать себя и был расстрелян.

Ягода в тюремной камере

1

В кошмарной атмосфере бессудных расстрелов и безотчётного ужаса, охватившего всю страну, энергично шла подготовка третьего московского процесса, на который надлежало вывести последнюю группу старых большевиков, сподвижников Ленина. Сталинские инквизиторы орудовали теперь более уверенно. Во-первых, их методы прошли успешную проверку на двух первых процессах. Во-вторых, психоз всеобщего страха, порождённый массовым террором этих лет, вооружил следователей дополнительными средствами воздействия на обвиняемых.

Теперь, когда требовалось сломить их волю, угрозы заметно преобладали над обещаниями. Если во время подготовки двух предыдущих процессов ещё не все арестованные верили, что Сталин может привести в исполнение дикие угрозы, относящиеся к их детям, то теперь никто из обвиняемых не сомневался в серьёзности таких угроз. Чтобы на этот счёт не оставалось иллюзий, Ежов распорядился подсаживать в каждую тюремную камеру под видом арестованных агентов НКВД. Эти агенты должны были рассказывать другим заключённым истории о том, как десяти- двенадцатилетних детей выводили на расстрел вместе с родителями. В садистской атмосфере моральных пыток, расстрелов и самоубийств можно было поверить всему.

Здесь мне хотелось бы упомянуть несколько действительных фактов, относящихся к судьбе детей старых большевиков. Помню, осенью 1937 года до иностранных сотрудников НКВД дошёл слух, что Ежов приказал руководителям управлений НКВД в периферийных областях страны арестовывать детей расстрелянных партийцев и выносить им приговоры на основе тех же

статей Уголовного кодекса, которые были применены к их родителям. Слух представлялся настолько невероятным, что ни я, ни мои товарищи не принимали его всерьёз. Действительно, как можно было поверить тому, что Сталин сможет обвинить десяти- двенадцатилетних детей в заговоре с целью свержения советского правительства? Впрочем, слухи были очень упорными и доходили до нас вновь и вновь, притом через хорошо информированных людей.

Мне не удалось тогда получить конкретные сведения о судьбе детей казнённых партийцев, а после моего разрыва со сталинщиной вообще было трудно рассчитывать, что когда-нибудь ко мне в руки попадут эти данные. Но жизнь полна неожиданностей – ситуация в какой-то степени прояснилась довольно скоро, притом вполне открыто, с помощью официальной советской печати.

В конце февраля 1939 года в советских газетах появилось сообщение об аресте некоего Лунькова, начальника управления НКВД в Ленинске-Кузнецке, и его подчинённых за то, что они арестовывали малолетних детей и вымогали у них показания, будто те принимали участие в заговоре с целью свержения советского правительства. Согласно этому сообщению, детей держали в переполненных камерах, вместе с обычными уголовниками и политическими заключёнными. В газетах был описан случай, когда десятилетний мальчик, по имени Володя, в результате допроса, длившегося всю ночь, сознался, что в течение трёх лет состоял в фашистской организации.

Один из свидетелей обвинения на суде показывал:

– Мы спрашивали ребят, например, откуда им известно, что такое фашизм. Они отвечали примерно так: «Фашистов мы видели только в кино. Они носят белые фуражки». Когда мы спросили ребят о троцки-

стах и бухаринцах, они ответили: «Этих людей мы встречали в тюрьме, где нас держали».

Раз дети встречались с троцкистами и бухаринцами в тюрьме, то, значит, троцкисты и бухаринцы в свою очередь видели там детей и, безусловно, знали, что они обвинены в антигосударственном заговоре и в других преступлениях, караемых смертью. Ничего удивительного, что обвиняемые, представшие перед судом на третьем из московских процессов, готовы были любой ценой сохранить жизнь собственным детям и уберечь их от сталинского пыточного следствия.

Пусть никого не удивляет то обстоятельство, что Сталин решился вынести на открытый суд некоторые факты, порочащие его систему. Это была обычная для Сталина тактика: когда его преступления получали огласку, он спешил снять с себя всякую ответственность и переложить вину на своих чиновников, выводя их напоказ в открытых судебных процессах. Им тоже была дорога собственная жизнь, и на таких судах не прозвучало ни слова о том, что они совершали преступления, руководствуясь прямыми указаниями сверху.

На третьем московском процессе, начавшемся в Москве в марте 1938 года, в качестве главных обвиняемых фигурировали: Николай Бухарин, бывший глава Коминтерна, член ленинского Политбюро и один из крупнейших теоретиков партии; Алексей Рыков, тоже бывший член Политбюро и заместитель Ленина в Совете народных комиссаров, после ленинской смерти возглавивший советское правительство; Николай Крестинский, бывший секретарь ЦК партии и заместитель Ленина по организационным вопросам; Христиан Раковский, один из самых уважаемых старых членов партии, имеющий огромные заслуги перед революцией и назначенный, по указанию Ленина, руководителем советской Украины.

И вот рядом с этими прославленными деятелями партии на скамье подсудимых оказалась одиозная фигура, появление которой среди арестованных друзей и соратников Ленина было сенсацией мирового значения.

Речь идёт о бывшем руководителе НКВД Генрихе Ягоде. Тот самый Ягода, который полтора года назад, роковой августовской ночью 1936 года, стоял с Ежовым в подвале здания НКВД, наблюдая, как происходит расстрел Зиновьева, Каменева и других осуждённых на первом процессе. А теперь сам Ягода, по приказу Сталина, посажен на скамью подсудимых как участник того же самого заговора и один из ближайших сообщников Зиновьева, Каменева, Смирнова и других старых большевиков, которых он же пытал и казнил.

Более чудовищную нелепость трудно было себе представить. Казалось, что Сталин весь свой талант фальсификатора израсходовал на организацию первых двух процессов и его «творческое» воображение исчерпало себя…

Подлинное же объяснение того, что поверхностному наблюдателю могло казаться просто нелепостью, составляет один из главнейших секретов всех трёх московских процессов. Дело в том, что Сталин применил такой «идиотский» ход отнюдь не по недомыслию. Напротив, он был чрезвычайно проницателен и дьявольски ловок, когда дело касалось политических интриг. Просто он не смог избежать специфических трудностей, с какими сталкиваются все фальсификаторы, когда следы их подлогов становятся явными.

Итак, выдумав чудовищную нелепость, будто Ягода был сообщником Зиновьева и Каменева, Сталин полностью снимал с себя ответственность за некое давнее преступление, следы которого оказались недостаточно

затёрты и вели прямо к нему, Сталину. Этим преступлением было всё то же убийство Кирова.

Я уже писал, что наутро после убийства Кирова Сталин, оставив все дела, прибыл в Ленинград – якобы для расследования обстоятельств убийства, а в действительности, чтобы проверить, соблюдены ли все необходимые предосторожности. Обнаружив, что в деле отчётливо проступает «рука НКВД», он сделал всё для того, чтобы замести следы этого участия. Он поспешил отдать приказ о расстреле убийцы Кирова и распорядился ликвидировать без суда всех, кто знал о роли НКВД в этом деле.

Однако напрасно Сталин думал, что тайна убийства Кирова так и останется навсегда тайной. Он явно просчитался, не придав значения, скажем, тому факту, что заместителей Кирова удивило таинственное исчезновение его охраны из злополучного коридора. Заместители Кирова знали также, что его убийца – Николаев – за две недели до того уже был задержан в Смольном, что при нём и тогда был заряженный револьвер, и тем не менее, спустя две недели ему снова выдали пропуск в Смольный.

Но наиболее подозрительным, что подтверждало слухи, будто Киров был «ликвидирован» самими властями, выглядел сталинский приказ Агранову и Миронову: очистить Ленинград от «кировцев». В ленинградское управление НКВД были вызваны сотни видных деятелей, составлявших основу кировского политического и хозяйственного аппарата. Каждому из них было предписано в течение недели покинуть Ленинград и переехать на новое место работы, которое было подобрано, как правило, в отдалённых районах Урала и Сибири.

Впервые в истории советского государства партийные чиновники получали новое назначение не от

партии, а от НКВД. Срок, назначаемый для выезда, был столь кратким, что многие директора предприятий не успевали передать дела. Попытки опротестовать этот произвол или получить какие-то разъяснения наталкивались на стереотипный ответ: «Вы слишком засиделись в Ленинграде». В течение лета 1935 года таким образом было выслано из Ленинграда около 3500 человек. Вся эта кампания очень напоминала чистку городских организаций от «зиновьевцев» несколькими годами ранее, после поражения зиновьевской оппозиции. Неудивительно, что в партийных кругах ходил слух о том, что Киров возглавил новую оппозицию, но её удалось уничтожить в зародыше.

Сотрудникам НКВД также было известно больше чем следовало, и, видимо, через них информация о том, что ленинградское управление НКВД приложило руку к убийству Кирова, просочилась в аппарат ЦК.

В тех кругах партийцев, которые ориентировались в обстановке, было известно, что Ягода – лишь номинальный руководитель НКВД, а подлинный хозяин этого ведомства – Сталин. Эти круги прекрасно понимали (или догадывались), что раз НКВД замешан в убийстве Кирова, значит, убийство совершено по указанию Сталина.

О том, что тайна убийства Кирова в общем-то перестала быть тайной, Сталин узнал с запозданием. Ягода, снабжавший его разнообразной информацией, в том числе и сводками различных слухов и настроений, боялся докладывать об этом. В ушах Ягоды всё ещё звучала бешеная сталинская реплика: «Мудак!», брошенная ему в Ленинграде. Видные члены ЦК, постепенно узнавшие тайну убийства Кирова, тоже не спешили сообщить об этом Сталину, поскольку этим они автоматически зачислили бы себя в категорию людей, знающих «слишком много».

В общем, когда всё это стало известно Сталину, было уже поздно думать о более тщательном сокрытии истины. Оставалось только одно; объявить открыто, что убийство Кирова было делом рук НКВД, и отнести всё на счёт Ягоды. А поскольку на первых двух московских процессах ответственность за это убийство была возложена на Зиновьева и Каменева, то теперь Ягода должен был стать их сообщником. Таким образом, извилистые увёртки, обычно сопровождающие любое мошенничество, заставили Сталина свести воедино две взаимоисключающие версии. Так родилась эта абсурдная легенда, будто Ягода, возглавлявший подготовку первого московского процесса, а затем казнивший Зиновьева и Каменева, в действительности был их сообщником.

2

Появление всемогущего начальника сталинской тайной полиции на скамье подсудимых произвело в стране фурор. Тем более что Сталин, по своему обычаю, навесил на него множество невероятных грехов. Оказывается, Ягода, в течение пятнадцати лет возглавлявший советскую контрразведку, сам являлся иностранным шпионом. Уже одно это звучало фантастически. Но сверх того, Ягода, известный всей стране как свирепый палач троцкистов, сам оказался троцкистом и доверенным агентом Троцкого.

Это Ягода опрыскивал стены ежовского кабинета ядом, чтобы умертвить Ежова. Это он набрал целую команду врачей, чтобы «залечить насмерть» тех, кого он не решался убить в открытую. При упоминании подобных приёмов в уме воскресали легенды об умерщвлении соперников ароматом ядовитых цветов и дымом отравленных свеч.

Однако народ не мог расценивать всё происходящее как всего лишь кошмарную легенду. Прозаические стенограммы судебных заседаний, сообщения о расстрелах обвиняемых придавали этим кошмарам пугающую реальность. Из всего происходящего люди могли сделать единственно важный для себя вывод: уж если всемогущего Ягоду так бесцеремонно бросили в тюрьму, то никто в СССР не может чувствовать себя в безопасности. Коль скоро сам создатель инквизиторской машины не смог выстоять под её давлением, то уж никакой смертный не должен надеяться на поблажку.

Если бы у Сталина не возникла насущная потребность обвинить Ягоду в убийстве Кирова, он, конечно, не посадил бы его на скамью подсудимых. Потерять Ягоду, отказаться от его бесценных услуг – было серьёзной жертвой для Сталина. За пятнадцать лет, что они проработали рука об руку, Ягода сделался чуть ли не «вторым я» Сталина. Никто так не понимал Сталина, как Ягода. Никто из приближённых не сделал для него так много. Никому Сталин не доверял в такой степени, как Ягоде.

Обладая сталинскими чертами – той же изворотливостью и подозрительностью – и почти сталинской виртуозностью в искусстве политической интриги, именно Ягода оплетал потенциальных соперников Сталина предательской паутиной и тщательно подбирал ему беспринципных, но надёжных помощников.

Когда Сталин начинал подозревать кого-то из наркомов или членов Политбюро, Ягода назначал в заместители подозреваемому одного из своих доверенных сотрудников. Так, помощник Ягоды Прокофьев поочередно занимал посты заместителя наркома тяжёлой промышленности и наркома госконтроля. Начальники управлений НКВД Благонравов и Кишкин были назначены помощниками Лазаря Кагановича, наркома

путей сообщения. Помощники Ягоды Мессинг и Логановский были направлены заместителями к наркому внешней торговли, а заместитель Ягоды Трилиссер назначен помощником Пятницкого, который в то время руководил Коминтерном. Я мог бы назвать и многих других, подобранных Ягодой для укрепления диктаторской власти Сталина в государственном и партийном аппарате.

Ягода собирал для Сталина компрометирующую информацию, касающуюся высших руководителей государства. Когда в поведении такого руководителя начинали проявляться малейшие признаки независимости, Сталину достаточно было протянуть руку к досье, подобранному Ягодой. В таком досье наряду с серьёзными документами, например доказательствами былой принадлежности советского государственного деятеля к информаторам царской полиции, можно было встретить смехотворные донесения наподобие того, что жена этого деятеля колотит свою домработницу или что на Пасху она тайно ходила в церковь святить куличи. Самым распространенным прегрешением было такое: почти все сталинские соратники, заполняя партийные анкеты, приписывали себе дореволюционный партийный стаж, которого в действительности не имели.

В досье были отражены также скандалы, связанные с половой распущенностью «вождей». Мне довелось видеть донесение такого рода, относившееся к Куйбышеву, который занимал должность заместителя председателя Совнаркома. Как-то он «похитил» с банкета жену председателя правления Госбанка и скрывался в её обществе три дня подряд, так что пришлось отменить все заседания Совнаркома, назначенные на эти дни. Другое донесение относилось к 1932 году и было связано с похождениями члена Политбюро

Рудзутака. На одном из приёмов тот усиленно угощал спиртным тринадцатилетнюю дочь второго секретаря Московского комитета партии и затем изнасиловал её. Ещё одно донесение, относящееся к тому же Рудзутаку: в 1927 году, прибыв в Париж, он пригласил группу сотрудников советского полпредства с жёнами пройтись по сомнительным заведениям и там раздавал проституткам чаевые крупными купюрами. Как правило, Сталин не использовал эти компрометирующие донесения, пока не считал необходимым специально призвать к порядку того или иного из своих сановников.

Ягоду можно было назвать глазами и ушами Сталина. В квартирах и на дачах членов Политбюро и наркомов он установил замаскированные микрофоны и всю информацию, полученную таким путём, докладывал Сталину. Сталин знал всю подноготную своих соратников, нередко был в курсе их самых сокровенных мыслей, неосторожно высказанных в разговоре с женой, сыном, братом или другом. Всё это ограждало сталинскую единоличную власть от всяких неожиданных сюрпризов.

Кстати, Сталин был чрезвычайно ревнив ко всем проявлениям дружбы среди своих приближённых, особенно членов Политбюро. Если двое или трое из них начинали встречаться в свободное время, Ягода должен был навострить уши и сделать Сталину соответствующий доклад. Ведь люди, связанные личной дружбой, склонны доверять друг другу. А это могло уже привести к возникновению группы или фракции, направленной, против Сталина. В подобных случаях он старался спровоцировать ссору, между новыми друзьями, а если они туго соображали, что от них требуется, то и разъединить их, переведя одного из них на работу вне Москвы или используя другие «организационные меры».

Услуги, которые Ягода оказывал Сталину, были серьёзны и многообразны. Но главная ценность Ягоды состояла в том, что он преследовал политических противников Сталина с беспримерной жестокостью, стёр с лица земли остатки оппозиции и старую ленинскую гвардию.

При всём том Ягода был единственным, кого, несмотря на его громадную власть, Сталин мог не опасаться как соперника. Он знал, что, если Ягода и надумает сколотить политическую фракцию, направленную против его, сталинского, руководства, партия за ним не пойдёт. Путь к соглашению со старой гвардией был для него навсегда закрыт трупами старых большевиков, расстрелянных им по приказу Сталина. Не мог Ягода сколотить и новую оппозицию из тех, кто окружал Сталина, – члены Политбюро и правительства ненавидели его лютой ненавистью.

Они не могли смириться с тем, что Сталин доверил Ягоде, человеку без революционного прошлого, столь широкую власть, что Ягода получил даже право вмешиваться в дела наркоматов, подчинённых им, старым революционерам. Ворошилов отважился на затяжную борьбу со спецотделами НКВД, созданными Ягодой во всех воинских частях и занимавшимися неустанной слежкой в армии. Каганович, нарком путей сообщения, был раздражён вмешательством Транспортного управления НКВД в его работу. Члены Политбюро, руководившие промышленностью и торговлей, были уязвлены тем, что Экономическое управление НКВД регулярно вскрывало скандальные случаи коррупции, растрат и хищений на их предприятиях.

В подчинённых им ведомствах Ягода держал тысячи тайных информаторов, с помощью которых он в любой момент мог наскрести множество неприятных фактов, дискредитирующих их работу. Всеобщая

неприязнь к Ягоде объяснялась ещё и тем, что все эти крупные шишки из сталинской свиты чувствовали себя постоянно, как под стеклянным колпаком, и не могли сделать шагу без «личной охраны», приставленной к ним всё тем же Ягодой.

Всё это как раз очень устраивало Сталина: он знал, что Ягода никогда не вступит ни в какой сговор с членами политбюро, а если среди членов ЦК и возникнет нелегальная группировка, для Ягоды и мощного аппарата НКВД не составит труда справиться с ней. Диктатору, вечно опасающемуся потерять власть, было крайне важно иметь такого начальника службы безопасности и личной охраны, на которого можно положиться.

В общем Сталин и Ягода нуждались друг в друге. Это был союз, в котором не находилось места третьему партнеру. Их связывали жуткие тайны, преступления и ненависть, испытываемая народом к тому и другому. Ягода был верным сторожевым псом Сталина: охраняя его власть, он защищал и собственное благополучие.

В 1930 году один из заместителей Ягоды – Трилиссер, старый член партии, отбывший десять лет на царской каторге, по собственной инициативе предпринял исследование биографии своего начальника. Автобиография Ягоды, написанная по требованию Оргбюро ЦК, оказалась лживой. Ягода писал, что он вступил в партию большевиков в 1907 году, в 1911 году был отправлен царским правительством в ссылку и в дальнейшем принимал активное участие в Октябрьской революции. Почти всё это было неправдой. На самом деле Ягода примкнул к партии только летом 1917 года, а до того не имел с большевиками ничего общего. Трилиссер отправился к Сталину и продемонстрировал ему плоды своего труда. Однако это расследование имело неприятные последствия не для Ягоды, а для са-

мого Трилиссера. Сталин его прогнал, а Ягода вскоре получил повышение в должности. Впрочем, было бы наивным думать, что Трилиссер действительно навлёк на себя сталинский гнев. Напротив, Сталин был рад получить информацию, компрометирующую Ягоду, притом такую, какую сам Ягода никогда не решился бы внести в своё досье. Сталин всегда предпочитал окружать себя не безупречно честными и независимыми революционерами, а людьми с тайными грехами, чтобы при случае можно было использовать их как инструмент шантажа.

Члены Политбюро ещё помнили то время, когда они решались открыто выступать против Ягоды. Они пытались тогда уговорить Сталина убрать Ягоду, а на столь важный пост назначить кого-либо из них. Мне, например, известно, что в 1932 году занять этот пост жаждал Каганович. Однако Сталин отказался уступить членам Политбюро такой мощный рычаг своей единоличной диктатуры. Он хотел пользоваться им в одиночку. НКВД должен был оставаться в его руках слепым орудием, которое в критическую минуту можно было бы обратить против любой части ЦК и Политбюро.

Настраивая Сталина против Ягоды, Каганович и некоторые другие члены Политбюро пытались внушить ему, что Ягода – это Фуше российской революции. Имелся в виду Жозеф Фуше, знаменитый министр полиции в эпоху Французской революции, который последовательно служил Революции, Директории, Наполеону, Людовику Восемнадцатому, не будучи лояльным ни к одному из этих режимов. Эта историческая параллель, по мнению Кагановича, должна была возбудить в Сталине нехорошие предчувствия и побудить его убрать Ягоду. Кстати, именно Каганович коварно присвоил Ягоде кличку «Фуше». В Москве как раз

был опубликован перевод талантливой книги Стефана Цвейга, посвящённой французскому министру полиции; книга была замечена в Кремле и произвела впечатление на Сталина. Ягода знал, что Каганович прозвал его «Фуше», и был этим изрядно раздосадован. Он предпринимал немало попыток задобрить Кагановича и установить с ним дружеские отношения, но не преуспел в этом.

Припоминаю, каким забавным тщеславием дышала физиономия Ягоды всего за три-четыре месяца до его неожиданного смещения с поста наркома внутренних дел (он был назначен наркомом связи, а вскоре после этого арестован). Ягода не только не предвидел, что произойдет с ним в ближайшее время, напротив, он никогда не чувствовал себя так уверенно, как тогда, летом 1936 года. Ведь только что он оказал Сталину самую большую из всех услуг: подготовил суд над Зиновьевым и Каменевым и «подверстал» к ним других близких ленинских соратников.

В 1936 году карьера Ягоды достигла зенита. Весной он получил приравненное к маршальскому звание генерального комиссара государственной безопасности и новый военный мундир, придуманный специально для него. Сталин оказал Ягоде и вовсе небывалую честь: он пригласил его занять квартиру в Кремле. Это свидетельствует о том, что он ввёл Ягоду в тесный круг своих приближённых, к которому принадлежали только члены Политбюро.

На территории Кремля расположено несколько дворцов, соборов и административных зданий, однако квартир в современном понимании этого слова там почти нет. Сталин и другие члены Политбюро занимали там очень скромные по размерам квартиры, в которых до революции жила прислуга. На ночь все разъезжались по загородным резиденциям. Однако

иметь квартиру в Кремле, пусть самую крохотную, сталинские сановники считали несравненно более престижным, чем жить в великолепном особняке за пределами кремлёвских стен.

Словно бы опасаясь, что Сталин возьмет своё приглашение назад, Ягода назавтра же перебрался в Кремль, впрочем, оставив за собой роскошный особняк, построенный специально для него в Милютинском переулке. Несмотря на то что стояли жаркие дни, Ягода приезжал отсюда в свою загородную резиденцию Озерки только раз в неделю. Очевидно, московская пыль и духота были ему больше по нраву, чем прохлада парка в Озерках. То, что Ягода стал обитателем Кремля, обсуждалось в высших сферах как большое политическое событие. Ни у кого не оставалось сомнений, что над Кремлем взошла новая звезда.

В кругу сотрудников НКВД рассказывали такую историю. Сталин был будто бы так доволен капитуляцией Зиновьева с Каменевым, что сказал Ягоде: «Сегодня вы заслужили место в Политбюро». Это означало, что на ближайшем съезде Ягода станет кандидатом в члены Политбюро.

Не знаю, как себя чувствовали в подобных ситуациях старые лисы Фуше или Макиавелли. Предвидели ли они грозу, которая сгущалась над их головами, чтобы смести их через немногие месяцы? Зато мне хорошо известно, что Ягода, встречавшийся со Сталиным каждый день, не мог прочесть в его глазах ничего такого, что давало бы основания для тревоги. Напротив, Ягоде казалось, что он как никогда близок к давней своей цели. Пока члены Политбюро смотрели на него сверху вниз и держались с ним отчужденно – теперь им придется потесниться и дать ему место рядом с собой как равному.

Ягода был так воодушевлён, что начал работать с энергией, необычной даже для него, стремясь ещё больше усовершенствовать аппарат НКВД и придать ему ещё больший внешний блеск. Он распорядился ускорить работы по сооружению канала Москва-Волга, надеясь, что канал, построенный силами заключённых под руководством НКВД, назовут его именем. Тут было нечто большее чем просто тщеславие: Ягода рассчитывал «сравняться» с Кагановичем, именем которого был назван московский метрополитен.

Легкомыслие, проявляемое Ягодой в эти месяцы, доходило до смешного. Он увлёкся переодеванием сотрудников НКВД в новую форму с золотыми и серебряными галунами и одновременно работал над уставом, регламентирующим, правила поведения и этикета энкаведистов. Только что введя в своём ведомстве новую форму, он не успокоился на этом и решил ввести суперформу для высших чинов НКВД: белый габардиновый китель с золотым шитьём, голубые брюки и лакированные ботинки. Поскольку лакированная кожа в СССР не изготовлялась, Ягода приказал выписать её из-за границы. Главным украшением этой суперформы должен был стать небольшой позолоченный кортик наподобие того, какой носили до революции офицеры военно-морского флота.

Ягода далее распорядился, чтобы смена энкаведистских караулов происходила на виду у публики, с помпой, под музыку, как это было принято в царской лейбгвардии. Он интересовался уставами царских гвардейских полков и, подражая им, издал ряд совершенно дурацких приказов, относящихся к правилам поведения сотрудников и взаимоотношениям между подчинёнными и вышестоящими. Люди, ещё вчера находившиеся в товарищеских отношениях, теперь должны были вытягиваться друг перед другом, как механические сол-

датики. Щёлканье каблуками, лихое отдавание чести, лаконичные и почтительные ответы на вопросы вышестоящих – вот что отныне почиталось за обязательные признаки образцового чекиста и коммуниста.

Всё это было лишь началом целого ряда новшеств, вводимых в НКВД и, кстати, в Красной армии тоже. Цель была одна: дать понять трудящимся Советского Союза, что революция, со всеми её соблазнительными обещаниями, завершилась и что сталинский режим придавил страну так же основательно и прочно, как династия Романовых, продержавшаяся три столетия.

Нетрудно представить себе, что почувствовал Ягода, когда рука неверной судьбы низвергла его с вершины власти и втолкнула в одну из бесчисленных тюремных камер, где годами томились тысячи ни в чём не повинных людей. Охраняя власть диктатора и скрупулёзно следуя сталинской карательной политике, Ягода подписывал приговоры этим людям, даже не считая нужным взглянуть на них. Теперь ему самому было суждено проделать путь своих бесчисленных жертв.

Ягода был так потрясён арестом, что напоминал укрощённого зверя, который никак не может привыкнуть к клетке. Он безостановочно мерил шагами пол своей камеры, потерял способность спать и не мог есть. Когда же новому наркому внутренних дел Ежову донесли, что Ягода разговаривает сам с собой, тот встревожился и послал к нему врача.

Опасаясь, что Ягода потеряет рассудок и будет непригоден для судебного спектакля, Ежов попросил Слуцкого (который тогда ещё оставался начальником Иностранного управления НКВД) время от времени навещать Ягоду в его камере. Ягода обрадовался приходу Слуцкого. Тот обладал способностью имитировать любое человеческое чувство, но на этот раз он, похоже, действительно сочувствовал Ягоде и даже искренне

пустил слезу, впрочем, не забывая фиксировать каждое слово арестованного, чтобы потом всё передать Ежову. Ягода, конечно, понимал, что Слуцкий пришёл не по собственной воле, но это, в сущности, ничего не меняло. Ягода мог быть уверен в одном: Слуцкий, сам опасавшийся за своё будущее, чувствовал бы себя гораздо счастливее, если бы начальником над ним был не Ежов, а по-прежнему он, Ягода. Лучше бы Слуцкому навещать здесь, в тюремной камере, Ежова…

Ягода не таился перед Слуцким. Он откровенно обрисовал ему своё безвыходное положение и горько пожаловался, что Ежов за несколько месяцев развалит такую чудесную машину НКВД, над созданием которой ему пришлось трудиться целых пятнадцать лет.

Во время одного из этих свиданий, как-то вечером, когда Слуцкий уже собирался уходить, Ягода сказал ему:

– Можешь написать в своём докладе Ежову, что я говорю: «Наверное, Бог всё-таки существует!»

– Что такое? – удивлённо переспросил Слуцкий, слегка растерявшись от бестактного упоминания о «докладе Ежову».

– Очень просто, – ответил Ягода то ли серьёзно, то ли в шутку. – От Сталина я не заслужил ничего, кроме благодарности за верную службу; от Бога я должен был заслужить самое суровое наказание за то, что тысячу раз нарушал его заповеди. Теперь погляди; где я нахожусь, и суди сам: есть Бог или нет…

«Медицинское» убийство: смерть Горького

1

На третьем московском процессе Сталин дал ответ тем зарубежным критикам, которые всё упорнее ставили один и тот же каверзный вопрос: как объяснить тот факт, что десятки тщательно организованных террористических групп, о которых столько говорилось на обоих первых процессах, смогли совершить лишь один-единственный террористический акт – убийство Кирова?

Сталин понимал, что этот вопрос попадает в самую точку: действительно, факт одного лишь убийства был слабым местом всего грандиозного судебного спектакля. Уйти от этого вопроса было невозможно. Ну что ж, он, Сталин, примет вызов и ответит критикам. Чем? Новой легендой, которую он вложит в уста подсудимых на третьем московском процессе.

Итак, чтобы достойно ответить на вызов, Сталин должен был указать поимённо тех руководителей, которые погублены заговорщиками. Однако как их найти? За последние двадцать лет народу было сообщено только об одном террористическом акте – всё о том же убийстве Кирова. Для тех, кто хотел бы проследить, как действовал изощрённый сталинский мозг, едва ли мог представиться более подходящий случай, чем этот. Посмотрим, как Сталин разрешил эту проблему и как она была преподнесена суду.

Между 1934 и 1936 годами в Советском Союзе умерло естественной смертью несколько видных политических деятелей. Самыми известными из них были член Политбюро Куйбышев и председатель ОГПУ Менжинский. В тот же период умерли А.М. Горький и его сын Максим Пешков. Сталин решил использовать эти четыре смерти. Хотя Горький не был членом

правительства и не входил в Политбюро, Сталин и его хотел изобразить жертвой террористической деятельности заговорщиков, надеясь, что это злодеяние вызовет возмущение народа, направленное против обвиняемых.

Но осуществить этот план было не так-то просто даже облечённому диктаторской властью Сталину. Сложность заключалась в том, что подлинные обстоятельства смерти каждого из этих четверых были подробно описаны в советских газетах. Публиковались заключения врачей, обследовавших умерших, и людям было известно, что Куйбышев и Менжинский много лет страдали грудной жабой и оба умерли от сердечного приступа. Когда в июне 1936 года заболел шестидесятивосьмилетний Горький, правительство распорядилось ежедневно публиковать бюллетень о состоянии его здоровья. Все знали, что у него с юных лет был туберкулёз. Вскрытие показало, что активно работала только треть его лёгких.

Казалось бы, после всей этой информации невозможно выдвинуть версию, будто все четверо погибли от рук террористов. Но логика, обязательная для простых смертных, не была обязательна для Сталина. Ведь сказал же он как-то Крупской, что если она не перестанет относиться к нему «критически», то партия объявит, что не она, а Елена Стасова была женой Ленина… «Да, партия всё может!» – пояснил он озадаченной Крупской.

Это вовсе не было шуткой. Партия, то есть он, Сталин, действительно может сделать всё, что захочет, может отменить общеизвестные факты и заменить их мифами. Может уничтожить настоящих свидетелей события и подставить на их место лжесвидетелей. Главное – освоить алхимию подлога и научиться, не

колеблясь, употреблять силу. Обладая этими качествами, Сталин мог преодолеть любые препятствия.

Что за беда, если несколько лет назад правительство и объявило, что Куйбышев, Менжинский и Горький умерли естественной смертью? Проявив достаточную изобретательность, можно опровергнуть те давние сообщения и доказать, что в действительности все они были умерщвлены. Кто может помешать ему так поступить? Врачи, которые лечили умерших? Но разве эти врачи не подвластны Сталину и НКВД? И почему бы, например, не сказать, что сами врачи тайно умерщвляли своих знаменитых пациентов и притом делали это по требованию руководителей троцкистского заговора?

Такова была та коварная уловка, к которой прибег Сталин.

Куйбышева, Менжинского и Горького лечили трое известных врачей: 66-летний профессор Плетнёв, старший консультант Медицинского управления Кремля Левин и широко известный в Москве врач Казаков.

Сталин с Ежовым решили передать всех троих в руки следователей НКВД, где их заставят сознаться, что по требованию руководителей заговора они применяли неправильное лечение, которое заведомо должно было привести к смерти Куйбышева, Менжинского и Горького.

Однако врачи не были членами партии. Их не обучали партийной дисциплине и диалектике лжи. Они всё ещё придерживались устаревшей буржуазной морали и превыше всех директив Политбюро чтили заповеди: не убий и не лжесвидетельствуй. В общем, они могли отказаться говорить на суде, что они убили своих пациентов, коль скоро в действительности они этого не делали.

Ежов вынужден был считаться с этим. Он решил сломить сначала волю одного из врачей и в дальнейшем использовать его показания для давления на остальных.

Он остановил свой выбор на профессоре Плетнёве, наиболее выдающемся в СССР кардиологе, именем которого был назван ряд больниц и медицинских учреждений. Чтобы деморализовать Плетнёва ещё до начала так называемого следствия, Ежов прибег к коварному приёму. К профессору в качестве пациентки была послана молодая женщина, обычно используемая НКВД для втягивания сотрудников иностранных миссий в пьяные кутежи. После одного или двух посещений профессора она подняла шум, бросилась в прокуратуру и заявила, что три года назад Плетнёв, принимая её у себя дома в пароксизме сладострастия набросился на неё и укусил за грудь.

Не имея понятия о том, что пациентка была подослана НКВД, Плетнёв недоумевал, что могло заставить её таким образом оклеветать его. На очной ставке он пытался получить от неё хоть какие-нибудь объяснения столь странного поступка, однако она продолжала упорно повторять свою версию. Профессор обратился с письмом к членам правительства, которых лечил, написал также женам влиятельных персон, чьих детей ему доводилось спасать от смерти. Он умолял помочь восстановить истину. Никто, однако, не отозвался. Между тем инквизиторы из НКВД молча наблюдали за этими конвульсиями старого профессора, превратившегося в их подопытного кролика.

Дело было направлено в суд, который состоялся под председательством одного из ветеранов НКВД. На суде Плетнёв настаивал на своей невиновности, ссылался на свою безупречную врачебную деятельность в течение сорока лет, на свои научные достижения. Всё это никого не интересовало. Суд признал его винов-

ным и приговорил к длительному тюремному заключению. Советские газеты, обычно не сообщающие о подобных происшествиях, на сей раз уделили «садисту Плетнёву» совершенно исключительное внимание. На протяжении июня 1937 года в газетах почти ежедневно появлялись резолюции медицинских учреждений из различных городов, поносившие профессора Плетнёва, опозорившего советскую медицину. Ряд резолюций такого рода был подписан близкими друзьями и бывшими учениками профессора, – об этом позаботился всемогущий НКВД.

Плетнёв был в отчаянии. В таком состоянии, разбитый и обесчещенный, он был передан в руки энкаведистских следователей, где его ожидало ещё нечто худшее.

Помимо профессора Плетнёва, были арестованы ещё два врача – Левин и Казаков. Левин, как уже упоминалось, был старшим консультантом Медуправления Кремля, ответственным за лечение всех членов Политбюро и правительства. Организаторы предстоящего судебного процесса были намерены представить его главным помощником Ягоды по части «медицинских убийств», а профессору Плетнёву и Казакову отвести роли левинских соучастников.

Доктору Левину было около семидесяти лет. У него было несколько сыновей и множество внуков – очень кстати, поскольку все они рассматривались НКВД как фактические заложники. В страхе за их судьбу Левин готов был сознаться во всём, что только угодно властям. Перед тем, как с Левиным случилось это несчастье, его привилегированное положение кремлёвского врача было предметом зависти многих его коллег. Он лечил жён и детей членов Политбюро, лечил самого Сталина и его единственную дочь Светлану. Но теперь, когда он попал в жернова НКВД, никто не протянул

ему руку помощи. Много влиятельных пациентов было и у Казакова; однако его положение являлось столь же безнадёжным.

Согласно легенде, состряпанной Сталиным при участии Ежова, Ягода вызывал этих врачей в свой кабинет, каждого поодиночке, и путём угроз добивался от них, чтобы они неправильным лечением сводили в могилу своих знаменитых пациентов – Куйбышева, Менжинского и Горького. Из страха перед Ягодой врачи будто бы повиновались.

Эта легенда столь абсурдна, что для её опровержения достаточно поставить один-единственный вопрос: зачем этим врачам, пользующимся всеобщим уважением, надо было совершать убийства, требуемые Ягодой? Им достаточно было предупредить о замысле Ягоды своих влиятельных пациентов, и те сразу сообщили бы Сталину и правительству. Мало того, у врачей была возможность рассказать о планах Ягоды не только намечаемым жертвам, но и непосредственно Политбюро. Профессор Плетнёв, скажем, мог обратиться к Молотову, которого он лечил, а Левин, работающий в Кремле – даже к самому Сталину.

Вышинский оказался не в состоянии предъявить суду ни единого доказательства вины врачей. Разумеется, сами они легко могли опровергнуть обвинения в убийстве, тем не менее, они поддержали Вышинского и заявили на суде, что по требованию руководителей заговора действительно применяли хоть и надлежащие лекарства, но таким образом, чтобы вызвать скорейшую смерть своих высокопоставленных пациентов. Иных показаний ждать не приходилось – обвиняемым внушили, что их спасение не в отрицании своей вины, а, напротив, в полном признании и раскаянии.

Так три беспартийных и совершенно аполитичных врача были использованы для того, чтобы подправить

давнюю сталинскую версию и убедить мир, что террористам удалось не одно лишь убийство Кирова.

2

Во всей этой фантастической истории наибольший интерес, с точки зрения анализа фальсификаторского таланта Сталина, представляет легенда об убийстве Горького.

Сталину было важно представить Горького жертвой убийц из троцкистско-зиновьевского блока не только ради возбуждения народной ненависти к этим людям, но и ради укрепления собственного престижа: получалось, что Горький, «великий гуманист», был близким другом Сталина и уже в силу этого – непримиримым врагом тех, кто был уничтожен в результате московских процессов.

Мало того: Сталин пытался изобразить Горького не только своим близким другом, но и страстным защитником сталинской политики. Этот мотив прозвучал в «признаниях» всех обвиняемых на третьем московском процессе. Например, Левин привёл следующие слова Ягоды, объясняющие, почему заговорщикам необходима была смерть Горького: «Алексей Максимович – человек, стоящий очень близко к высшему руководству партии, человек, одобряющий политику, которая проводится в стране, преданный лично Иосифу Виссарионовичу Сталину». Продолжая ту же линию, Вышинский в своей обвинительной речи заявил: «Не случайно он (т. е. Горький) связал свою жизнь с великим Лениным и великим Сталиным, сделавшись их лучшим и самым близким другом».

Таким образом, Вышинский стянул узами дружбы и взаимной преданности сразу троих: Сталина, Ленина и Горького. Однако узел этот был ненадёжным.

Вспомним хотя бы так называемое «ленинское завещание», где он рекомендует снять Сталина с поста генсека. Добавим к этому и личное письмо Ленина, объявляющее Сталину, что он порывает с ним все отношения. Так что попытка представить Ленина в качестве близкого друга Сталина является ни чем иным, как бесчестным обманом.

Попробуем также проанализировать «тесную дружбу» между Сталиным и Горьким. Эта «тесная дружба» отнюдь не без особых на то причин постоянно подчёркивалась на суде и обвиняемыми, и их защитниками, и прокурором. Сталин чрезвычайно нуждался в создании такого впечатления. После двух лет массового террора моральный авторитет Сталина, и без того не слишком высокий, совсем упал. В глазах собственного народа Сталин предстал в своём истинном обличье – жестокий убийца, запятнавший себя кровью лучших людей страны. Он это понимал и спешил прикрыться огромным моральным авторитетом Горького, якобы дружившего с ним и горячо поддерживавшего его политику.

В дореволюционной России Горький пользовался репутацией защитника угнетённых и мужественного противника самодержавия. В дальнейшем, несмотря на личную дружбу с Лениным, он в первые годы революции нападал на него, осуждая в своей газете «Новая жизнь» красный террор и беря под защиту преследуемых «бывших людей».

Задолго до смерти Горького Сталин пытался сделать его своим политическим союзником. Те, кому была известна неподкупность Горького, могли представить, насколько безнадёжной являлась эта задача. Но Сталин никогда не верил в человеческую неподкупность. Напротив, он часто указывал сотрудникам НКВД, что в своей деятельности они должны исходить

из того, что неподкупных людей не существует вообще. Просто у каждого своя цена.

Руководствуясь такой философией, Сталин начал обхаживать Горького.

В 1928 году ЦК партии начал всесоюзную кампанию за возвращение Горького в СССР. Кампания была организована очень искусно. Сначала объединения советских писателей, а затем и другие организации стали посылать Горькому в Италию письма, чтобы он вернулся на родину помочь поднимать культурный уровень масс. Среди приглашений, которыми засыпали Горького, были даже письма от пионеров и школьников: дети спрашивали горячо любимого писателя, почему это он предпочитает жить в фашистской Италии, а не в Советском Союзе, среди русского народа, который так его любит.

Как бы поддаваясь стихийному напору масс, советское правительство направило Горькому тёплое приглашение переселиться в Советский Союз. Горькому было обещано, что, если он пожелает, ему будет предоставлена возможность проводить в Италии зимние месяцы. Разумеется, правительство берёт заботу о благополучии Горького и все расходы на себя.

Под влиянием этих призывов Горький вернулся в Москву. С этого момента начала действовать программа его задабривания, выдержанная в сталинском стиле. В его распоряжение были предоставлены особняк в Москве и две благоустроенные виллы – одна в Подмосковье, другая в Крыму. Снабжение писателя и его семьи всем необходимым было поручено тому же самому управлению НКВД, которое отвечало за обеспечение Сталина и членов Политбюро. Для поездок в Крым и за границу Горькому был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. По указанию Сталина, Ягода стремился ловить на лету малейшие

желания Горького и исполнять их. Вокруг его вилл были высажены его любимые цветы, специально доставленные из-за границы. Он курил особые папиросы, заказываемые для него в Египте. По первому требованию ему доставлялась любая книга из любой страны. Горький, по натуре человек скромный и умеренный, пытался протестовать против вызывающей роскоши, которой его окружали, но ему было сказано, что Максим Горький в стране один.

Как и было обещано, он получил возможность проводить осень и зиму в Италии и выезжал туда каждый год (с 1929 по 1933). Его сопровождали два советских врача, наблюдавших за состоянием его здоровья во время этих поездок.

Вместе с заботой о материальном благополучии Горького Сталин поручил Ягоде его «перевоспитание». Надо было убедить старого писателя, что Сталин строит настоящий социализм и делает всё, что в его силах, для подъёма жизненного уровня трудящихся.

С первых же дней пребывания писателя в Москве Ягода принял меры, чтобы он не мог свободно общаться с населением. Зато он получил возможность изучать жизнь народа на встречах с рабочими различных заводов и тружениками подмосковных образцово-показательных совхозов. Эти встречи тоже организовывались НКВД. Когда Горький появлялся на заводе, собравшиеся приветствовали его с восторгом. Специально выделенные ораторы выступали с речами о «счастливой жизни советских рабочих» и о великих достижениях в области образования и культуры трудящихся масс. Руководители местных парткомов провозглашали: «Ура в честь лучших друзей рабочего класса – Горького и Сталина!»

Ягода старался так заполнить дни Горького, что у того просто не оставалось времени на самостоятельные

наблюдения и оценки. Его возили на те же зрелища, какими гиды Интуриста потчевали иностранных туристов. Особенно заинтересовали его две коммуны, организованные под Москвой, в Болшеве и в Люберцах, для бывших уголовников. Те привыкли встречать Горького бурными аплодисментами и заранее заготовленными речами, в которых благодарность за возвращение к честной жизни выражалась двум лицам: Сталину и Горькому. Дети бывших преступников декламировали отрывки из горьковских произведений. Горький бывал так глубоко растроган, что не мог сдержать слёз. Для сопровождавших его чекистов это было верным признаком, что они добросовестно выполняют инструкции, полученные от Ягоды.

Чтобы поосновательней загрузить Горького повседневными делами, Ягода включил его в группу литераторов, которые занимались составлением истории советских фабрик и заводов, воспевая «пафос социалистического строительства». Горький взялся также опекать различные культурные начинания, в помощь писателям-самоучкам организовал журнал «Литературная учёба». Он участвовал в работе так называемой ассоциации пролетарских писателей, во главе которой стоял Авербах, женатый на племяннице Ягоды. Прошло несколько месяцев со дня приезда Горького в СССР – и он уже был так загружен, что не имел свободной минуты. Полностью изолированный от народа, он двигался вдоль конвейера, организованного для него Ягодой, в неизменной компании чекистов и нескольких молодых писателей, сотрудничавших с НКВД. Всем, кто окружал Горького, было вменено в обязанность рассказывать ему о чудесах социалистического строительства и петь дифирамбы Сталину. Даже садовник и повар, выделенные для писателя, знали, что время от времени они должны рассказывать ему, будто

«только что» получили письмо от своих деревенских родственников, которые сообщают, что жизнь там становится всё краше.

Положение Горького ничем не отличалось от положения иностранного дипломата, с той, однако, разницей, что иностранный посол из секретных источников регулярно получал информацию о том, как идут дела в стране его пребывания. У Горького таких секретных информаторов не было – он довольствовался тем, что расскажут люди, приставленные к нему НКВД.

Зная горьковскую отзывчивость, Ягода подготовил для него своеобразное развлечение. Раз в год он брал его с собой инспектировать какую-нибудь тюрьму. Там Горький беседовал с заключёнными, предварительно отобранными НКВД из числа уголовников, которых намечалось освободить досрочно. Каждый из них рассказывал Горькому о своём преступлении и давал обещание начать после освобождения новую, честную жизнь. Сопровождавший чекист – обычно это был не лишённый актерских задатков Семен Фирин – доставал карандаш и блокнот и вопросительно взглядывал на Горького. Если тот кивал, Фирин записывал имя заключённого и давал распоряжение охране освободить его. Иногда, если заключённый был молод и производил особенно хорошее впечатление, Горький просил, чтобы этому юноше предоставили место в одной из образцово-показательных коммун для бывших уголовников.

Нередко Горький просил освобождаемых написать ему и дать знать, как у них налаживается новая жизнь. Сотрудники Ягоды следили за тем, чтобы Горькому приходили такие письма. В общем, Горькому жизнь должна была представляться сплошной идиллией. Да-

же Ягода и его помощники казались ему добродушными идеалистами.

В счастливом неведении Горький оставался до той поры, пока сталинская коллективизация не привела к голоду и к страшной трагедии осиротевших детей, десятками тысяч хлынувших из сёл в города в поисках куска хлеба. Хотя окружавшие писателя люди всячески старались преуменьшить размеры бедствия, он был не на шутку встревожен. Он начал ворчать, а в разговорах с Ягодой открыто осуждал многие явления, которые заметил в стране, но о которых до поры до времени помалкивал.

В 1930 или 1931 году в газетах появилось сообщение о расстреле сорока восьми человек, виновных будто бы в том, что они своими преступными действиями вызвали голод. Это сообщение привело Горького в бешенство. Разговаривая с Ягодой, он обвинил правительство в расстреле невинных людей с намерением свалить на них ответственность за голод. Ягода с сотрудниками так и не смогли убедить писателя, что эти люди действительно были виновны.

Некоторое время спустя Горький получил из-за границы приглашение вступить в международный союз писателей-демократов. В соответствии с инструкцией Сталина Ягода заявил, что Политбюро против этого, потому что некоторые члены союза уже успели подписать антисоветское обращение к Лиге защиты прав человека, протестуя против недавних казней в СССР. Политбюро надеется, что Горький вступится за честь своей страны и поставит клеветников на место.

Горький заколебался. В самом деле, в «домашних» разговорах с Ягодой он мог брюзжать и протестовать против жестоких действий правительства, но в данном случае речь шла о защите СССР от нападок мировой буржуазии. Он ответил международному союзу

писателей-демократов, что отказывается от вступления в эту организацию по такой-то и такой причине. Он добавил, что вина расстрелянных в СССР людей представляется ему несомненной.

Между тем сталинские щедроты сыпались на Горького как из рога изобилия. Совет народных комиссаров специальным постановлением отметил его большие заслуги перед русской литературой. Его именем было названо несколько предприятий. Моссовет принял решение переименовать главную улицу Москвы – Тверскую – в улицу Горького.

В то же время Сталин не делал попыток лично сблизиться с Горьким. Он виделся с ним раз или два в году по случаю революционных праздников, предоставляя ему самому сделать первый шаг. Зная горьковскую, слабость, Сталин прикинулся крайне заинтересованным в развитии русской литературы и театра и даже предложил Горькому должность наркома просвещения. Писатель, однако, отказался, ссылаясь на отсутствие у него административных способностей.

Когда Ягода с помощниками решили, что Горький уже полностью под их влиянием, Сталин попросил Ягоду внушить старому писателю: как было бы здорово, если б он взялся за произведение о Ленине и Сталине. Горького знали в стране как близкого друга Ленина, знали, что Ленина и Горького связывала личная дружба, и Сталин хотел, чтобы горьковское перо изобразило его достойным преемником Ленина.

Сталину не терпелось, чтобы популярный русский писатель обессмертил его имя. Он решил осыпать Горького царскими подарками и почестями и таким образом повлиять на содержание и, так сказать, тональность будущей книги.

За короткое время Горький удостоился таких почестей, о которых крупнейшие писатели мира не могли и

мечтать. Сталин распорядился назвать именем Горького крупный промышленный центр – Нижний Новгород. Соответственно и вся Нижегородская область переименовывалась в Горьковскую. Имя Горького было присвоено Московскому Художественному театру, который, к слову сказать, был основан и получил всемирную известность благодаря Станиславскому и Немировичу-Данченко, а не Горькому. Все эти сталинские щедроты отмечались пышными банкетами в Кремле, на которых Сталин поднимал бокал за «великого писателя земли русской» и «верного друга большевистской партии». Всё это выглядело так, словно он задался целью доказать сотрудникам НКВД правильность своего тезиса: «у каждого человека своя цена». Однако время шло, а Горький всё не начинал писать книгу про Сталина. Судя по тому, чем он занимался и какие задачи ставил перед собой, было непохоже, что он намеревается приняться за сталинскую биографию.

Я сидел как-то в кабинете Агранова. В кабинет вошёл организатор знаменитых коммун из бывших уголовников – Погребинский, с которым Горький был особенно дружен. Из разговора стало ясно, что Погребинский только что вернулся с подмосковной горьковской виллы. «Кто-то испортил всё дело, – жаловался он. – Я уж и так подходил к Горькому, и этак, но он упорно избегает разговора о книге». Агранов согласился, что, по-видимому, кто-то действительно «испортил всё дело». На самом же деле Сталин и руководство НКВД просто недооценили характер Горького.

Горький не был так прост и наивен, как им казалось. Зорким писательским глазом он постепенно проник во всё, что делается в стране. Зная русский народ, он мог читать по лицам, как в раскрытой книге, какие чувства испытывают люди, что их волнует и беспокоит. Видя на заводах измождённые лица недоедающих

рабочих, глядя из окна своего персонального вагона на бесконечные эшелоны арестованных «кулаков», вывозимых в Сибирь, Горький давно понял, что за фальшивой вывеской сталинского социализма царят голод, рабство и власть грубой силы.

Но больше всего терзала Горького всё усиливающаяся травля старых большевиков. Многих из них он лично знал с дореволюционных времён. В 1932 году он высказал Ягоде своё горькое недоумение в связи с арестом Каменева, к которому относился с глубоким уважением. Услышав об этом, Сталин распорядился освободить Каменева из заключения и вернуть его в Москву. Можно припомнить ещё несколько случаев, когда вмешательство Горького спасало того или другого из старых большевиков от тюрьмы и ссылки. Но писатель не мог примириться уже с самим фактом, что старых членов партии, томившихся в царских тюрьмах, теперь вновь арестовывают. Он высказывал своё возмущение Ягоде, Енукидзе и другим влиятельным деятелям, всё больше раздражая Сталина.

В 1933–1934 годах были произведены массовые аресты участников оппозиции, о них официально вообще ничего не сообщалось. Как-то с Горьким, вышедшим на прогулку, заговорила неизвестная женщина. Она оказалась женой старого большевика, которого. Горький знал ещё до революции. Она умоляла писателя сделать всё, что в его силах – ей с дочерью, которая больна костным туберкулёзом, грозит высылка из Москвы. Спросив о причине высылки, Горький узнал, что её муж отправлен в концлагерь на пять лет и уже отбыл два года своего срока.

Горький немедленно заступился. Он позвонил Ягоде и, получив ответ, что НКВД не может освободить этого человека без санкции ЦК, обратился к Енукидзе. Однако Сталин заупрямился. Его уже давно раздражало

заступничество Горького за политических противников, и он заявил Ягоде, что «пора излечить Горького от привычки совать нос в чужие дела». Жену и дочь арестованного он разрешил оставить в Москве, но его самого запретил освобождать, пока не кончится его срок.

Отношения между Горьким и Сталиным становились натянутыми. К началу 1934 года стало окончательно ясно, что столь желанной книги Сталину так и не видать.

Изоляция Горького стала ещё более строгой. К нему допускались только немногие избранные, отфильтрованные НКВД. Если Горький выражал желание увидеться с кем-то посторонним, нежелательным для «органов», то этого постороннего старались немедленно услать куда-нибудь из Москвы. В конце лета 1934 года Горький запросил заграничный паспорт, собираясь провести будущую зиму, как и предыдущие, в Италии. Однако ему было в этом отказано. Врачи, следуя сталинским указаниям, нашли, что для здоровья Горького полезнее провести эту зиму не в Италии, а в Крыму. Мнение самого Горького уже больше не принималось во внимание. Будучи знаменитым советским писателем, он принадлежал государству, поэтому право судить, что ему на пользу, а что нет, стало прерогативой Сталина.

«С паршивой овцы – хоть шерсти клок»… Не получилось с книгой, решил Сталин, пусть напишет хотя бы статью. Ягоде было приказано передать Горькому такую просьбу: приближается годовщина Октября, и хорошо бы, чтоб Горький написал для «Правды» статью «Ленин и Сталин». Руководители НКВД были уверены, что на этот раз Горький не сможет уклониться от заказа. Но он вновь оказался принципиальнее, чем они рассчитывали, и обманул ожидания Ягоды.

Вскоре после этого Сталин предпринял ещё одну и, насколько мне известно, последнюю попытку воспользоваться авторитетом Горького. Дело происходило в декабре 1934 года, только что были арестованы Зиновьев и Каменев, которым намечалось предъявить обвинение в организации убийства Кирова. В эти дни Ягода передал Горькому задание написать для «Правды» статью с осуждением индивидуального террора. Сталин рассчитывал, что эту статью Горького в народе расценят как выступление писателя против «зиновьевцев». Горький, конечно, понимал, в чём дело. Он отклонил просьбу, услышанную от Ягоды, сказав при этом: «Я осуждаю не только индивидуальный, но и государственный террор!»

После этого Горький опять, на этот раз официально, потребовал выдать ему заграничный паспорт для выезда в Италию. Конечно, ему вновь было отказано. В Италии Горький мог, чего доброго, действительно написать книгу, но она была бы совсем не та, какую мечтал иметь Сталин. Так писатель и остался сталинским пленником до смерти, последовавшей в июне 1936 года.

После смерти Горького сотрудники НКВД нашли в его вещах тщательно припрятанные заметки. Кончив их читать, Ягода выругался и буркнул: «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит!»

Заметки Горького по сей день остаются недоступны миру.

Николай Бухарин

Тем, кого привлекали сенсации, а не события исторического значения, наиболее видной фигурой третьего московского процесса казался бывший нарком внутренних дел Ягода, а не революционные деятели с мировой известностью, наподобие Бухарина, Рыкова или Раковского. Ничего удивительного: присутствие Ягода на процессе в роли обвиняемого и сообщника тех, кто был им брошен, в тюрьму и даже казнён, придавало этому судебному спектаклю характер чудовищной карикатуры.

Но для членов партии и вообще для людей, имевших хотя бы общее представление об её истории, центральной фигурой процесса был не Ягода, а, конечно, Бухарин, один из наиболее выдающихся большевиков и близкий друг Ленина.

Подобно другим вожакам партии, обеспокоенным огромной популярностью Троцкого, Бухарин помогал Сталину и Зиновьеву принижать роль Троцкого в Октябрьской революции и оттеснять его от власти. Правда, пока был жив Ленин и руководители партии ещё не были так ослеплены соперничеством и сведением счетов, Бухарин писал о Троцком в том же восторженном тоне, что и другие. Возвращаясь к историческому моменту триумфа Октябрьской революции, Бухарин говорил:

«Троцкий – блестящий и неустрашимый трибун революции, неутомимый апостол революции, декларировал от имени Военно-революционного комитета Петроградского совета, под гром аплодисментов всех присутствующих, что Временное правительство больше не существует».

Много лет спустя, когда отдел пропаганды сталинского ЦК уже распространял лживую версию, будто Троцкий боролся против революции, Сталин начал

рассматривать всё написанное старыми большевиками в пользу Троцкого как непростительный для партийцев грех. Однако он и сам грешил тем же: ещё при жизни Ленина Сталин написал в «Правде», что «решительный поворот петроградского гарнизона на сторону Советов и дерзкая деятельность Военно-революционного комитета – всем этим партия обязана главным образом и в первую очередь тов. Троцкому».

Бухарин оставался сталинским соратником дольше, чем Каменев и Зиновьев. Когда те в результате сталинских интриг потеряли реальную власть, Бухарину казалось, что он как признанный идеолог партии выдвинулся на роль первой скрипки в Политбюро. Кому же, действительно, может быть поручена эта роль, как не ему? Разве не он ещё при Ленине активно формулировал советскую политику и разве не им написаны основные документы партии и Коминтерна, касающиеся внешнеполитических проблем? Кто, как не он, сможет теперь в подлинно марксистском духе сформулировать путь дальнейшего развития советского государства? Уж не Сталин ли, этот посредственный марксист?

Но Бухарину суждено было ошибиться. Правая оппозиция, которую он возглавил, оказалась оттеснённой от руководства, и после затяжной внутрипартийной борьбы его исключили из Политбюро, а затем и из партии.

Члены партии долго не представляли себе, что, собственно, происходит там наверху, в Политбюро. Только после сообщения о возникшем там расколе рядовым партийцам стало ясно, насколько враждебно относятся друг к другу Сталин и противостоящая ему группа «правых» – Бухарин, Рыков и Томский. Среди московских сановников ходил слух, что Бухарин, обозлённый сталинским лицемерием, рассказал на заседа-

нии Политбюро, будто Сталин, желая привлечь его на свою сторону, сказал: «Бухарчик, мы с тобой – Гималаи, а остальные (то есть остальные члены Политбюро) – просто маленькие мушки!»

При этих словах Сталин изменился в лице и крикнул:

– Это ложь! Бухарин выдумал, эту фразу, чтобы настроить членов Политбюро против меня!

Положение, в каком очутился Сталин, было особенно неприятным, потому что, как выяснилось, тот же комплимент он адресовал и другим членам Политбюро, оставаясь с ними наедине.

Сталина и Бухарина связывали тёплые отношения задолго до того, как Бухарин возглавил правую оппозицию, направленную против Сталина. Они начались ещё в ту пору, когда Ленин диктовал своё «завещание», рекомендуя сместить Сталина с поста генсека и одновременно высказывая некоторые сомнения в отношении Бухарина, хотя в целом отзывался о нём тепло. Слова Ленина звучали так: «Бухарин – не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии».

Хотя Бухарина действительно очень уважали в партии, а комсомольцы были готовы молиться на него, как на икону, я сильно сомневаюсь, чтобы его можно было считать «любимцем всей партии». Но это не меняет главного: Ленин на самом деле был глубоко привязан к Бухарину, и ему казалось, что каждый должен испытывать к этому человеку те же чувства.

Сталин скрыл ленинское «завещание», и если бы не Крупская, он давно уничтожил бы этот ненавистный документ, где Ленин нашел тёплые слова для всех своих ближайших сотрудников, кроме него. Однако в дальнейшем, захватив власть, Сталин смог нейтрализовать ленинский документ гораздо эффективнее, чем

если бы он попросту разорвал этот клочок бумаги. Сталин физически уничтожил всех, кого Ленин упоминал в «завещании».

Последний год перед арестом Бухарин прожил в обстановке неотступного страха. Почти все его близкие друзья были уничтожены в результате двух судебных процессов. Зная, что та же судьба уготована и ему, он ждал ареста со дня на день.

Арестовали его в начале 1937 года. Два месяца он отказывался давать показания и ставить свою подпись под какими бы то ни было признаниями, – хотя силы его были уже подорваны многомесячным ожиданием конца.

Здесь придется сделать небольшое отступление, связанное с личной жизнью Бухарина. В 1933 году, в возрасте сорока пяти лет, он встретился с молодой женщиной редкой красоты – дочерью старого революционера Ларина. Несмотря на то, что она была невестой обаятельного юноши (речь идёт о сыне известного партийного деятеля Григория Сокольникова), низкорослый, полноватый и лысый Бухарин покорил её сердце и женился на ней. Когда у них родился сын, экспансивный Бухарин был буквально вне себя от радости. Ему не везло на политическом фронте, зато улыбнулось личное счастье. Он ещё не знал, что инквизиторы из НКВД включили и его жену, и сына в свои планы подготовки третьего московского процесса – самого страшного из всех.

Так же, как это делалось со всеми арестованными, они заверили Бухарина от имени Сталина, что если он исполнит все «требования Политбюро», его семью не станут преследовать, а сам он отделается тюрьмой. Для того чтобы продемонстрировать реальность такого исхода, Ежов распорядился доставить в бухаринскую ка-

меру Радека – одного из четверых пощаженных предыдущим судом.

Радек помог убедить Бухарина: хотя кругом относились к нему с глубоким недоверием, нельзя было возразить против очевидного факта – он доверился сталинским обещаниям и, как видим, выжил. Впрочем, в данном случае Радеку нельзя было отказать и в порядочности: он отказался поддержать многие обвинения, выдвигавшиеся против Бухарина. На очной ставке с Бухариным он доставил явное неудовольствие следователям, отказавшись подтвердить наиболее важные пункты этих обвинений.

Сталину была известна привязанность Бухарина к Ленину. Он знал, как высоко Бухарин ценит те несколько тёплых слов, которые Ленин продиктовал о нём в последние месяцы своей жизни. Именно этим чувствам Бухарина предстояло выдержать сокрушительный удар: на суде планировалось обставить дело так, будто Бухарин вовсе не был близок к Ленину, а, напротив, являлся его злейшим врагом. Сталин дал следователям указание: добиваться бухаринского признания в том, что в 1918 году, в период заключения Брестского мира, Бухарин замышлял убийство Ленина.

В связи с таким предписанием пришлось арестовать несколько бывших «левых коммунистов» и «левых эсеров», и вытянуть из них признание, будто уже тогда Бухарин говорил им, что он дескать считает необходимым убить Ленина и сформировать новое правительство. Некоторые из этих свидетелей должны были дать показания, что эсерка Каплан, которая совершила покушение на Ленина летом 1918 года, действовала с ведома и одобрения Бухарина.

Обвиняемый категорически отрицал это. Но методы следствия и, главное, страх за жизнь жены и ребёнка делали это сопротивление с самого начала безнадёжным.

Наконец как-то после долгих часов ночной обработки, в которой принимали участие Ежов и личный представитель Сталина Ворошилов, удалось выжать из Бухарина согласие признать эту вину: пусть считается, что в 1918 году он действительно намеревался убить Ленина. Сталин опять одержал решительную победу.

Правда, когда дня два спустя Бухарину был предъявлен окончательный вариант этих «признаний», просмотренный и исправленный лично Сталиным, он опять наотрез отказался ставить под этим документом подпись. Там оказывается было сказано, что с самого начала, когда немецкое правительство предоставило Ленину железнодорожный вагон, разрешив ему в условиях войны проезд через Германию, он, Бухарин, начал подозревать, что у Ленина имеется секретное соглашение с немцами. В дальнейшем, после захвата большевиками власти, Ленин, как известно, настаивал на заключении унизительного сепаратного мира с немцами. Тогда-то дескать бухаринские подозрения и возросли до такой степени, что ему пришло в голову убить Ленина и сформировать новое правительство с участием левых эсеров, противников соглашения с Германией. Прочитав эти «признания», которые теперь ему предлагалось подписать, Бухарин вне себя от негодования, воскликнул: «Сталин хочет и мёртвого Ленина тоже посадить на скамью подсудимых!» Действительно, получалось, что Сталину требуется воскресить давние слухи, будто Ленин являлся агентом германского генерального штаба. Бухарин опять отказался участвовать в готовящемся судебном представлении.

Вторично настоять на его сотрудничестве было труднее. Теперь с Бухариным «работали» под непосредственным руководством Ежова уже две группы следователей, изматывая его непрерывными допросами, длившимися день и ночь. Вдобавок обработку Бухари-

на продолжал представитель Политбюро Ворошилов. Главным козырем в этой беспроигрышной для Сталина игре были по-прежнему жена и ребёнок подследственного.

И тем не менее, Бухарин решительно отказывался подписать признания, которые требовались Сталину. Тому пришлось уступить по двум важным пунктам: на суде не будет упоминаться о сотрудничестве, Ленина с немцами и о подозрениях Бухарина в этой области. Кроме того, Бухарину не придется говорить, что он планировал убийство Ленина, он скажет только, что для того, чтобы предупредить заключение Брестского договора, намечалось арестовать Ленина на одни сутки. Наконец, Бухарин отказался признавать, что он был немецким шпионом, а сверх того принимал участие в убийстве Кирова и Горького.

Зато Сталину удалось включить в легенду замыслы Бухарина относительно собственной персоны. Поскольку он сфабриковал себе биографию ближайшего сотрудника Ленина во время Октябрьской революции и гражданской войны, ему казалось вполне естественным, что, замышляя в 1918 году свержение советского правительства, Бухарин должен был арестовать не только Ленина, но и Сталина, – как же иначе? В соответствии с таким оборотом дела бухаринские показания пришлось переписать ещё раз, и Бухарин их подписал.

Однако Сталин недолго довольствовался тем, что он будет изображён лишь как ближайший сотрудник Ленина. Имея возможность вложить в уста запуганных «свидетелей» всё, что пожелает, он был не в состоянии противиться искушению отодвинуть Ленина на второй план и выставить себя главным оплотом ЦК и главным членом советского правительства. Для этого «свидетелю» Манцеву, бывшему председателю украинского ОГПУ, участвующему в процессе в порядке партийной

дисциплины, было предписано выступить на судебном заседании с басней, автором которой был сам Сталин.

«Троцкий сказал, – так звучало свидетельство Манцева, – что во время одной из своих поездок на фронт он хочет арестовать Сталина… Я вспоминаю его слова: в таком случае дескать Ленин и ЦК будут вынуждены капитулировать!»

Обвиняемые и свидетели знали, что в зале суда им следует говорить о Сталине с большим почтением, чем о Ленине. Эта линия легко прослеживается не только в выступлении Манцева, но и в том, что говорил Бухарин. Когда на суде он повторил, что не хотел убивать Ленина, а намеревался только арестовать его, государственный обвинитель Вышинский спросил:

– А если бы Владимир Ильич воспротивился аресту?

И получил заранее согласованный ответ:

– Но Владимир Ильич, как известно, всегда избегал ссор. Забиякой он не был.

С большевистской точки зрения, такой ответ был равносилен тому, как если бы Бухарин сказал: Ленин не был мужественным бойцом, Ленин не отличался личной храбростью. Государственный обвинитель и судьи, прекрасно зная, что от них требуется, приняли такое свидетельство со снисходительным спокойствием. Но нетрудно себе представить, как бурно бы они запротестовали, если бы теми же словами Бухарин отозвался о Сталине.

Как и все подсудимые, Бухарин был предупреждён: пусть он не пытается протаскивать в своих показаниях «контрабанду» или позволять себе «сомнительные намёки». Его собственная участь и судьба его семьи зависят не только от того, что он скажет, но и как это будет сказано. И если внимательно проанализировать то, что Бухарин сказал на суде, мы увидим, как часто он сам

себя обрывал, стремясь убедить суд, что он несёт ответственность не только за те преступления, которые совершал сам, но и за преступления других подсудимых, – независимо от того, знал он о них или не знал.

– Я хочу сказать, – говорил Бухарин, – что я был не только одним из винтиков в механизме контрреволюции, но и одним из руководителей контрреволюции, и как один из руководителей… я несу гораздо большую ответственность, чем любой из участников. Поэтому я не могу ожидать снисхождения.

На любом настоящем суде каждый подсудимый пользуется правом защищать себя. На сталинском судилище всё выглядело иначе. Когда председательствующий Ульрих прозрачно намекнул Бухарину, что он начинает, кажется, заниматься самозащитой, тот горячо ответил:

– Это не защита. Это – самообвинение! Я ещё ни слова не сказал в свою защиту!

Шансы самого Бухарина на спасение определялись исключительно тем, насколько он будет следовать сталинским инструкциям. Но Бухарин уже поставил крест на своей личной судьбе и стремился по крайней мере сделать всё для спасения жены и ребёнка. На суде он не только клеймил себя как «презренного фашиста» и «предателя социалистического отечества», но даже защищал московские процессы от критики в иностранной прессе.

В отличие от Радека и других обвиняемых он не воспользовался своим блестящим красноречием, чтобы, сбив с толку прокурора и судей, исподволь разоблачить сталинский судебный спектакль. Он полностью заплатил выкуп за жену и маленького сына и, перестраховываясь, не уставал воздавать хвалу своему палачу:

– В действительности вся страна следует за Сталиным, он – надежда мира, он – творец нового. Каждый убедился в мудром сталинском руководстве страной…

Однако сталинскую жажду мщения было не так-то просто удовлетворить. Сладость самой жизни заключалась для него в возможности мстить, и он не хотел упустить ни капли этого удовольствия…

Николай Крестинский

1

В числе обвиняемых на бухаринском процессе был один из старейших членов большевистской партии – Николай Николаевич Крестинский. В первые, самые трудные годы советской власти он, будучи секретарём ЦК, помогал Ленину в организационных вопросах. При Ленине Крестинский был народным комиссаром финансов. За пределами СССР он был известен, однако, в первую очередь как влиятельный дипломат. В течение десяти лет он занимал должность полпреда в Германии, а в дальнейшем – заместителя наркома иностранных дел Максима Литвинова.

Несмотря на то что Крестинский принадлежал к плеяде стойких, закалённых революционеров, по натуре он был типичным благодушным интеллигентом. Самые высокие государственные должности не превратили его в самодовольного сановника. К подчинённым, даже самым незначительным, он относился с присущими ему простотой и пониманием, точно так же, как обращался с самыми важными персонами в Кремле. Ему были симпатичны честные и скромные люди, зато он терпеть не мог интриганов и карьеристов. Неудивительно, что коварный и жестокий Сталин не пользовался его симпатиями. «Я ненавижу этого отвратительного типа с его жёлтыми глазами», – отозвался он как-то о Сталине в узком дружеском кругу; впрочем, это было ещё в те времена, когда можно было произнести такую фразу, не подвергая свою жизнь опасности.

Когда в 1936 году Сталин решил окончательно свести счёты с ленинскими соратниками, Крестинский совершенно естественно оказался среди тех, кто стал его жертвой. Даже тот факт, что Сталин был знаком с

Крестинским больше двадцати пяти лет, что они вместе работали в питерском подполье, не мог смягчить участи этого человека. Напротив, это скорее способствовало гибели Крестинского, ибо, как мы уже знаем, Сталин не терпел людей, знавших слишком много о его прошлом. В связи с его злодеяниями последних лет они могли соответственно истолковать и некоторые сомнительные моменты его биографии, над которыми раньше, быть может, особенно не задумывались.

Кошмар двух первых московских процессов миновал Крестинского, он оставался пока что на свободе. Но расстрелянные были его близкими друзьями, так что он не мог не понимать, что близится и его час. Ему оставалось надеяться лишь на то, что, будучи заместителем наркома иностранных дел, он лично знаком со многими влиятельными государственными деятелями Европы, к которым даже Сталин относился с уважением. Можно было думать, что Сталин воздержится от его «ликвидации», а тем временем кровавая волна террора спадёт…

27 марта 1937 года эти надежды рухнули. Из наркомата иностранных дел Крестинский был переведён на должность заместителя наркома юстиции РСФСР. Нетрудно было понять, что это означает.

Большинство сталинских жертв попадало в застенки НКВД непосредственно с тех постов, которые они занимали до этого. Но иногда, чтобы замаскировать тот или иной арест и сделать его менее заметным, Сталин на короткое время назначал свою жертву на какую-нибудь промежуточную должность во второстепенном наркомате. Так, между прочим, он поступил с Ягодой, назначив его после удаления из НКВД наркомом связи. А вскоре бывший глава НКВД объявился на третьем московском процессе уже в качестве подсудимого. Известный герой Октября Антонов-Овсеенко в 1937 году

был отозван с дипломатического поста в Испании и назначен на полуфиктивную должность наркома юстиции РСФСР, с которой быстро исчез. Заместителем наркома юстиции РСФСР стал теперь и ещё один смертник – Крестинский.

Его не арестовали сразу же после нового назначения. Сталин дал ему возможность пробыть в этом «подвешенном состоянии» ещё два с лишним месяца. Он явно рассчитывал, что напряженное ожидание ареста – со дня на день, с часу на час, – измотает Крестинского и подорвёт его способность к сопротивлению на следствии. В сталинской мышеловке ему предстояло почувствовать, как выглядит смертельная агония, растянутая во времени…

К тому же и он опасался за судьбу жены и единственной дочери Наташи, которой было пятнадцать лет, – стало быть, она подпадала под сталинский закон от 7 апреля 1935 года, предусматривающий смертную казнь для несовершеннолетних. Я знал эту девочку с пятилетнего возраста, и для меня не было секретом, что родители в ней души не чаяли. Наташа была во многом копией отца: она унаследовала не только его живой ум и поразительную память, но даже черты лица и сильную близорукость.

Крестинский был арестован в конце мая. После того как крупнейшие деятели партии оклеветали себя на двух предыдущих процессах, ему уже не приходилось опасаться, что его ложные признания могут дискредитировать большевистскую партию. Всё, что было ему дорого, Сталин и его подручные повергли в грязь, растоптали и пропитали кровью его ближайших друзей. У Крестинского не было уверенности, что удастся спасти жену, но жизнь дочери, безусловно, будет спасена, если он согласится заплатить за неё цену, назначенную Сталиным.

Когда-то Крестинский был юристом, и он лучше других понимал, чего ему ждать от энкаведистского следствия и сталинского суда. Ещё до ареста он сказал себе, что сопротивление бесполезно и что ему придется договориться по-хорошему с руководством НКВД, как только он окажется в их власти. В июне он уже подписал своё первое «признание».

Но на самом суде произошёл эпизод, не оставшийся незамеченным теми, кто внимательно следил за ходом процесса.

Когда в первый же день суда председательствующий спросил Крестинского, признаёт ли он свою вину, тот твёрдо ответил:

– Я не признаю себя виновным. Я не троцкист. Я никогда не был участником «право-троцкистского блока», о существовании которого я не знал. Я не совершил также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне, в частности я не признаю себя виновным в связях с германской разведкой.

Это был первый (и последний) случай на протяжении всех трёх московских процессов, когда подсудимый рискнул на суде прямо заявить о своей невиновности по всем пунктам предъявленного обвинения.

Заявление Крестинского породило массу толков. Люди, следившие за ходом процесса, с острым интересом ожидали, удастся ли Крестинскому довести свой поединок с судом до победного конца.

На следующий день, 3 марта 1938 года, Крестинского снова ввели в зал суда вместе со всеми обвиняемыми. В течение утреннего заседания он не сказал ни слова, и прокурор не задал ему ни единого вопроса. На вечернем заседании он поднялся и обратился к судьям с такой речью:

– Вчера под влиянием минутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжёлым впечатлением от оглашения обвинительного акта, усугублённым моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что я виновен. И вместо того, чтобы сказать «да, я виновен», я почти машинально ответил: «нет, не виновен».

За границей, у тех, кто по газетам следил за процессом, естественно, возник вопрос: что сделали с Крестинским в ночь со второго на третье марта? Любому непредубеждённому человеку невольно приходили на ум страшные орудия пытки.

Между тем энкаведистам не требовались какие-то новые средства принуждения, чтобы заставить Крестинского внезапно изменить свою позицию. Эта попытка отречься от собственных показаний была не более чем актом всё того же фальшивого спектакля, который разворачивался на суде по сталинским указаниям. Сталин знал о подозрениях, вызванных на Западе тем, что на первых двух процессах все обвиняемые в один голос признавали свою вину и вместо того, чтобы подыскивать смягчающие обстоятельства, каждый из них старался взять на себя львиную долю преступлений, в которых их обвиняли.

Он понял, что зарубежные критики нащупали слабое место в его процессах, где подсудимые так старательно следовали предназначенной роли, что даже переигрывали. Теперь он решил показать, что не все обвиняемые ведут себя, точно автоматы. Выбор пал на Крестинского. Он уже на следствии в НКВД показал себя одним из наиболее уступчивых, а во-вторых, как бывший юрист, он скорее мог уловить поощрительные намёки прокурора и отреагировать на них, включившись в игру в наиболее подходящий момент.

2

Хотя Троцкий находился за тысячи километров от зала суда, все знали, что именно он, как и на предыдущих процессах, был здесь главным подсудимым. Именно ради него вновь пришла в действие гигантская машина сталинских фальсификаций, и каждый из подсудимых отчётливо чувствовал, как пульсируют здесь сталинская ненависть и сталинская жажда мщения, нацеленные на далёкого Троцкого. Накал этой ненависти был сравним разве что с завистью, какую Сталин годами испытывал к блестящим способностям и революционным заслугам этого человека.

Сталин знал, каким сильнодействующим средством является клевета, и поэтому манипулировал ею в тщательно отмеряемых дозах. Сюда относились, во-первых, более или менее стандартные обвинения Троцкого в «недооценке крестьянства» и в «недостаточной уверенности в силах пролетариата». Затем следовали обвинения Троцкого в подготовке террористических актов. Наконец, на втором из процессов Сталин обвинил Троцкого в прямом шпионаже в пользу фашистской Германии. Но вот в Москве собрался ещё один суд. Он должен отдать в руки палачей последнюю группу ленинских соратников, и срочно требуется свежая доза инсинуаций против Троцкого. Конечно, после того как Троцкий уже был назван шпионом и агентом германского генерального штаба, трудно было швырнуть ему в лицо ещё более страшные обвинения. Тем не менее, при желании они нашлись, и огласить их поручено было Крестинскому. За эту услугу ему обещали сохранить жизнь. И вот, если на предыдущем судебном процессе Троцкий оказался германским агентом начиная с 1935 года, то теперь Крестинский получает указание объявить, что и он сам,

и, разумеется, Троцкий сделались тайными агентами германского генерального штаба ещё в 1921 году!

Однако, продлевая шпионский послужной список Троцкого, Сталин не заметил, что тем самым он подрывает основную предпосылку, на которой базировался весь его миф о сотрудничестве Троцкого с германским генштабом. Эта предпосылка была изобретена в своё время Сталиным главным образом в расчёте на заграницу и базировалась на утверждении, что Троцкий и прочие лидеры оппозиции погрязли в самых гнусных преступлениях, потому что хотели вернуть себе власть, которой лишились.

Между тем в 1921 году Троцкому не могло прийти в голову бороться за вырванную у него из рук власть по той простой причине, что никто её не пытался даже оспаривать. Троцкий находился тогда в зените славы и на вершине власти. Он почитался как легендарный герой Октябрьской революции и руководитель Красной армии, только что разбившей всех врагов республики на десятке фронтов. Зачем же было Троцкому уже тогда становиться шпионом? Чтобы шпионить за самим собой? Или чтобы разложить Красную армию, которую он создал своими руками и вёл от победы к победе? Что касается Крестинского, то он сказал на суде всё, что от него требовалось. Сталин, как обычно, не сдержал своего обещания, и Крестинский был расстрелян. Его жена, по профессии врач, директор детской больницы, была арестована, и мне думается, что её постигла та же участь. О судьбе их дочери мне ничего не известно.

Козлы отпущения

Хотя советская печать изо дня в день выражала от имени безмолвствующего народа любовь и благодарность товарищу Сталину, у него самого не было иллюзий относительно подлинного отношения к нему народных масс. Из секретных донесений НКВД он знал, что ни рабочие, ни колхозники не восторгались его правлением. Неуклонно следя за растущей волной недовольства, он, подобно кочегару, у которого давление пара в котле слишком поднялось и стрелка манометра перешла уже за красную черту, хватался за рычаг сброса давления. Средство успокоить народ у него было только одно: «перекачать» наиболее непокорные элементы в концентрационные лагеря Сибири и Казахстана.

Путём безжалостных преследований Сталин насаждал в народе страх перед его мощной государственной машиной, но не мог погасить недовольство, которое являлось ахиллесовой пятой его режима.

Каждый тиран предпринимает попытки отвратить от себя народное недовольство и свалить свои грехи на других. Царское правительство старалось натравить тёмный народ на «инородцев», которые изображались виновниками всех бедствий русского населения. Не случайно звериным антисемитизмом отличался Гитлер. Сталин годами использовал в качестве громоотвода мифические «остатки российской буржуазии», возлагая на них ответственность за провалы в экономике и за ту беспросветную нужду, в которую погрузилась при нём страна.

Наглядными проявлениями такой политики были состоявшиеся в 1928 и 1930 годах Шахтинский процесс и «Дело Промпартии». На этих судебных процессах выдающихся инженеров и учёных вынудили рассказывать басни о том, как они подрывали советскую про-

мышленность по указке заводчиков и банкиров, давно бежавших за границу. С этими процессами Сталину так же не повезло, как и с дальнейшими судебными спектаклями. Например, на процессе по делу «Промпартии» один из главных обвиняемых, знаменитый Рамзин, со многими подробностями рассказывал, как он получал вредительские инструкции от двух российских капиталистов, живших за границей, – Рябушинского и Вышнеградского. Когда были опубликованы официальные отчёты об этом процессе, выяснилось, что оба капиталиста умерли задолго до того, как они начали инструктировать Рамзина.

До 1937 года Сталин ещё не решался возлагать на лидеров оппозиции вину за экономический кризис, поразивший страну, за нехватку продовольствия, которая была вызвана коллективизацией. Только после первого из московских процессов и казни Зиновьева и Каменева он задался целью возложить ответственность за голод и другие бедствия всё на тот же троцкистско-зиновьевский центр.

Ради этого он изменил направление официальной пропаганды. Всем было памятно, с каким негодованием печать опровергала сообщения иностранных газет о голоде в СССР, об эксплуатации рабочих, о крестьянских восстаниях. Советские газеты клеймили авторов этих сообщений как архилгунов, доказывая, что Советский Союз – единственная в мире страна, где рабочие наслаждаются счастьем свободного труда, а благосостояние народа с каждым годом неуклонно растёт.

Весь этот поток восхвалений и лжи предназначался, конечно, для западных стран, ибо самая искусная пропаганда не смогла бы убедить рабочих и крестьян в том, что их благосостояние растёт, между тем как в действительности они при советской власти вечно недоедали.

И вот начиная с 1937 года Сталин решился признать многие вещи, которые он до того упорно отрицал. Он решился объяснить народным массам, что во всех трудностях и страданиях следует обвинять не правительство, а вождей оппозиции.

При этом Сталин полагал, что массы могут и не поверить этой странной версии, если она будет исходить от него лично или от его штатных пропагандистов. А вот если бывшие вожди оппозиции сами признаются на суде и разрисуют во всех подробностях, как они умышленно портили колоссальные запасы продовольствия, губили скот и дезорганизовывали промышленность и торговлю, – тогда всё будет выглядеть по-другому.

Задача поведать на суде о вредительстве оппозиционеров в области сельского хозяйства была возложена на двух обвиняемых – Михаила Чернова и Василия Шаранговича. Сталин сделал свой выбор на этой паре вовсе не случайно. Оба оставили о себе жуткую память – первый на Украине, второй в Белоруссии. Не кто иной, как Чернов, был наркомом земледелия и, следуя сталинским указаниям, проводил на Украине свирепую коллективизацию. В 1928 году по распоряжению ЦК, не останавливаясь перед насилием и жестокостью, он осуществил здесь реквизицию зерна у крестьян. Второй – Шарангович – был секретарём белорусского ЦК партии и теми же террористическими приёмами коллективизировал белорусскую деревню.

Оба не были старыми большевиками и никогда не принадлежали к оппозиции. В партию они вступили уже после окончания гражданской войны и подобно многим, которых Сталин начал выдвигать уже после смерти Ленина, сделали карьеру, активно участвуя в клеветнических кампаниях против оппозиции. У Чернова было, кстати, ещё дополнительное достоинство:

подобно Сталину, он учился когда-то в духовной семинарии.

Итак, сталинский трюк состоял в том, чтобы выпустить на процесс в качестве обвиняемых своих высокопоставленных сановников, проводивших на селе именно сталинскую политику насильственной коллективизации; приказать им, чтобы они заявили перед судом, что на самом деле они были тайными агентами Бухарина и Рыкова и свирепствовали на украинской и белорусской земле, выполняя бухаринско-рыковскую инструкцию. А дана эта инструкция была исключительно для того, чтобы вызвать недовольство крестьян сталинским режимом.

На процессе Чернов сознавался, что он и его сообщники по заговору «старались неправильно планировать посевные площади, чтобы уменьшить в стране количество пахотных земель и одновременно вызвать недовольство крестьянства… портить тракторы и комбайны, заражать болезнетворными бациллами элеваторы и амбары…»

Вторя ему, Шарангович объяснил, что в 1936 году он с сообщниками «вызвал большую вспышку анемии (!), в результате которой погибло около 30 тысяч лошадей».

Не менее фантастические вредительские акты приписывались подсудимым и в других областях экономики – в тяжёлой и лёгкой промышленности, внутренней и внешней торговле, а также в финансовой политике государства. Все достижения индустриализации трактовались как заслуга Сталина; все упущения и хаос – как результат деятельности оппозиции. Становилось всё более ясным, что Сталин печётся лишь о благе народа. Его противники, наоборот, сеяли трудности и лишения с явной целью спровоцировать в народе недовольство Сталиным. Для достижения этой цели вредители

не останавливались даже перед организацией взрывов на угольных шахтах, рассчитывая на гибель большого количества шахтеров… Один из подсудимых согласился с прокурором в том, что бывшие лидеры оппозиции придерживались такой точки зрения: «человеческие жертвы – вещь хорошая, потому что вызовут недовольство рабочих».

Не менее яркой была представленная суду картина вредительства на железнодорожном транспорте. Железнодорожные катастрофы случаются и нередко влекут за собой человеческие жертвы не только в отсталых, но и в высокоразвитых странах, где железные дороги оснащены самой совершенной техникой. В СССР получилось так, что устаревшим дорогам, построенным ещё в царское время, пришлось работать с огромной перегрузкой. Постоянным явлением на транспорте были пробки, а частые крушения поездов стали настоящим бедствием. В каждом таком случае производилось какое-то расследование, обнаруживались истинные или мнимые виновники, их давно расстреляли, однако теперь Сталин приказал НКВД вновь поднять материалы об этих происшествиях, отобрать наиболее страшные и выдать их на третьем московском процессе за результат вредительской деятельности оппозиционеров.

Но самые кошмарные истории страна услышала даже не от организаторов железнодорожных катастроф, а от старого большевика Зеленского. Поощряемый наводящими вопросами генерального обвинителя Вышинского, он рассказал на суде о том, как вместе со своими сообщниками дезорганизовал советскую торговлю, чтобы лишить население продовольствия и товаров первой необходимости. Зная, как народ страдает от хронического недоедания, Сталин решил сыграть и на этой болезненной проблеме, чтобы снять с себя от-

ветственность за вечный дефицит самых необходимых продуктов.

Зеленский рассказывал, что, являясь главой так называемого Центросоюза, он создавал перебои в снабжении населения товарами. В результате его вредительской деятельности в лавках, потребкооперации не оказалось ни сахара, ни соли, ни махорки, на которые всегда был большой спрос. Он ввёл в торговой сети принцип неравномерного распределения товаров, так что в одних лавках не хватало самого необходимого, а в другие, напротив, завозился избыток товаров в расчёте на их порчу. И вновь повторялся уже знакомый рефрен: всё это делалось для того, чтобы возбудить в народе недовольство сталинским режимом.

Но Вышинскому и этого было недостаточно. Он знал, что Сталин ждёт более пикантных разоблачений.

– А как обстояло дело с маслом из-за вашей вредительской деятельности? – выпытывал Вышинский у подсудимого с наглостью профессионального шантажиста.

Целому поколению детей, родившихся после 1927 года, был незнаком даже вкус сливочного масла. С 1928 по 1935 год российские граждане могли увидеть масло только в витринах так называемых торгсинов, где всё продавалось только в обмен на золото или иностранную валюту. В 1935 году, когда карточная система, державшаяся шесть лет подряд, была наконец отменена, масло появилось в коммерческих магазинах, однако по совершенно недоступной для населения цене.

Теперь Вышинскому требовалось, чтобы Зеленский признал, что именно руководители оппозиции, а не кто другой, лишили народ возможности видеть на своём столе масло.

– Как обстоят дела с маслом, вот что меня интересует! – восклицал он. – Вы тут говорили о соли, о сахаре

и так далее, о том, как вы путём саботажа лишили магазины этих продуктов. Ну, а как было с маслом?

– Маслом мы в деревне не торгуем, – отвечал Зеленский.

– Я не спрашиваю вас, чем вы торгуете, – раздражённо прервал его Вышинский. – Вы торговали раньше всего Родиной… Но что вам известно относительно торговли маслом?

Этот пункт, очевидно, не был заранее полностью согласован с обвиняемым, и Зеленский никак не мог сообразить, чего от него хотят. Он повторил:

– Я же вам сказал, что кооперативы не торгуют маслом в деревне…

– Я вас не спрашиваю, чем вы торгуете, – опять оборвал Вышинский. – Вы тут не торговец, а член организации заговорщиков. Что вам известно насчёт масла?

– Ничего, – отвечал Зеленский, всё ещё не понимая, куда клонит прокурор.

В этот момент председательствующий Ульрих потребовал от Зеленского, чтобы он отвечал по существу и перестал пререкаться с прокурором. Зеленский больше не возражал Вышинскому и в ответ на дальнейшие вопросы подтвердил, что руководители оппозиции повинны в нехватке масла. Кроме того, он поддакнул Вышинскому ещё в одном: участники заговора подбрасывали в масло гвозди и битое стекло.

– Вы отвечаете за всю преступную деятельность блока? – спросил Вышинский.

– Да, за всю.

– За гвозди, за стекло, подброшенное в масло, чтобы ранить нашим людям горло и желудок, вы отвечаете? – напирал Вышинский.

– Отвечаю, – смиренно подтвердил Зеленский.

Эти горы лжи понадобилось нагромоздить для того, чтобы в своей обвинительной речи Вышинский мог сформулировать тезисы, действительным автором которых был Сталин.

– В нашей стране, богатой всевозможными ресурсами, не могло и не может быть такого положения, когда какой бы то ни было продукт оказывался в недостатке. Ясно теперь, почему здесь и там у нас перебои, почему вдруг у нас при богатстве и изобилии продуктов нет того, нет другого, нет десятого. Именно потому, что виноваты в этом вот эти изменники!

Обвиняемых, ставших козлами отпущения, казнили. Однако жизненный уровень трудящихся в СССР не повысился. Напротив, он стал ещё ниже.

Использованы и отброшены

В одной из предыдущих глав я упоминал, что вскоре после второго московского процесса, в январе 1937 года, Сталин начал в массовом порядке ликвидировать всех, кто был причастен к тайнам его судебных спектаклей, начиная с руководителей НКВД и кончая рядовыми сотрудниками.

Казнённые энкаведисты постепенно заменялись людьми из аппарата ЦК. Но тем недоставало опыта оперативной работы, а Сталин всё ещё нуждался в опытных кадрах НКВД, чтобы организовать ещё один процесс – над Бухариным, Рыковым, Крестинским и другими.

Из этих соображений он отобрал и пока что не трогал нескольких человек из числа высших руководителей НКВД, которых знал лично. В отобранную группу вошли: начальник ленинградского управления НКВД Леонид Заковский, начальник ГУЛАГа Матвей Берман и начальник управления погранвойск Михаил Фриновский. Сверх того, он пощадил начальника мос-

ковского управления НКВД Реденса, женатого на сестре Надежды Аллилуевой.

Желая показать, что террор против чекистов их лично не коснётся, Сталин вручил им высокие государственные награды и сверх того назначил Фриновского, Заковского и Бермана заместителями нового наркома внутренних дел Ежова. Тот в свою очередь распорядился начать специальную пропагандистскую кампанию среди нового контингента сотрудников, в ходе которой все могли бы ознакомиться с заслугами его заместителей перед родиной. На партсобраниях в НКВД их восхваляли как сохранивших преданность Центральному комитету партии.

Всё происходившее с этой троицей напоминало до поры до времени волшебную сказку. Напуганные арестом всех прочих руководителей управлений НКВД, они беспомощно ждали, когда придёт и их очередь. И вдруг, в один прекрасный день магическая рука вырвала их из унылых шеренг обречённых и вознесла на вершины власти.

Уверенность в преданности Заковского и Фриновского была так велика, что им доверили даже ликвидацию их же вчерашних товарищей. Одним из самых драматичных эпизодов этой ликвидации было отравление Слуцкого, совершённое его давним другом Фриновским.

Даже те, кто считал, что эта троица попала в милость у Сталина лишь благодаря случайности, спустя какое-то время вынуждены были признать свою ошибку. Новоиспечённым заместителям Ежова оказывались всё большие знаки внимания. Так, Заковскому и Фриновскому, которые никогда ничего не писали, кроме служебных донесений, ЦК поручил написать «для партийной печати» серию статей, направленных против бывших лидеров оппозиции, и представить свои пред-

ложения по мобилизации комсомольцев на борьбу с «врагами партии». В июле 1937 года в «Правде» появился указ президиума Верховного совета о награждении Заковского орденом Ленина за «самоотверженное выполнение важнейших заданий правительства». Осенью того же года ЦК распорядился опубликовать большим тиражом книгу того же Заковского «О троцкистско-бухаринских бандитах и шпионах» и рекомендовал её для изучения в партийных организациях по всей стране.

Но вот в марте 1938 года закончился третий московский процесс, подготовленный стараниями Заковского, Фриновского и отчасти Бермана. Теперь Сталин больше в них не нуждался. Кроме того, все трое слишком много знали. Им были известны ещё старые секреты ОГПУ-НКВД времён Менжинского и Ягоды, обстоятельства смерти Надежды Аллилуевой, убийства Кирова, подробности того, что произошло с Авелем Енукидзе и Серго Орджоникидзе. Заковский и Фриновский знали также главную сталинскую тайну – причину уничтожения маршала Тухачевского и других руководителей Красной армии. В общем, это были слишком опасные свидетели.

В то же время Сталин уже не мог расправиться с ними так же бесцеремонно, как он поступил со многими другими, то есть объявить их шпионами и изменниками. Ведь совсем недавно они были представлены новому пополнению НКВД как «верные сыны партии», в отличие от всех других энкаведистских руководителей сохранившие верность Центральному комитету. Поэтому было решено отправить их в небытие кружным путём. Все трое были переведены на различные должности в Совете народных комиссаров. Фриновский, в частности, был назначен наркомом военно-морского флота. Вскоре после этого все трое бесследно исчезли.

Ближайший друг

Сталин уничтожил больше революционеров, чем все русские цари, вместе взятые. Он ликвидировал не только действительных и потенциальных соперников, но и их последователей. Стремясь избавиться от нежелательных свидетелей, отправил на тот свет своих самых верных прислужников, исполнявших его преступные распоряжения. Погубил своих старых кавказских друзей – только потому, что им было известно кое-что из его прошлого. Однако во всей этой длинной цепи «ликвидации», совершённых Сталиным на протяжении его долгой и кровавой карьеры, ничто не поразило меня так, как убийство Авеля Енукидзе.

Этот человек был самым близким другом Сталина ещё со времён их юности. В середине 30-х годов Енукидзе занимал высокий пост председателя Центрального исполнительного комитета (ЦИК). Но к этому времени он утратил те черты революционера, которые его отличали раньше, и оказался одним из тех деятелей, которые выродились в типичных сановников, с упоением наслаждавшихся окружающей роскошью и своей огромной властью.

Когда я спросил своего старого приятеля, много лет бывшего личным секретарём Енукидзе, чем интересуется его шеф, последовал ответ:

– Ох, он больше всего на свете любит сравнивать, как ему живётся: лучше, чем жили цари, или пока ещё нет.

При этом он безнадёжно махнул рукой, и в его глазах появились лукавые искорки. Заметив моё изумление, он поспешил добавить, что его шеф – «отличный мужик».

Я никогда не мог понять, на чём зиждется столь тесная дружба Сталина и Енукидзе, людей разительно непохожих друг на друга. Это касалось даже их внеш-

ности. Енукидзе был крупным светловолосым мужчиной с приятными и учтивыми манерами. В отличие от прочих сталинских приспешников он мало интересовался своей карьерой. Мне, в частности, известно, что когда в 1926 году Сталин собирался ввести его в Политбюро, ленивый Авель сказал: «Сосо, я так или иначе буду тянуть свою лямку, ты лучше отдай это место Лазарю (Кагановичу), он так давно стремится его получить!»

Сталин с ним согласился. Он знал, что Авеля не требуется подкупать разного рода подачками, что на него можно положиться, не прибегая к специальным поощрениям. И, насколько мне известно, в дальнейшем никогда не пытался продвигать его на освобождающиеся посты, а использовал открывавшиеся в Политбюро вакансии в качестве соблазнительной приманки для других.

Теперь, когда я знаю о Енукидзе больше, я склонен думать, что он отказался от членства в Политбюро не потому, что был лишён амбиций, а потому что понимал: нужно быть слишком жестоким и беспринципным человеком, чтобы держаться за место в этом сталинском Политбюро.

Человек по натуре добродушный, Енукидзе любил приходить людям на помощь, и счастливы были те, кому в минуту житейской неудачи приходила спасительная мысль обратиться к нему. ЦИК удовлетворял почти каждую просьбу о смягчении наказания, если только она попадала в руки Енукидзе. Жёны арестованных знали, что Енукидзе – единственный, к кому они могут обратиться за помощью. Действительно, многим из них он помогал продуктами питания, направлял к ним врача, когда они или их дети были больны. Сталин обо всём этом знал, но, когда дело касалось Енукидзе, смотрел на такие вещи сквозь пальцы.

Сам я однажды тоже был свидетелем эпизода, который как нельзя лучше характеризует этого человека. В 1933 году, будучи с семьёй в Австрии, я узнал, что туда прибыл Енукидзе в сопровождении свиты личных врачей и секретарей. Пробыв некоторое время в медицинской клинике профессора фон Нордена, он отправился отдыхать в Земмеринг, где занял ряд номеров в лучшей гостинице. Как-то приехав в Вену, мы с женой встретили его возле советского полпредства. Он пригласил нас провести выходной день вместе. По дороге в Земмеринг мы проезжали небольшой городок, где как раз шумела сельская ярмарка со своей традиционной каруселью и прочими нехитрыми развлечениями. Мы остановили машину и стали свидетелями живописной сцены. Невдалеке от дороги плясала группа терских казаков в национальной кавказской одежде. Завидев наш лимузин, казаки подошли поближе и, явно надеясь на щедрое вознаграждение, исполнили кавказский танец, ловко жонглируя при этом острыми кинжалами. Казаки не подозревали, что они развлекают члена советского правительства, вдобавок настоящего кавказца. Когда танец кончился, один из них приблизился к нашей машине и, с трудом переводя дыхание, протянул свою кавказскую папаху. Енукидзе вынул бумажник и положил в неё стошиллинговую купюру. Потом он жестом пригласил всех танцоров подойти поближе и каждого оделил такой же суммой, составлявшей по тем временам пятнадцать долларов – очень немалые деньги. Когда мы двинулись дальше, телохранитель Енукидзе, ехавший с нами, обратился к нему:

– Это же были белоказаки, Авель Софронович!..

– Ну и что же? – откликнулся Енукидзе, заметно покраснев. – Они тоже люди…

Помню, на меня слова Енукидзе произвели большое впечатление, хотя про себя я не одобрял такой экстравагантной щедрости. Я подсчитал в уме, что деньги, розданные Енукидзе в течение одной минуты, семье советского колхозника пришлось бы зарабатывать целый год. Любой другой за такое поведение лишился бы партбилета, но Авелю всё сходило с рук.

Енукидзе не был женат и не имел детей, хотя, казалось, самой природой он был предназначен на роль образцового семьянина. Всю душевную нежность он расточал на окружающих, на детей своих приятелей и знакомых, засыпая их дорогими подарками. В глазах детей самого Сталина наиболее привлекательным человеком был, разумеется, не их вечно угрюмый отец, а «дядя Авель», который умел плавать, катался на коньках и знал массу сказок про горных духов Сванетии и другие кавказские чудеса.

Авель Енукидзе был не только кумиром сталинских детей, но и близким другом его жены, Надежды Аллилуевой. Он дружил ещё с её отцом и знал её буквально с пелёнок. Во многих случаях, когда Аллилуева ссорилась со Сталиным, ему приходилось играть роль миротворца.

Казалось, из всего сталинского окружения только у Енукидзе было надёжное положение. Вот почему опала, внезапно постигшая его в начале 1935 года, поставила в тупик многих сотрудников НКВД и породила самые фантастические слухи. Впрочем, о некоторой неуверенности Енукидзе в своём будущем можно было догадаться, прочитав его статью в одном из номеров «Правды» за январь того же года. В этой статье Енукидзе сетовал, что в воспоминания некоторых авторов о большевистском подполье Закавказья вкралось немало ошибок и искажений, требующих исправления. В частности, он сознавался в своей собственной ошибке,

которая состояла в преувеличении собственной роли в руководстве бакинской подпольной организацией большевиков, причём это преувеличение попало даже в Большую советскую энциклопедию.

Правда, статья, где он стремился преуменьшить свою роль в закавказском подполье, уступая первенство Сталину, ещё не доказывала, что он впал в немилость. Как раз в это время в Москве вовсю шла работа по фальсификации истории партии, целью которой было всячески выпятить Сталина как главного героя большевистского подполья. Многие полагали, что Енукидзе просто подаёт пример другим, как надо пересматривать и переписывать более ранние воспоминания. Случалось ведь, что в этих воспоминаниях старых большевиков Сталин вовсе не был упомянут или же ему уделялось совершенно недостаточное внимание, чего, разумеется, теперь нельзя было допустить.

Окружающие заметили изменение отношения Сталина к Енукидзе не так быстро, как это бывало в других случаях. Прежде всего потому, что Сталин пытался утаить свой конфликт с Енукидзе, вероятно рассчитывая прийти к какому-то с ним соглашению. Даже «выселение» Енукидзе из Кремля не вызвало никаких подозрений. А произошло оно так: в середине февраля Сталин связался по телефону с секретарём Закавказского ЦК Лаврентием Берия и приказал ему ходатайствовать перед Москвой, чтобы товарища Енукидзе отпустили в Закавказье, поскольку имеется намерение сделать его председателем Закавказского ЦИКа.

Спустя несколько дней в «Правде» появилось сообщение, что Центральный исполнительный комитет СССР удовлетворил просьбу Закавказской советской федеративной социалистической республики и, таким образом, тов. Енукидзе переводится на работу в Тбилиси. На первый взгляд могло показаться, что Сталин

направил Енукидзе в Закавказье в качестве своего полномочного представителя. Но кое-кто из кремлёвских обитателей знал, что Енукидзе отправлен из Москвы не с почётным заданием, а попросту отброшен пинком сталинского сапога. Впрочем, даже для этих немногих оставалось тайной, что же вызвало ссору Сталина с его близким и единственным другом.

Дорога от Москвы до Тбилиси, если ехать поездом, занимала трое суток – достаточно для того, чтобы Енукидзе ещё по пути мог обдумать своё нынешнее положение и своё будущее. Мне кажется, Сталин ожидал, что по прибытии в Тбилиси Енукидзе напишет ему покаянное письмо, прося о примирении. В таком случае он будет возвращён в Москву, хотя, возможно, его и подержат некоторое время в Закавказье просто ради приличия. Так или иначе, в партийных кругах никогда не узнают, что между старыми друзьями произошла ссора, и уж тем более не догадаются о её причинах.

Однако Енукидзе такого покаянного письма не написал, очевидно решив про себя, что в положении первого человека в Закавказье он будет жить ничуть не хуже, чем в Москве. Тем более что он родился тут, на Кавказе, – с Кавказом были связаны лучшие страницы его молодости.

Сталин выждал несколько недель и, убедившись, что Енукидзе не намерен ему кланяться, решил поставить строптивца на колени более грубым приёмом. Он приказал, чтобы Берия не занимался «выборами» Енукидзе на пост председателя закавказского ЦИКа; пусть вместо этого ему будет предложена должность директора санатория в Грузии. Такой оборот дела можно сравнить с тем, как если бы человеку был предложен пост директора банка, но по прибытии в банк ему объявили, что для него имеется только должность рассыльного.

Большего удара по репутации Енукидзе нельзя было себе представить. После такого издевательского предложения многим в партии стало ясно, что у Енукидзе со Сталиным произошло нечто непоправимое. Грузинские сановники, с энтузиазмом встречавшие его на тбилисском вокзале, мгновенно перестали узнавать его на улице.

Енукидзе решил, что его отношения со Сталиным на том и кончены. Однако Сталин так не считал. Он не мог спать спокойно, когда им овладевала неприязнь к кому бы то ни было. Если уже упущено время, чтобы подержать Енукидзе на коленях как проштрафившегося друга, то оставалась ещё возможность бросить его на колени как врага. Для таких случаев Сталин имел множество испытанных средств. Первое и наиболее безобидное, применявшееся по отношению к сановникам, попавшим в немилость, называлось «поставить на ноги», то есть лишить опальную персону персональной машины и личного шофера. Следующее наказание называлось «ударить по животу»: нечестивца лишали права пользоваться кремлёвской столовой и получать продовольствие из закрытых магазинов. Если речь шла о члене правительства, его к тому же выселяли из правительственного дома и лишали персональной охраны. Все эти меры, одну за другой пришлось испытать и Енукидзе.

Просидев в Тбилиси месяца два, он возвратился в Москву. Разумеется, его не ждали тут ни в одной из правительственных квартир, которые предоставляются наиболее важным персонам, прибывающим в столицу с периферии. Он остановился в гостинице «Метрополь», где снимали номера рядовые советские чиновники, приезжавшие в Москву по делам, а также иностранные журналисты и туристы.

Ягода и другие сталинские приближённые пытались убедить Енукидзе, что ему следует пройти обычный ритуал покаяния и признать свои «грехи» перед партией. Енукидзе не согласился. Узнав об этом, Сталин приказал Ягоде собрать необходимые сведения и составить докладную для Политбюро.

Грехи Енукидзе были известны всем. Енукидзе и его приятель Карахан из наркомата иностранных дел имели репутацию своеобразных покровителей искусства – они покровительствовали молодым балеринам из московского Большого театра. Впрочем, в этом не было, собственно, ничего криминального. Оба они были интересными мужчинами, вдобавок кремлёвскими шишками, и балеринам было даже лестно привлечь их внимание. К тому же не только Енукидзе, но, насколько я помню, и Карахан был старым холостяком, и наверняка не одна из юных балерин мечтала завлечь того или другого в брачные сети. Другой грех Енукидзе, как я уже упоминал, сводился к щедрой помощи женам и детям арестованных партийцев, с которыми он когда-то был дружен. Сталину всё это было известно и раньше, но теперь он требовал представить эти факты в новом свете.

Если бы Ягода копнул глубже, то в архивах НКВД он обнаружил бы сведения ещё об одном прегрешении Енукидзе. В один прекрасный день, пресытясь обществом двух прелестных девушек из секретариата ЦИКа, Енукидзе выдал им превосходные характеристики за своей подписью и президентской печатью, снабдил их приличной суммой в иностранной валюте и пристроил обеих в советские торговые делегации, отправляющиеся за границу. В дальнейшем обе девушки не пожелали вернуться в СССР.

Всё это было не столь уж серьёзно. Главное обвинение, состряпанное Ягодой по наущению Сталина,

состояло в том, что Енукидзе засорил аппарат ЦИКа и Кремля в целом нелояльными элементами. В этом не было и зерна правды. Проверка лояльности кремлёвского персонала была обязанностью вовсе не Енукидзе, а НКВД. Но чтобы придать этому обвинению хоть какой-то вес, НКВД срочно объявил десятка два служащих из аппарата Енукидзе политически ненадёжными и уволил их.

В числе кремлёвских служащих была очень интеллигентная пожилая дама, работавшая здесь ещё с дореволюционных времён. Это была совершенно аполитичная и безобидная особа, сведущая в вопросах хранения произведений искусства, всё ещё остававшихся в бывшем царском дворце на территории Кремля. Эта дама была единственным в Кремле человеком, помнившим, как должен быть сервирован стол для правительственных банкетов и официальных приёмов. Она же преподавала простоватым супругам кремлёвских тузов правила поведения в обществе, посвящала их в тайны светского этикета. Все, начиная от Сталина, знали о присутствии в Кремле этой дамы и не считали её чуждым элементом. Но теперь, когда потребовалось напасть на Енукидзе, Сталин подал Ягоде мысль произвести скромную пожилую женщину в княгини и придумать целую историю, как она пробралась в Кремль при благосклонном содействии Енукидзе. Княгиня в сталинском Кремле! Сталин был мастером, выдумывать такие маленькие сенсации.

Я припоминаю, кстати, и другой подобный случай. За восемь лет до этих событий, в 1927 году, Ягода доложил. Сталину, что ОГПУ обнаружило и конфисковало гектограф, на котором группа юных троцкистов изготовляла антисталинские листовки. Гектограф был обнаружен с помощью некоего Строилова – провокатора, состоявшего агентом ОГПУ. Строилов обещал

легкомысленным приверженцам Троцкого достать необходимый запас бумаги и другие материалы, нужные для работы на гектографе. «Ладно! – заявил Сталин Ягоде. – Теперь повысьте своего агента в чине. Пусть он станет врангелевским офицером, а в рапорте вы напишите, что троцкисты сотрудничали с белогвардейцем-врангелевцем».

Миф о кремлёвской княгине появился на свет точно так же, экспромтом, как и пресловутая выдумка про врангелевского офицера.

На основе донесения, написанного Ягодой, комиссия партийного контроля исключила Енукидзе из партии «за политическое и моральное разложение». Решением комиссии, опубликованным в газетах 7 июня 1935 года, Енукидзе обвинялся в том, что он вёл аморальный образ жизни, засорил аппарат Кремля и ЦИКа антисоветскими элементами и, кроме того, разыгрывая из себя «доброго дядю», покровительствовал лицам, враждебным советской власти.

После этого Ягода, продолжая выполнять сталинские инструкции, предупредил Енукидзе, что если он не сознается во всех своих грехах и не покается публично, его ждут новые обвинения, на этот раз уголовно-политического характера. Это означало, что Ягода угрожает Енукидзе тюремным заключением или даже смертной казнью, хотя я думаю, что Енукидзе до последнего момента не верил, что Сталин так расправится с ним. Впрочем, каковы бы ни были его соображения, он достаточно хорошо знал «Сосо» и, не считая возможным полагаться на его обещания, отказался клеветать на себя. Енукидзе мог позволить себе такую роскошь: ему не надо было бояться ни за жену, ни за детей.

Пока был жив Орджоникидзе, с которым Енукидзе и Сталин составляли дружественное грузинское трио,

Сталин воздерживался от нанесения бывшему другу окончательного удара. Но в феврале 1937 года Орджоникидзе внезапно умер, и Сталин решил довести конфликт с Енукидзе до логического конца. В тех случаях, когда дело шло о мести, «логический конец», с точки зрения Сталина, мог означать только одно: физическое уничтожение противника.

Когда Енукидзе услышал от руководителей НКВД, что он обвиняется в измене родине и шпионаже, он разрыдался. До этой минуты он, по-видимому, был уверен, что к нему Сталин не сможет применить свои крайние меры.

Следователи НКВД обращались с Енукидзе не столь жестоко, как с вождями оппозиции. Для расправы с оппозицией сотрудники «органов» тренировались и натаскивались в течение долгих десяти лет. А Енукидзе никогда не участвовал в оппозиции, да вдобавок ещё совсем недавно принадлежал к узкому кругу обитателей Кремля. Наконец, следователи считались с тем, что – чем чёрт не шутит – вдруг Сталин в последний момент помирится с Енукидзе, и тот, вернув себе прежнее положение, сумеет расправиться с теми, кто его мучил.

Своим следователям Енукидзе сообщил действительную причину конфликта со Сталиным.

– Всё моё преступление, – сказал он, – состоит в том, что когда он сказал мне, что хочет устроить суд и расстрелять Каменева и Зиновьева, я попытался его отговаривать. «Сосо, – сказал я ему, – спору нет, они навредили тебе, но они уже достаточно пострадали за это: ты исключил их из партии, ты держишь их в тюрьме, их детям нечего есть. Сосо, – сказал я, – они старые большевики, как ты и я. Ты не станешь проливать кровь старых большевиков! Подумай, что скажет о нас весь мир!» Он посмотрел на меня такими глазами,

точно я убил его родного отца, и сказал: «Запомни, Авель, кто не со мной – тот против меня!»

Неравная борьба Енукидзе со Сталиным была окончена. 19 декабря 1937 года в газетах появилось короткое сообщение: военный трибунал на закрытом заседании приговорил его, а заодно и Карахана и ещё пятерых к смертной казни за шпионско-террористическую деятельность. Приговор, тут же был приведён в исполнение.

Надежда Аллилуева. Павел Аллилуев

1

В 1919 году сорокалетний Сталин женился на молоденькой Надежде Аллилуевой. Ей тогда было всего семнадцать лет; одновременно с ней Сталин ввёл в свой дом её брата-погодка.

Советский народ впервые узнал имя Надежды Аллилуевой в ноябре 1932 года, когда она умерла и по улицам Москвы потянулась грандиозная похоронная процессия – похороны, которые устроил ей Сталин, по пышности могли выдержать сравнение с траурными кортежами российских императриц.

Умерла она в возрасте тридцати лет, и, естественно, всех интересовала причина этой столь ранней смерти. Иностранные журналисты в Москве, не получив официальной информации, вынуждены были довольствоваться ходившими по городу слухами: говорили, например, что Аллилуева погибла в автомобильной катастрофе, что она умерла от аппендицита и т. п.

Получалось, что молва подсказывает Сталину целый ряд приемлемых версий, однако он не воспользовался ни одной из них. Некоторое время спустя им была выдвинута такая версия: его жена болела, начала выздоравливать, однако вопреки советам врачей слишком рано встала с постели, что вызвало осложнение и смерть.

Почему нельзя было сказать просто, что она заболела и умерла? На то была своя причина: всего за полчаса до смерти Надежду Аллилуеву видели живой и здоровой, окружённой многочисленным обществом советских сановников и их жён, на концерте в Кремле. Концерт давался 8 ноября 1932 года по случаю пятнадцатой годовщины Октября.

Что же в действительности вызвало внезапную смерть Аллилуевой? Среди сотрудников ОГПУ циркулировало две версии: одна, как бы апробированная начальством, гласила, что Надежда Аллилуева застрелилась, другая, передаваемая шепотом, утверждала, что её застрелил Сталин.

О подробностях этого дела мне кое-что поведал один из моих бывших подчинённых, которого я рекомендовал в личную охрану Сталина. В эту ночь он как раз нёс дежурство в сталинской квартире. Вскоре после того как Сталин с женой вернулись с концерта, в спальне раздался выстрел. «Когда мы туда ворвались, – рассказывал охранник, – она лежала на полу в чёрном шелковом вечернем платье, с завитыми волосами. Рядом с ней валялся пистолет».

В его рассказе была одна странность: он не обмолвился ни словом, где был сам Сталин, когда прозвучал выстрел и когда охрана вбежала в спальню, оказался ли он тоже там или нет. Охранник умалчивал даже о том, как воспринял Сталин неожиданную смерть жены, какие распоряжения он отдал, послал ли за врачом… У меня определённо сложилось впечатление, что этот человек хотел бы сообщить мне что-то очень важное, но ожидал вопросов с моей стороны. Опасаясь зайти в разговоре слишком далеко, я поспешил переменить тему.

Итак, мне стало известно от непосредственного свидетеля происшествия, что жизнь Надежды Аллилуевой оборвал пистолетный выстрел. Чья рука нажала на спуск – остается тайной. Однако если подытожить всё, что я знал об этом супружестве, следует, пожалуй, заключить, что это было самоубийство.

Для высокопоставленных сотрудников ОГПУ-НКВД не было тайной, что Сталин и его жена жили очень недружно. Избалованный неограниченной

властью и лестью своих приближённых, привыкший к тому, что все его слова и поступки не вызывают ничего, кроме единодушного восхищения, Сталин позволял себе в присутствии жены столь сомнительные шутки и непристойные выражения, какие ни одна уважающая себя женщина не может выдержать. Она чувствовала, что, оскорбляя её таким поведением, он получает явное удовольствие, особенно когда всё это происходит на людях, в присутствии гостей, на званом обеде или вечеринке. Робкие попытки Аллилуевой одернуть его вызывали немедленный грубый отпор, а в пьяном виде он разражался отборнейшим матом.

Охрана, любившая её за безобидный характер и дружеское отношение к людям, нередко заставала её плачущей. В отличие от любой другой женщины она не имела возможности свободно общаться с людьми и выбирать друзей по собственной инициативе. Даже встречая людей, которые ей нравились, она не могла пригласить их «в дом к Сталину», не получив разрешения от него самого и от руководителей ОГПУ, отвечавших за его безопасность.

В 1929 году, когда партийцы и комсомольцы были брошены на подъём промышленности под лозунгом скорейшей индустриализации страны, Надежда Аллилуева захотела внести в это дело свою лепту и выразила желание поступить в какое-нибудь учебное заведение, где можно получить техническую специальность. Сталин об этом и слышать не хотел. Однако она обратилась за содействием к Авелю Енукидзе, тот заручился поддержкой Серго Орджоникидзе, и совместными усилиями они убедили Сталина отпустить Надежду учиться. Она выбрала текстильную специальность и начала изучать вискозное производство.

Итак, супруга диктатора сделалась студенткой. Были приняты чрезвычайные меры предосторожности, что-

бы никто в институте, за исключением директора, не узнал и не догадался, что новая студентка – жена Сталина. Начальник Оперативного управления ОГПУ Паукер пристроил на тот же факультет под видом студентов двоих тайных агентов, на которых была возложена забота о её безопасности. Шоферу автомобиля, который должен был доставлять её на занятия и привозить обратно, было строго приказано не останавливаться у институтского подъезда, а заворачивать за угол, в переулок, и там ждать свою пассажирку. В дальнейшем, в 1931 году, когда Аллилуева получила в подарок новенький «газик» (советскую копию «форда»), она стала приезжать в институт без шофера. Агенты ОГПУ, разумеется, следовали за ней по пятам в другой машине. Её собственный автомобиль не вызывал в институте никаких подозрений – в это время в Москве уже насчитывалось несколько сот крупных чиновников, имеющих собственные машины. Она была счастлива, что ей удалось вырваться из затхлой атмосферы Кремля, и отдалась учёбе с энтузиазмом человека, делающего важное государственное дело.

Да, Сталин сделал большую ошибку, позволив своей жене общаться с рядовыми гражданами. До сих пор она знала о политике правительства только из газет и официальных выступлений на партийных съездах, где всё, что ни делалось, объяснялось благородной заботой партии об улучшении жизни народа. Она, конечно, понимала, что ради индустриализации страны народ должен принести какие-то жертвы и во многом себе отказывать, но она верила заявлениям, будто жизненный уровень рабочего класса из года в год повышается.

В институте ей пришлось убедиться, что всё это неправда. Она была поражена, узнав, что жёны и дети рабочих и служащих лишены права получать

продовольственные карточки, а значит, и продукты питания. Узнала она и о том, что тысячам советских девушек – машинисткам, делопроизводителям и другим мелким служащим – приходится торговать своим телом, чтобы не умереть с голоду и как-то поддержать нетрудоспособных родителей. Но даже это оказалось не самым страшным. Студенты, мобилизованные на коллективизацию, рассказали Аллилуевой о массовых расстрелах и высылке крестьян, о жестоком голоде на Украине, о тысячах осиротевших ребят, скитающихся по стране и живущих подаянием. Думая, что Сталин не знает всей правды о том, что творится в государстве, она рассказала ему и Енукидзе, что говорят в институте. Сталин уклонился от разговора на эти темы, упрекнув жену, что она «собирает троцкистские сплетни».

Между тем двое студентов, вернувшись с Украины, рассказали ей, что в районах, особенно тяжко поражённых голодом, отмечены случаи людоедства и что они лично принимали участие в аресте двоих братьев, у которых были найдены куски человеческого мяса, предназначенные для продажи. Аллилуева, поражённая ужасом, пересказала этот разговор Сталину и начальнику его личной охраны Паукеру.

Сталин решил положить конец враждебным вылазкам в своём собственном доме. Обрушившись на жену с матерной бранью, он заявил ей, что больше она в институт не вернётся, Паукеру он приказал разузнать, кто эти два студента, и арестовать их. Задание было нетрудным: тайные агенты Паукера, приставленные к Аллилуевой, были обязаны наблюдать, с кем она встречается в стенах института и о чём разговаривает. Из этого случая Сталин сделал общий «оргвывод»: он приказал ОГПУ и комиссии партийного контроля начать во всех институтах и техникумах свирепую чистку,

обращая особое внимание на тех студентов, кто был мобилизован на проведение коллективизации.

Аллилуева не посещала свой институт около двух месяцев и только благодаря вмешательству своего «ангела-хранителя» Енукидзе получила возможность закончить курс обучения.

Месяца через три после смерти Надежды Аллилуевой у Паукера собрались гости; зашла речь о покойной. Кто-то сказал, сожалея о её безвременной смерти, что она не пользовалась своим высоким положением и вообще была скромной и кроткой женщиной.

– Кроткой? – саркастически переспросил Паукер. – Значит, вы её не знали. Она была очень вспыльчива. Хотел бы я, чтоб вы посмотрели, как она вспыхнула однажды и крикнула ему прямо в лицо: «Мучитель ты, вот ты кто! Ты мучаешь собственного сына, мучаешь жену… ты весь народ замучил!»

Я слышал ещё о такой ссоре Аллилуевой со Сталиным. Летом 1931 года, накануне дня, намеченного для отъезда супругов на отдых на Кавказ, Сталин по какой-то причине обозлился и обрушился на жену со своей обычной площадной бранью. Следующий день она провела в хлопотах, связанных с отъездом. Появился Сталин, и они сели обедать. После обеда охрана отнесла в машину небольшой чемоданчик Сталина и его портфель. Остальные вещи уже заранее были доставлены прямо в сталинский поезд. Аллилуева взялась за коробку со шляпой и указала охранникам на чемоданы, которые собрала для себя. «Ты со мной не поедешь, – неожиданно заявил Сталин. – Останешься здесь!»

Сталин сел в машину рядом с Паукером и уехал. Аллилуева, поражённая, так и осталась стоять со шляпной коробкой в руках.

У неё, разумеется, не было ни малейшей возможности избавиться от деспота-мужа. Во всём государстве не

нашлось бы закона, который мог её защитить. Для неё это было даже не супружество, а, скорее, капкан, освободить из которого могла только смерть.

Тело Аллилуевой не было подвергнуто кремации. Её похоронили на кладбище, и это обстоятельство тоже вызвало понятное удивление: в Москве уже давно утвердилась традиция, согласно которой умерших партийцев полагалось кремировать. Если покойный был особенно важной персоной, урна с его прахом замуровывалась в древние кремлёвские стены. Прах сановников меньшего калибра покоился в стене крематория. Аллилуеву как жену великого вождя должны были, конечно, удостоить ниши в кремлёвской стене.

Однако Сталин возразил против кремации. Он приказал Ягоде организовать пышную похоронную процессию и погребение умершей на старинном привилегированном кладбище Новодевичьего монастыря, где были похоронены первая жена Петра Первого, его сестра Софья и многие представители русской знати.

Ягоду неприятно поразило то, что Сталин выразил желание пройти за катафалком весь путь от Красной площади до монастыря, то есть около семи километров. Отвечая за личную безопасность «хозяина» в течение двенадцати с лишним лет, Ягода знал, как он стремится избежать малейшего риска. Всегда окружённый личной охраной, Сталин, тем не менее, вечно придумывал добавочные, порой доходящие до смешного приёмы для ещё более надёжного обеспечения собственной безопасности. Став единовластным диктатором, он ни разу не рискнул пройтись по московским улицам, а когда собирался осмотреть какой-нибудь вновь построенный завод, вся заводская территория, по его приказу, освобождалась от рабочих и занималась войсками и служащими ОГПУ. Ягода знал, как попадало Паукеру, если Сталин, идя из своей кремлёвской

квартиры в рабочий кабинет, нечаянно встречался с кем-нибудь из кремлёвских служащих, хотя весь кремлёвский персонал состоял из коммунистов, проверенных и перепроверенных ОГПУ. Понятно, что Ягода не мог поверить своим ушам: Сталин хочет пешком следовать за катафалком по улицам Москвы!

Новость о том, что Аллилуеву похоронят на Новодевичьем, была опубликована за день до погребения. Многие улицы в центре Москвы узки и извилисты, а траурная процессия, как известно, движется медленно. Что стоит какому-нибудь террористу высмотреть из окна фигуру Сталина и бросить сверху бомбу или обстрелять его из пистолета, а то и винтовки? Докладывая Сталину по нескольку раз в день о ходе подготовки к похоронам, Ягода каждый раз делал попытки отговорить его от опасного предприятия и убедить, чтобы он прибыл непосредственно на кладбище в последний момент, в машине. Безуспешно. Сталин то ли решил показать народу, как он любил жену, и тем опровергнуть возможные невыгодные для него слухи, то ли его тревожила совесть – как-никак он стал причиной смерти матери своих детей.

Ягоде и Паукеру пришлось мобилизовать всю московскую милицию и срочно вытребовать в Москву тысячи чекистов из других городов. В каждом доме на пути следования траурной процессии был назначен комендант, обязанный загнать всех жильцов в дальние комнаты и запретить выходить оттуда. В каждом окне, выходящем на улицу, на каждом балконе торчал гепеушник. Тротуары заполнились публикой, состоящей из милиционеров, чекистов, бойцов войск ОГПУ и мобилизованных партийцев. Все боковые улицы вдоль намеченного маршрута с раннего утра пришлось перекрыть и очистить от прохожих.

Наконец, в три часа дня 11 ноября похоронная процессия в сопровождении конной милиции и частей ОГПУ двинулась с Красной площади. Сталин действительно шёл за катафалком, окружённый прочими «вождями» и их женами. Казалось бы, были приняты все меры, чтобы уберечь его от малейшей опасности. Тем не менее, его мужества хватило ненадолго. Минут через десять, дойдя до первой же встретившейся на пути площади, он вдвоём с Паукером отделился от процессии, сел в ожидавшую его машину, и кортеж автомобилей, в одном из которых был Сталин, промчался кружным путём к Новодевичьему монастырю. Там Сталин дождался прибытия похоронной процессии.

2

Как я уже упоминал, Павел Аллилуев последовал за сестрой, когда она вышла замуж за Сталина. В эти первые годы Сталин был нежен с молодой женой и относился к её брату, как к члену своей семьи. В его доме Павел познакомился с несколькими большевиками, мало тогда известными, но в дальнейшем занявшими основные посты в государстве. В их числе был Клим Ворошилов, будущий нарком обороны. Ворошилов хорошо относился к Павлу и нередко брал его с собой, отправляясь на войсковые маневры, авиационные и парашютные парады. Видимо, он хотел пробудить у Павла интерес к военной профессии, но тот предпочитал какое-нибудь более мирное занятие, мечтая сделаться инженером.

Я впервые встретил Павла Аллилуева в начале 1929 года. Дело происходило в Берлине. Оказывается, Ворошилов включил его в советскую торговую миссию, где он наблюдал за качеством поставок немецкого авиационного оборудования, заказанного наркоматом

обороны СССР. Павел Аллилуев был женат, и у него было двое маленьких детей. Его жена, дочь православного священника, работала в отделе кадров торговой миссии. Сам Аллилуев числился инженером и состоял в местной партийной ячейке. Среди огромной советской колонии в Берлине никто, кроме нескольких руководящих работников, не знал, что Аллилуев – родственник Сталина.

Как сотрудник госконтроля я имел задание наблюдать за всеми экспортными и импортными операциями, проводившимися торговой миссией, включая секретные военные закупки, делавшиеся в Германии. Поэтому Павел Аллилуев был подчинён мне по службе и мы проработали с ним рука об руку на протяжении двух с лишним лет.

Помню, когда он впервые зашёл ко мне в кабинет, я был поражён его сходством с сестрой – те же правильные черты лица, те же восточные глаза, с печальным выражением смотревшие на свет. Со временем я убедился, что и характером он во многом напоминает сестру – такой же порядочный, искренний и необычайно скромный. Хочу подчеркнуть ещё одно его свойство, так редко встречающееся среди советских чиновников: он никогда не применял оружие, если его противник был безоружен. Будучи шурином Сталина и другом Ворошилова, то есть сделавшись человеком очень влиятельным, он никогда не давал этого понять тем служащим миссии, кто из карьеристских побуждений или просто из-за скверного характера плёл против него интриги, не зная, с кем имеет дело.

Припоминаю, как некий инженер, подчинённый Аллилуеву и занимавшийся проверкой и приёмкой авиационных двигателей, изготовленных германской фирмой, направил руководству миссии докладную записку, где было сказано, что Аллилуев водит

подозрительную дружбу с немецкими инженерами и, подпав под их влияние, спустя рукава следит за проверкой авиационных двигателей, отправляемых в СССР. Информатор посчитал нужным добавить, что Аллилуев к тому же читает газеты, издаваемые русскими эмигрантами.

Руководитель торговой миссии показал эту бумагу Аллилуеву, заметив при этом, что он готов отослать кляузника в Москву и потребовать вообще его исключения из партии и удаления из аппарата Внешторга. Аллилуев попросил этого не делать. Он сказал, что человек, о котором идёт речь, хорошо разбирается в моторах и проверяет их очень добросовестно. Кроме того, он пообещал поговорить с ним с глазу на глаз и излечить его от интригантских наклонностей. Как видим, Аллилуев был слишком благородный человек, чтоб мстить слабому.

За два года совместной работы мы касались в разговорах очень многих тем, но лишь изредка говорили о Сталине. Дело в том, что Сталин уже тогда не слишком меня интересовал. Того, что я успел узнать о нём, было достаточно, чтобы на всю жизнь проникнуться отвращением к этой личности. Да и что нового мог рассказать о нём Павел? Он как-то упомянул о том, что Сталин, опьянев от водки, начинал распевать духовные гимны. В другой раз я услышал от Павла о таком эпизоде: как-то на сочинской вилле, выйдя из столовой с физиономией, искажённой гневом, Сталин швырнул на пол столовой нож и выкрикнул: «Даже в тюрьме мне давали нож острее!»

С Аллилуевым я расстался в 1931 году, так как меня перевели на работу в Москву. На протяжении последующих лет мне почти не приходилось встречаться с ним: то я был в Москве, а он за границей, то наоборот.

В 1936 году его назначили начальником политуправления бронетанковых войск. Его непосредственными начальниками сделались Ворошилов, начальник политуправления Красной армии Гамарник и маршал Тухачевский. Читателю известно, что на следующий год Сталин обвинил Тухачевского и Гамарника в измене и антиправительственном заговоре, и оба они погибли.

В конце января 1937 года, находясь в Испании, я получил от Аллилуева очень тёплое письмо. Он поздравлял меня с получением высшей советской награды – ордена Ленина. В письме оказался постскриптум очень странного содержания. Павел писал, что был бы рад возможности снова поработать со мной и что готов прибыть в Испанию, если я проявлю инициативу и попрошу Москву, чтобы его назначили сюда. Я не мог понять, почему именно мне нужно поднимать этот вопрос: ведь Павлу достаточно сказать о своём желании Ворошилову, и дело будет сделано. Поразмыслив, я решил, что постскриптум приписан Аллилуевым просто из вежливости: ему хотелось ещё раз выразить мне свою симпатию, изъявляя готовность снова работать вместе, он хотел ещё раз продемонстрировать свои дружеские чувства.

Осенью того же года, попав по делам службы в Париж, я решил осмотреть проходившую там международную выставку и, в частности, советский павильон. В павильоне я почувствовал, что кто-то обнял меня сзади за плечи. Обернулся – на меня смотрело улыбающееся лицо Павла Аллилуева.

– Что ты тут делаешь? – с удивлением спросил я, подразумевая под словом «тут», конечно, не выставку, а вообще Париж.

– Они меня послали работать на выставке, – ответил Павел с кривой усмешкой, называя какую-то

незначительную должность, занимаемую им в советском павильоне.

Я решил, что он шутит. Было невозможно поверить, что вчерашний комиссар всех бронетанковых сил Красной армии назначен на должность, которую мог бы занять любой беспартийный нашего парижского торгпредства. Тем более невероятно, чтобы такое случилось со сталинским родственником.

Вечер того дня был у меня занят: резидент НКВД во Франции и его помощник пригласили меня поужинать в дорогом ресторане на левом берегу Сены, вблизи площади Сен-Мишель. Я поспешно нацарапал Павлу на листке бумаги адрес ресторана и попросил его присоединиться.

В ресторане, к моему удивлению, обнаружилось, что ни резидент, ни его помощник с Павлом не знакомы. Я представил их друг другу. Обед уже кончался, когда Павлу понадобилось отлучиться на несколько минут. Воспользовавшись его отсутствием, резидент НКВД пригнулся к моему уху и прошептал: «Если б я знал, что вы его сюда приведёте, я бы вас предупредил… Мы имеем приказ Ежова держать его под наблюдением!»

Я опешил.

Выйдя с Павлом из ресторана, мы не торопясь прошлись по набережной Сены. Я спросил его, как же могло случиться, что его послали работать на выставку. «Очень просто, – с горечью ответил он. – Им требовалось отправить меня куда-нибудь подальше от Москвы». Он приостановился, испытующе поглядел на меня и спросил: «Ты обо мне ничего не слышал?»

Мы свернули в боковую улочку и сели за стол в углу скромного кафе.

– В последние годы произошли большие изменения… – начал Аллилуев.

Я молчал, ожидая, что за этим последует.

– Тебе, должно быть, известно, как умерла моя сестра… – и он нерешительно замолк. Я кивнул, ожидая продолжения.

– Ну, и с тех пор он перестал меня принимать.

Однажды Аллилуев, как обычно, приехал к Сталину на дачу. У ворот к нему вышел дежурный охранник и сказал: «Приказано никого сюда не пускать». На следующий день Павел позвонил в Кремль. Сталин говорил с ним обычным тоном и пригласил к себе на дачу в ближайшую субботу. Прибыв туда, Павел увидел, что идёт перестройка дачи, и Сталина там нет… Вскоре Павла по служебным делам откомандировали из Москвы. Когда через несколько месяцев он вернулся, к нему явился какой-то сотрудник Паукера и отобрал у него кремлёвский пропуск, якобы для того, чтобы продлить срок его действия. Пропуск так и не вернули.

– Мне стало ясно, – говорил Павел, – что Ягода и Паукер ему внушили: после того, что произошло с Надеждой, лучше, чтоб я держался от него подальше.

– О чём они там думают! – внезапно взорвался он. – Что я им, террорист, что ли? Идиоты! Даже тут они подглядывают за мной!

Мы проговорили большую часть ночи и расстались, когда уже начинало светать. В ближайшие дни мы условились встретиться снова. Но мне пришлось срочно вернуться в Испанию, и мы с ним больше не виделись.

Я понимал, что Аллилуеву угрожает большая опасность. Рано или поздно придёт день, когда Сталину станет невмоготу от мысли, что где-то неподалёку по улицам Москвы всё ещё бродит тот, кого он сделал своим врагом и чью сестру он свёл в могилу.

В 1939 году, проходя мимо газетного киоска, – это было уже в Америке – я заметил советскую газету, – то

ли «Известия», то ли «Правду». Купив газету, я тут же на улице начал её просматривать, и в глаза мне бросилась траурная рамка. Это был некролог, посвящённый Павлу Аллилуеву. Ещё не успев прочитать текст, я подумал: «Вот он его и доконал!» В некрологе «с глубокой скорбью» сообщалось, что комиссар бронетанковых войск Красной армии Аллилуев безвременно погиб «при исполнении служебных обязанностей». Под текстом стояли подписи Ворошилова и ещё нескольких военачальников. Подписи Сталина не было. Как в отношении Надежды Аллилуевой, так и теперь власти тщательно избегали подробностей…

Вышинский

Не зная закулисной стороны московских процессов, мировая общественность склонна была считать прокурора Вышинского одним из главных режиссеров этих спектаклей. Полагали, что этот человек оказал существенное влияние на судьбу подсудимых. В таком представлении нет ничего удивительного: ведь действительные организаторы процессов (Ягода, Ежов, Молчанов, Агранов, Заковский и прочие) всё время оставались в тени и именно Вышинскому было официально поручено выступать на «открытых» судебных процессах в качестве генерального обвинителя.

Читатель будет удивлён, если я скажу, что Вышинский сам ломал себе голову, пытаясь догадаться, какими чрезвычайными средствами НКВД удалось сокрушить, парализовать волю выдающихся ленинцев и заставить их оговаривать себя.

Одно было ясно Вышинскому: подсудимые невиновны. Как опытный прокурор, он видел, что их признания не подтверждены никакими объективными доказательствами вины. Кроме того, руководство НКВД сочло нужным раскрыть Вышинскому некоторые свои карты и указать ему на ряд опасных мест, которые он должен был старательно обходить на судебных заседаниях.

Вот, собственно, и всё, что было известно Вышинскому. Главные тайны следствия не были доступны и ему. Никто из руководителей НКВД не имел права сообщать ему об указаниях, получаемых от Сталина, о методах следствия и инквизиторских приёмах, испытанных на каждом из арестованных, или о переговорах, которые Сталин вёл с главными обвиняемыми. От Вышинского не только не зависела судьба подсудимых, – он не знал даже, какой приговор заранее заготовлен для каждого из них.

Многих за границей сбила с толку статья одной американской журналистки, пользующейся мировой известностью. Эта дама писала о Вышинском, как о чудовище, пославшем на смерть своих вчерашних друзей – Каменева, Бухарина и многих других. Но они никогда не были друзьями Вышинского. В дни Октября и гражданской войны они находились по разным сторонам баррикады. До 1920 года Вышинский был меньшевиком. Мне думается, многие из старых большевиков впервые услышали эту фамилию только в начале 30-х годов, когда Вышинский был назначен генеральным прокурором, а увидели его своими глазами не ранее 1935 года, когда их ввели под конвоем в зал заседаний военного трибунала, чтобы судить за участие в убийстве Кирова.

Руководство НКВД относилось к Вышинскому не то чтобы с недоверием, а скорее со снисходительностью – так, как влиятельные сталинские бюрократы с партбилетом в кармане привыкли относиться к беспартийным. Даже инструктируя его, с какой осторожностью он должен касаться некоторых скользких моментов обвинения, они ни разу не были с ним в полной мере откровенны.

У Вышинского были основания ненавидеть этих надменных хозяев положения. Он понимал, что ему придётся всячески лавировать на суде, маскируя их топорную работу, и своим красноречием прикрывать идиотские натяжки, имеющиеся в деле каждого обвиняемого. Понимал он и другое: если эти подтасовки как-нибудь обнаружатся на суде, то инквизиторы сделают козлом отпущения именно его, пришив ему в лучшем случае «попытку саботажа».

У руководителей НКВД в свою очередь были основания не любить Вышинского. Во-первых, они презирали его как бывшего узника «органов»: в архивах всё

ещё хранилось его старое дело, где он обвинялся в антисоветской деятельности. Во-вторых, их снедало чувство ревности – к нему было приковано внимание всего мира, следившего за ходом сенсационных процессов, а им, истинным творцам этих грандиозных спектаклей, как говорится «из ничего» состряпавшим чудовищный заговор и ценой невероятных усилий сумевшим сломать и приручить каждого из обвиняемых, – им суждено оставаться в тени?

Побывав когда-то в здании на Лубянке в качестве заключённого, Вышинский побаивался и этого здания, и работавших там людей. И хотя в советской иерархии он занимал куда более, высокое положение, чем, скажем, начальник Секретного политического управления НКВД Молчанов, он по первому вызову Молчанова являлся к нему с неизменной подхалимской улыбочкой на лице. Что же касается Ягоды – тот и вовсе удостоил Вышинского только одной встречи за всё время подготовки первого московского процесса.

Задание, полученное от НКВД, Вышинский исполнял с чрезвычайным старанием. На протяжении всех трёх процессов он всё время держался настороже, постоянно готовый парировать любой, даже самый слабый намёк подсудимых на их невиновность. Пользуясь поддержкой подсудимых, как бы соревнующихся друг с другом в самооговоре, Вышинский употреблял всевозможные трюки, дабы показать миру, что вина обвиняемых полностью доказана и никакие сомнения более не уместны. Одновременно он не упускал случая превозносить до небес «великого вождя и учителя», а в обвинительной речи неизменно требовал для всех подсудимых смертной казни.

Ему самому очень хотелось выжить – и в этом был главный секрет его рвения. Он пустил в ход все свои актерские способности, играл самозабвенно, ибо ставка

в его игре была высока. Зная, что перед ним на скамье подсудимых – невинные жертвы сталинского режима, что в ближайшие часы их ждёт расстрел в подвалах НКВД, он, казалось, испытывал искренне наслаждение, когда топтал остатки их человеческого достоинства, черня всё, что в их биографиях казалось ему наиболее ярким и возвышенным. Выходя далеко за рамки обвинительного заключения, он позволял себе заявлять что подсудимые «всю жизнь носили маски», что «под прикрытием громких фраз эти провокаторы служили не делу революции и пролетариата, а контрреволюции и буржуазии». Так поносил вождей Октября человек, который в октябрьские дни и на всём протяжении гражданской войны был врагом революции и республики Советов!

С садистическим наслаждением оскорбляя обречённых на смерть, он клеймил их позорными кличками – «шпионы и изменники», «зловонная куча человеческих отбросов», «звери в человеческом облике», «отвратительные негодяи»…

«Расстрелять их всех, как бешеных псов!» – требовал Вышинский. «Раздавить проклятую гадину!» – взывал он к судьям.

Нет, он не был похож на человека, исполняющего свои обязанности по принуждению. Он обрушивался на беззащитных сталинских узников с таким искренним удовольствием не только потому, что Сталину требовалось свести с ними счёты, но и потому, что сам был рад возможности посчитаться со старыми большевиками. Он знал, что, пока старая гвардия сохраняет в партии свой авторитет и пользуется правом голоса, таким, как Вышинский, суждено оставаться париями.

Говоря так, я основываюсь на своих собственных наблюдениях: мне пришлось работать с Вышинским в Верховном суде в те далекие времена, когда оба мы бы-

ли прокурорами по надзору и состояли в одной партийной ячейке.

Я приступил к работе в Верховном революционном трибунале, а затем в Верховном суде задолго до того, как там появился Вышинский. В то время членами Верховного суда состояли почти исключительно большевики из старой гвардии; самым выдающимся из них был Николай Крыленко, сподвижник Ленина, первый советский главковерх (командующий всеми вооружёнными силами). В состав Верховного суда входили также старый латышский революционер Отто Карклин, отбывший срок на царской каторге; бывший фабричный рабочий Николай Немцов, активный участник революции девятьсот пятого года, приговорённый царским судом к пожизненной ссылке в Сибирь; руководитель комиссии партийного контроля Арон Сольц, возглавлявший в Верховном суде юридическую коллегию; Александр Галкин, председатель кассационной коллегии, и ряд других старых большевиков, направленных сюда на работу, чтобы укрепить пролетарское влияние в советском правосудии.

Эти люди провели немалую часть жизни в царских тюрьмах, на каторге и в сибирской ссылке. Революцию и советскую власть они не считали источником каких-то благ для себя, не искали высоких постов и личных выгод. Они бедно одевались, хотя могли иметь любую одежду, какую только пожелают, и ограничивались скудным питанием, в то время как многие из них нуждались в специальной диете, чтобы поправить здоровье, пошатнувшееся в царских тюрьмах.

В 1923 году Вышинский появился в Верховном суде в качестве прокурора юридической коллегии. В нашей бесхитростной атмосфере, среди простых и скромных людей он чувствовал себя не в своей тарелке. Он был щеголеват, умел «подать себя», был мастером любезных

расшаркиваний, напоминая манерами царского офицера. На революционера он никак не был похож. Вышинский очень, старался завязать дружеские отношения со своим новым окружением, но не преуспел в этом.

Я занимал тогда должность помощника прокурора апелляционной коллегии Верховного суда. Все мы – прокуроры и судьи – раз в день сходились в «совещательную комнату» попить чайку. Часто за чашкой чая завязывались интересные разговоры. Но я заметил одну примечательную вещь: стоило войти сюда Вышинскому, как разговор немедленно затихал и кто-нибудь обязательно произносил стандартную фразу: «Ну, пора и за работу!»

Вышинский заметил это и перестал приходить на наши чаепития.

Хорошо помню, как однажды, когда мы все сидели в этой комнате, дверь приоткрылась и заглянул Вышинский. Все посмотрели в его сторону, но он не вошёл, небыстро притворил дверь.

– Я его терпеть не могу! – с гримасой неприязни сказал Галкин, председатель апелляционной комиссии.

– Почему? – спросил я.

– Меньшевик, – пояснил сидящий рядом Николай Немцов. – До двадцатого года всё раздумывал, признать ему советскую власть или нет.

Главная беда не в том, что он меньшевик, – возразил Галкин. – Много меньшевиков сейчас работает с нами, но этот… он просто гнусный карьерист!

Никто из старых большевиков не был груб с Вышинским, никто его открыто не третировал. Если он о чём-то спрашивал, ему вежливо отвечали. Но никто первым не заговаривал с ним. Вышинский был достаточно умён, чтобы понимать, что старые партийцы смотрят на него как на чужака, и начал их избегать. Он

привык целыми днями сидеть в одиночестве в своей комнате. В то время было очень мало судебных слушаний и Вышинского в обществе других служащих можно было увидеть разве что на собраниях партийной ячейки и на заседаниях Верховного суда, где обсуждались правовые вопросы или разбирались протесты, внесённые прокуратурой по поводу судебных решений. Но я не помню ни одного случая, когда бы Вышинский выступил на партсобрании или пленарном заседании.

Старые партийцы из Верховного суда, безусловно, не были мелочными людьми. Они легко примирились с тем, что Вышинский был когда-то меньшевиком, и готовы были даже смотреть сквозь пальцы на его враждебную нам активность в решающие дни Октября. Невозможно было простить ему другое: после того как революция победила, он все три года, пока шла гражданская война, всё ещё выжидал и, только убедившись, что советская власть действительно выживет, подал заявление в большевистскую партию.

Как-то – дело происходило в 1923 году – я выступал с докладом перед членами московского городского суда и коллегии защитников. Темой доклада были последние изменения в уголовном кодексе. Присутствовал и Вышинский, и мы вышли из здания Мосгорсуда вместе. Он сказал мне, что до революции намеревался посвятить себя юриспруденции и по окончании курса был оставлен при университете, но вмешалось царское министерство просвещения и лишило его возможности сделать учёную карьеру. Тут Вышинский сменил тему и заговорил о революции 1905 года. Оказывается, его тогда посадили на два года за участие в организации забастовок рабочих. Помню, это произвело на меня впечатление, и я даже подумал, что, быть может, Вышинский не такой уж плохой человек. Потом выяснилось, что эту историю Вышинский рассказывал и

другим членам Верховного суда. Он явно стремился завоевать наше расположение и прорвать изоляцию, в которой очутился.

В конце того же 1923 года в стране была объявлена чистка партии. Нашу партийную ячейку «чистил» Хамовнический райком, и мы явились туда в полном составе. Райкомовская комиссия партийного контроля, непосредственно занимавшаяся чисткой, состояла из видных большевиков, а возглавлял её член Центральной комиссии партконтроля. Каждый из нас написал свою биографию и приложил к ней поручительства двух других членов партии. Сдал автобиографию и Вышинский. В ней он указал, что при царском режиме отсидел один год в тюрьме за участие в забастовке.

Комиссия партконтроля вызывала нас по одному и, задав несколько вопросов, возвращала предварительно отобранный партбилет. Для старых большевиков из Верховного суда с этой процедурой не было связано никаких проблем, да и вопросов им практически не задавали. Для них это была просто мимолётная встреча со старыми товарищами, заседавшими в комиссии. Некоторые из нас, более молодые, пройдя комиссию, не спешили уйти, а оставались ждать, пока не закончится рассмотрение всех дел. Наступила очередь Вышинского. Для него это было серьёзным испытанием: во время предыдущей чистки, в 1921 году, его исключили из партии и восстановили с большим скрипом лишь год спустя.

Прошло полчаса, ещё час, ещё один, ещё полчаса – а Вышинский всё не появлялся. Кто-то уже устал ждать и ушёл. Наконец Вышинский выскочил, возбуждённый и красный как рак. Выяснилось, что комиссия не вернула ему партбилет. Это означало исключение из партии. Вышинский не рассказал нам, что происходило в течение этих трёх часов за закрытой дверью. Он ушёл в

дальний конец вестибюля и там в волнении ходил взад и вперёд.

Когда, направляясь к выходу, мы поравнялись с ним, Вышинский возбуждённо воскликнул:

– Это возмутительное издевательство! Я этого так не оставлю. Пойду в ЦК и швырну им в физиономию свой партбилет!

Было не очень ясно, как он собирается швырнуть партбилет, который у него отобрали. Мы посоветовали ему не совершать опрометчивых действий, а обсудить всё с Крыленко или Сольцем. Сольц, председатель юридической коллегии Верховного суда, одновременно возглавлял Центральную комиссию партийного контроля и руководил чисткой партии по всей стране.

Уже отойдя несколько кварталов, мы услышали сзади торопливые шаги. Нас снова догонял Вышинский. Переведя дыхание, он горячо попросил нас никому не передавать его слов насчёт ЦК. Мы обещали.

На следующий день встревоженная девушка-секретарша вошла в зал заседаний и сказала, что в кабинете Сольца истерически рыдает Вышинский. Перепуганный старик выскочил из кабинета, чтобы принести ему воды.

Арон Сольц стал революционером ещё в конце прошлого столетия. Несмотря на то, что он подвергался бесчисленным арестам и провёл много лет в царских тюрьмах и ссылке, душа его не ожесточилась. Он оставался добродушным, отзывчивым человеком.

Как член партии Сольц был обязан неуклонно придерживаться в своей деятельности принципа «политической целесообразности», которым сталинское Политбюро оправдывало всё происходящее. Однако до седых волос Сольц так и не научился спокойно смотреть на несправедливость. Только в последние годы жизни ему пришлось под давлением всеобъемлющего террора

повторить сталинскую клевету насчёт Троцкого. Впрочем, под конец у него хватило мужества сказать Сталину правду в глаза, что его и погубило.

Друзья Сольца называли его «совесть партии», в частности, потому, что он возглавлял Центральную комиссию партконтроля (ЦКК) – высший в стране партийный суд. На протяжении нескольких лет одним из моих партийных поручений было докладывать этой комиссии о членах партии, находившихся под следствием, и меня сплошь и рядом восхищал человеческий, неказённый подход Сольца к этим делам.

Именно Сольц, с его добрым и отзывчивым характером, спас Вышинского. Он поставил вопрос на обсуждение в ЦК, после чего Вышинскому был возвращён партбилет. Несколько дней спустя Сольц зашёл в нашу «совещательную комнату», где мы как раз пили чай. Увидев Сольца, его старый друг Галкин немедленно накинулся на него за такое заступничество. Сольц виновато улыбнулся: «Чего вы от него хотите? Товарищ работает, старается… Дайте ему показать себя. Большевиками не рождаются, большевиками становятся. Не оправдает доверия – мы всегда сможем его исключить».

Из-за растущего потока жалоб, поступавших отовсюду в апелляционную коллегию, я оказался так занят, что почти перестал бывать на заседаниях юридической коллегии. Как-то раз я заглянул туда – Вышинский как раз в это время делал доклад на тему «Обвинение в политическом процессе». Его выступлению нельзя было отказать в логике, притом он отлично владел русским языком и умело пользовался риторическими приёмами. Председательствующий Сольц согласно кивал, не скрывая одобрения.

Мне не понравилась тогда склонность Вышинского переигрывать, его преувеличенный пафос. Но в общем

становилось уже ясно, что это – один из способнейших и блестяще подготовленных прокуроров. Мне начало казаться, что наши партийцы несправедливы к Вышинскому; оставалось надеяться, что со временем они изменят отношение к нему.

Однако вскоре произошел небольшой, но характерный эпизод, показавший, что интуиция их не подвела. Зимой 1923 года прокурор республики Николай Крыленко вызвал нескольких работников, в том числе Вышинского и меня, и сообщил, что Политбюро поручило ему разобраться в материалах секретного расследования деятельности советских полпредств за рубежом. Ввиду огромного объёма материалов Крыленко с согласия Политбюро привлекает к данной работе нас. Нам придётся вместе с ним изучить их и доложить ЦК свои соображения. Работать будем у него дома, по вечерам, так как он обещал эти документы никуда не передавать.

В тот день мы так и не ушли из роскошного крыленковского особняка, владельцем которого до революции был князь Гагарин. Предстояло изучить тридцать или сорок папок, и Крыленко распределил их между нами. Он пояснил при этом, что нарком государственного контроля Аванесов, проводивший расследование, обнаружил в советских представительствах за рубежом скандальные факты коррупции и растранжиривания секретных денежных фондов и что некоторые служащие подозреваются в сотрудничестве с иностранными разведками.

Крыленко попросил нас излагать свои выводы на больших листах бумаги в таком порядке: слева, под фамилией обвиняемого лица, мы должны кратко сформулировать суть обвинения и указать, достаточно ли имеется доказательств, чтобы возбудить судебное преследование. Справа помечалось, куда следует

передать дело: в уголовный суд, в ЦКК, либо решить его в дисциплинарном порядке, а также каким должно быть наказание.

Документы оказались куда менее интересными, чем можно было ожидать. Они содержали в основном бездоказательные обвинения, которые возводили друг на друга не ладившие между собой бюрократы, подогреваемые своими вздорными супругами. Лишь незначительная часть бумаг свидетельствовала о фактах растраты, моральной распущенности и других вещах, способных нанести ущерб престижу советской страны. Случаев государственной измены мы не обнаружили вовсе.

Все вечера Крыленко работал вместе с нами. Время от времени он подходил к кому-нибудь из нас и смотрел, как подвигается работа. Заглядывая через плечо Вышинского, он заинтересовался делом одного советского дипломата, обвинявшегося в чрезмерно роскошном образе жизни, сближении с женой одного из подчинённых и других грехах. Вышинский предлагал исключить его из партии, предать суду и приговорить к трём годам заключения.

– Как это так – три года? – недовольным тоном спросил Крыленко. – Вы тут написали, что он дискредитировал советское государство в глазах Запада. За такое дело полагается расстрел!

Вышинский сконфузился и покраснел.

– Вначале я тоже хотел предложить расстрел, – подхалимским тоном забормотал он, – но…

Тут он запнулся, пытаясь подыскать объяснение. Не найдя его и окончательно растерявшись, он промямлил, что признаёт свою ошибку. Крыленко насмешливо уставился на него, – похоже, что замешательство Вышинского доставляло ему удовольствие.

– Да здесь вовсе нет преступления – неожиданно произнёс он и, показывая пальцем на запись Вышинского об исключении этого дипломата из партии и предании его суду, заключил:

– Пишите: закрыть дело!

Я не смотрел на Вышинского, не желая смущать его ещё больше. Но Вышинский вдруг разразился угодливым смехом:

– Как вы меня разыграли, Николай Васильевич! Вы меня сбили с толку… Когда вы предложили дать ему расстрел, я совсем растерялся. Я подумал, как же это я так промахнулся и предложил только три года! А теперь… ха-ха-ха…

Смех Вышинского звучал фальшиво и вызывал чувство гадливости.

Я уже говорил, что многие считали Вышинского карьеристом, пролезшим в партию, но я никогда не ожидал, что он окажется таким беспринципным и лишённым всякой морали, что выразит готовность идти на всё – оправдать человека, расстрелять его, – как будет угодно начальству.

Положение самого Вышинского было шатким. Пока в стране пользовались влиянием старые большевики, дамоклов меч партийных чисток постоянно висел над ним. Вот почему разгром оппозиции и преследование этих людей, сопровождавшее этот разгром, были Вышинскому на руку.

Сталину требовалось, чтобы во всех советских организациях были люди, готовые обвинить старых большевиков в антиленинской политике и помочь избавиться от них. Когда в результате такой клеветы ЦК увольнял их с ключевых постов, клеветники в порядке вознаграждения назначались на освободившиеся места.

Неудивительно, что в этой ситуации Вышинский смог сделаться «бдительным оком» партии и ему было

поручено следить за тем, чтобы Верховный суд не отклонился от ленинского пути. Теперь ему не приходилось дрожать перед каждой чисткой: напротив, из партии исключались те, кто подозревался в сочувствии преследуемым ленинским соратникам. Вышинского в этом подозревать не приходилось. Его назначили генеральным прокурором, и он стал активно насаждать «верных членов партии» в судебные органы и прокуратуру. Естественно, там не оказалось места таким, как Николай Крыленко – создатель советского законодательства и вообще всей советской юридической системы. Он был объявлен политически ненадёжным, хотя и не принадлежал ни к какой оппозиции. А Вышинский, годами раболепствовавший перед Крыленко, получил задание выступить на совещании юридических работников и осудить крыленковскую политику в области юстиции как «антиленинскую и буржуазную».

Со своего высокого прокурорского поста Вышинский с удовольствием наблюдал, как старые большевики один за другим убираются из Верховного суда. Крыленко исчез в начале 1938 года. Одновременно исчезла его бывшая жена Елена Розмирович, работавшая до революции секретарём Заграничного бюро ЦК и личным секретарём Ленина.

В июле 1936 года в коридоре здания НКВД я лицом к лицу столкнулся с Галкиным. Его сопровождал тюремный конвой. По-видимому, Галкин был так потрясён случившимся, что не узнал меня, хотя мы встретились глазами.

Я немедленно зашёл в кабинет Бермана и попросил его помочь Галкину, чем только можно. Берман сообщил мне, что Галкин арестован на основании поступившего в НКВД доноса, будто он осуждает ЦК партии за роспуск Общества старых большевиков. Донос поступил от Вышинского.

Назначая Вышинского государственным обвинителем на московских процессах, Сталин ещё раз показал, какой смысл он вкладывает в понятие «нужный человек на нужном месте». В целом государстве не нашлось бы, наверное, другого человека, кто с таким рвением готов был бы сводить счёты со старыми большевиками.

Сталинские утехи

1

Казалось, после того как Сталин «ликвидировал» Енукидзе, своего единственного и совершенно бескорыстного, друга, ни одно из многочисленных сталинских преступлений уже не сможет нас удивить. Тем не менее, думаю, читателям будет небезынтересно узнать подробности ещё одного убийства. Речь идёт об убийстве Паукера, начальника кремлёвской охраны, которого связывали со Сталиным особо доверительные отношения.

Паукер был по национальности венгром. Во время первой мировой войны его призвали в австро-венгерскую армию, и в 1916 году он попал в русский плен. Когда началась революция, Паукер не вернулся домой – у него не было там семьи, на родине его не ждали ни богатство, ни карьера. До армии он был парикмахером в будапештском театре оперетты и одновременно прислуживал кому-то из известных певцов. Он и сам мечтал о славе и любил хвастать, будто артисты оперетты находили у него «замечательный драматический талант» и наперебой приглашали выступать на сцене в качестве статиста.

Паукер, по-видимому, не преувеличивал. У него действительно были способности актера-комика, надо было видеть, как искусно подражал он манерам начальства и с каким артистизмом рассказывал анекдоты. Но мне казалось, что истинным его призванием было искусство клоунады и что на этом поприще он мог бы добиться славы, которой так неуёмно жаждал. Чтобы дорисовать портрет Паукера, можно добавить, что губы его были неправдоподобно красными и чувственными, а тёмные горячие глаза смотрели на кремлёвских тузов и вообще на большое начальство с выражением ис-

креннего восхищения и собачьей преданности. Эти в общем-то довольно скромные качества позволили Паукеру не пропасть в бурных водах российской революции.

Паукер вступил в большевистскую партию и был направлен на работу в ВЧК. Человек малообразованный и политически индифферентный, он получил там должность рядового оперативника и занимался арестами и обысками. На этой работе у него было мало шансов попасться на глаза кому-либо из высокого начальства и выдвинуться наверх. Сообразив это, он решил воспользоваться навыками, приобретёнными ещё на родине, и вскоре стал парикмахером и личным ординарцем Менжинского, заместителя начальника ВЧК. Тот был сыном крупного царского чиновника и сумел оценить проворного слугу. С тех пор Паукер всегда находился при нём. Даже когда Менжинский в 1925 году отправился на лечение в Германию, он прихватил с собой Паукера.

Постепенно влияние Паукера начало ощущаться в ОГПУ всеми. Менжинский назначил его начальником Оперативного управления, а после смерти Ленина уволил тогдашнего начальника кремлёвской охраны Абрама Беленького и сделал Паукера ответственным за безопасность Сталина и других членов Политбюро.

Паукер пришёлся Сталину по вкусу. Сталин не любил окружать себя людьми преданными революционным идеалам, – таких он считал ненадёжными и опасными. Человек, служащий высокой идее, следует за тем или иным политическим лидером только до тех пор, пока видит в нём проводника этой идеи. Но такой человек может сделаться и врагом своего вчерашнего кумира, если увидит, что тот предал высокие идеалы и изменил им из личной корысти. В этом смысле Паукер был абсолютно надёжен: по своей натуре он был так

далёк от идеализма, что даже по ошибке не мог бы оказаться в политической оппозиции. Его не интересовало ничто, кроме собственной карьеры. А карьера – это тот товар, которым Сталин мог обеспечить его в любом количестве.

Личная охрана Ленина состояла из двух человек. После того как его ранила Каплан, число телохранителей было увеличено вдвое. Когда же к власти пришёл Сталин, он создал для себя охрану, насчитывающую несколько тысяч секретных сотрудников, не считая специальных воинских подразделений, которые постоянно находились поблизости в состоянии полной боевой готовности. Такую могучую охрану организовал для Сталина Паукер. Только дорогу от Кремля до сталинской загородной резиденции, длиной тридцать пять километров, охраняли более трёх тысяч агентов и автомобильные патрули, к услугам которых была сложная система сигналов и полевых телефонов.

Эта многочисленная агентура была рассредоточена вдоль всего сталинского маршрута, в подъездах домов, в кустарнике, за деревьями. Достаточно было постороннему автомобилю задержаться хоть на минуту – и его немедленно окружали агенты, проверявшие документы водителя, пассажиров и цель поездки. Когда же сталинская машина вылетала из кремлёвских ворот – тут уж и вовсе весь тридцатипятикилометровый маршрут объявлялся как бы на военном положении. Рядом со Сталиным в машине всегда сидел Паукер в форме армейского командира.

Абрам Беленький был всего лишь начальником охраны Ленина и других членов правительства. Он почтительно соблюдал служебную дистанцию между собой и охраняемыми лицами. А Паукер сумел занять такое положение, что членам Политбюро приходилось считать его чуть ли не равным себе. Он сосредоточил в

своих руках обеспечение их продуктами питания, одеждой, машинами, дачами; он не только удовлетворял их желания, но к тому же знал, как разжечь их. Для членов Политбюро он поставлял из-за рубежа последние модели автомобилей, породистых собак, редкие вина и радиоприёмники, для их жён приобретал в Париже платья, шёлковые ткани, духи и множество других вещиц, столь приятных женскому сердцу, их детям покупал дорогие игрушки. Паукер сделался чем-то вроде Деда Мороза, с той разницей, что он развозил подарки круглый год. Неудивительно, что он был любимцем жён и детей всех членов Политбюро.

Вскоре обитатели Кремля перестали смотреть на Паукера лишь как на безотказного поставщика удовольствий. С ним начали считаться как с человеком, который знаком с личной жизнью кремлёвской верхушки и знает множество интимных деталей, способных подорвать престиж «вождей международного пролетариата». Например, Ворошилов, постоянно охраняемый людьми Паукера, не смог утаить от него, что его третья по счёту вилла, которая только что возникла по мановению паукеровской волшебной палочки, предназначена для восходящей звезды балета С. А связь другого члена Политбюро с женой некоего инженера, которого тот отправил в соловецкий концлагерь? А покушение супруги очень влиятельного члена Политбюро на самоубийство? А бурные семейные скандалы, происходящие на глазах молодчиков Паукера, охраняющих эти семьи? Как бы ни пыжились члены Политбюро, как бы ни изображали из себя суперменов, им было известно, чего всё это стоит в глазах Паукера.

Со Сталиным Паукер был даже более фамильярен, чем с прочими кремлёвскими сановниками. Он изучил сталинские вкусы и научился угадывать его малейшие желания. Заметив, что Сталин поглощает огромные

количества грубоватой русской селёдки, Паукер начал заказывать из-за границы более изысканные сорта. Некоторые из них – так называемые «габельбиссен», немецкого посола – привели Сталина в восторг. Под эту закуску хорошо идёт русская водка; Паукер и тут не ударил в грязь лицом – он сделался постоянным собутыльником вождя. Приметив, что Сталин обожает непристойные шутки и антисемитские анекдоты, он позаботился о том, чтобы всегда иметь для него наготове их свежий запас. Как шут и рассказчик анекдотов он был неподражаем. Сталин, по природе угрюмый и не расположенный к смеху, мог смеяться до упаду.

Паукер подсмотрел, как внимательно Сталин вглядывается в своё отражение в зеркале, поправляя прическу, как он любовно приглаживает усы, – и заключил, что хозяин далеко не равнодушен к собственной внешности и совсем не отличается в этом от обычных смертных. И Паукер взял на себя заботу о сталинском гардеробе. Он проявил в этой области редкую изобретательность. Подметив, что Сталин, желая казаться повыше ростом, предпочитает обувь на высоких каблуках, Паукер решил нарастить ему ещё несколько сантиметров. Он изобрел для Сталина сапоги специального покроя с необычно высокими каблуками, частично спрятанными в задник. Натянув эти сапоги и став перед зеркалом, Сталин не скрыл удовольствия. Более того, он пошёл ещё дальше и велел Паукеру класть ему под ноги, когда он стоит на мавзолее, небольшой деревянный брусок. В результате таких ухищрений многие, видевшие Сталина издали или на газетных фотографиях, считали, что он среднего роста. В действительности его рост составлял лишь около 163 сантиметров. Чтобы поддержать иллюзию, Паукер заказал для Сталина длинную шинель, доходившую до уровня каблуков.

Как бывший парикмахер Паукер взялся брить Сталина. До этого Сталин всегда выглядел плохо выбритым. Дело в том, что его лицо было покрыто оспинами и безопасная бритва, которой он привык пользоваться, оставляла мелкие волосяные островки, делавшие сталинскую физиономию ещё более рябой. Не решаясь довериться бритве парикмахера, Сталин, видимо, примирился с этим недостатком. Однако Паукеру он полностью доверял. Таким образом, Паукер оказался первым человеком с бритвенным лезвием в руке, кому вождь отважился подставить своё горло.

Абсолютно всё, что имело отношение к Сталину и его семье, проходило через руки Паукера. Без его ведома ни один кусок пищи не мог появиться на столе вождя. Без одобрения Паукера ни один человек не мог быть допущен в квартиру Сталина или на его загородную дачу. Паукер не имел права уйти от своих обязанностей ни на минуту, и только в полдень, доставив Сталина в его кремлёвский кабинет, он должен был мчаться в Оперативное управление ОГПУ доложить Менжинскому и Ягоде, как прошли сутки, и поделиться с приятелями последними кремлёвскими новостями и сплетнями.

Паукер был очень разговорчив. Когда бы и где бы я ни натолкнулся на него, он неизменно с упоением рассказывал собеседникам, что происходит там, на заветном Олимпе.

– Я из-за него поседел! – жаловался как-то Паукер своему заместителю Воловичу. – Это большое несчастье – иметь такого сына!

– А я и не знал, что у тебя есть сын, – сказал я, удивлённый его словами.

– Да нет, я говорю о старшем сыне хозяина, – пояснил он. – За ним по пятам ходят четверо агентов, но

это нисколько не помогает. Кончится тем, что хозяин велит его посадить!

Паукер говорил о Якове Джугашвили, сыне Сталина от первого брака. Сталин ненавидел сына, тот платил ему тем же.

Выполняя самые деликатные сталинские поручения, Паукер постепенно стал едва ли не членом его семьи. Правда, Надежда Аллилуева относилась к нему холодно и сдержанно. Зато дети Сталина, Василий и Светлана, души в нём не чаяли.

В 1932 или 1933 году произошел небольшой инцидент, в результате которого открылось тайное сталинское пристрастие и в то же время особо деликатный характер некоторых поручений, исполняемых Паукером. Дело было так. В Москву приехал из Праги чехословацкий резидент НКВД Смирнов (Глинский). Выслушав его служебный доклад, Слуцкий попросил его зайти к Паукеру, у которого имеется какое-то поручение, связанное с Чехословакией. Паукер предупредил Смирнова, что разговор должен остаться строго между ними. Он буквально ошарашил своего собеседника, вынув из сейфа и раскрыв перед ним альбом порнографических рисунков. Видя изумление Смирнова, Паукер сказал, что эти рисунки выполнены известным дореволюционным художником С. У русских эмигрантов, проживающих в Чехословакии, должны найтись другие рисунки подобного рода, выполненные тем же художником. Необходимо скупить по возможности все такие произведения С., но обязательно через посредников и таким образом, чтобы никто не смог догадаться, что они предназначаются для советского посольства. «Денег на это не жалейте», – добавил Паукер.

Смирнов, выросший в семье ссыльных революционеров, вступивший в партию ещё в царское время, был

неприятно поражён тем, что Паукер позволяет себе обращаться к нему с таким заданием, и отказался его выполнять. Крайне возмущённый, он рассказал об этом эпизоде нескольким друзьям. Однако Слуцкий быстро погасил его негодование, предупредив ещё раз, чтобы Смирнов держал язык за зубами: рисунки приобретаются для самого хозяина! В тот же день Смирнов был вызван к заместителю наркома внутренних дел Агранову, который с нажимом повторил тот же совет. Значительно позднее старый приятель Ягоды Александр Шанин, чьим заместителем я был назначен в 1936 году, рассказал мне, что Паукер скупает для Сталина подобные произведения во многих странах Запада и Востока.

За верную службу Сталин щедро вознаграждал своего незаменимого помощника. Он подарил ему две машины – лимузин «кадиллак» и открытый «линкольн» – и наградил его целыми шестью орденами, в том числе орденом Ленина. Но существование Паукера трудно было назвать счастливым. Он часто плакался друзьям, что у него нет личной жизни, и вообще он никогда не располагает собой. Что верно, то верно. Когда бы он ни понадобился Сталину – а это могло случиться в любое время суток – он должен был оказаться на месте или во всяком случае где-то поблизости. Что бы ни происходило в Москве – железнодорожная катастрофа или пожар, внезапная смерть члена правительства или оползень при прокладке туннеля метро – люди Паукера должны были первыми прибыть на место происшествия, а от самого Паукера требовалось немедленно и точно со всеми подробностями доложить Сталину, что случилось.

Однако жизнь, которую вёл Паукер, имела, на его взгляд, и светлые стороны. Существовали удовольствия, которые только он мог позволить себе. Так, у него было особое пристрастие к военной форме, забавлявшее

его приятелей и вызывающее немало насмешек. Во время военных парадов на Красной площади Паукер выглядел опереточным персонажем. Затянутый в корсет, скрывавший его круглое брюшко, он стоял на ступеньках мавзолея в ядовито-синих галифе и сияющих сапогах из лакированной кожи, наподобие тех, какие в царское время носили полицейские.

Когда же разряженный Паукер катил по Москве в своём открытом автомобиле, беспрерывно сигналя особым клаксоном, милиционеры перекрывали движение и застывали навытяжку. Виновник переполоха, преисполненный сознанием важности своей персоны, пытался придать своей незначительной физиономии суровое выражение и грозно таращил глаза.

Ещё одной слабостью Паукера был театр. Когда удавалось выкроить свободный часок, он появлялся в своей персональной ложе в оперном театре, а в антракте проходил за кулисы, встречаемый аплодисментами актеров. Должно быть, только в такие минуты Паукеру могло прийти в голову, каким в сущности фантастичным оказался его жизненный путь – от незаметного парикмахера будапештской оперетты до высокопоставленного сталинского сановника, чьей благосклонности домогаются все московские театральные знаменитости.

Как-то вечером, сидя с Паукером за бутылкой, Сталин получил от наркома иностранных дел сообщение, что Чан Кай-ши начал массовые аресты китайских коммунистов и что китайские власти произвели обыск советского посольства в Пекине (дело происходило в 1927 году). Эти акции были вызваны близорукой политикой, проводившейся Сталиным в отношении Китая, и его лицемерным заигрыванием с Гоминьданом. Сталин был взбешён «двурушничеством» Чан Кай-ши и приказал Паукеру арестовать всех китайцев, проживающих в Москве.

– А как быть с китайским посольством? – поинтересовался Паукер.

– За исключением посольских, забирай любого китайца! – уточнил Сталин. – К утру все до одного московские китайцы должны сидеть!

Паукер пустился исполнять приказ. Он мобилизовал всех сотрудников ОГПУ, кого только мог найти, и трудился ночь напролёт, хватая любого китайца, попадавшегося в руки, начиная с владельцев прачечных и кончая старым профессором, преподававшим китайский язык в Военной академии.

Наутро Паукер предстал перед Сталиным с докладом о том, что приказ выполнен. За завтраком он веселил Сталина, пересказывая ему смешные эпизоды, которыми сопровождалась операция. При этом он комично изображал испуг захваченных врасплох китайцев, имитируя их забавное произношение.

Спустя несколько часов, когда утомившийся Паукер спал в своём кабинете в ОГПУ, личный секретарь Сталина поднял его с постели телефонным звонком и сообщил, что «хозяин» немедленно хочет его видеть. При этом секретарь доверительно предупредил, что хозяин не в духе.

Как оказалось, один из руководителей Коминтерна, если не ошибаюсь, Пятницкий, позвонил в сталинский секретариат и спросил, известно ли Сталину, что этой ночью арестованы все китайцы, работающие в Коминтерне, и студенты китайской национальности, обучающиеся в Коммунистическом университете трудящихся Востока.

– Значит, ты всех китайцев арестовал? – спросил Сталин, едва Паукер вошёл к нему в кабинет.

Подозревая, что случилось неладное, и не догадываясь, в чём дело, Паукер ответил, что старался не упустить ни одного.

– Ты в этом уверен? – зловеще допытывался Сталин. Паукер подтвердил: да, уверен.

– А этих из Коминтерна… и китайских студентов? Ты тоже забрал?

– Ну конечно, Иосиф Виссарионович! – воскликнул Паукер. – Я забирал их прямо из постели…

Не успел Паукер окончить фразу, как почувствовал сильный удар по лицу.

– Дурак! – выкрикнул Сталин. – Отпусти их немедленно!

Паукер выскочил как ошпаренный.

После этого инцидента Сталину пришлось задуматься, как быть дальше с Паукером. Как правило, Сталин обращался с личной охраной вежливо и корректно, зная, что обиженный охранник, имеющий доступ к его персоне, может представлять большую опасность. Паукер как начальник всей охраны опасен вдвойне. Стоит ли полагаться на него по-прежнему после всего, что произошло? Рассуждая логически, Паукера надо бы сменить. Но Сталин так привык к его услугам и его обществу, так к нему расположен, что расстаться с ним будет очень трудно. Конечно, если Паукер остаётся на своей должности, то первым делом необходимо загладить обиду, нанесенную ему этой неожиданной пощечиной.

Освободив всех китайских коммунистов, Паукер возвратился в свой кабинет в ОГПУ и просидел там до ночи, не зная, ехать ли ему в Кремль, чтобы проводить Сталина на загородную дачу, или ждать, пока Сталин сам его вызовет. Похоже, что его положение сильно пошатнулось.

В час ночи на столе у Паукера зазвонил кремлёвский телефон. В трубке мягко журчал необычно любезный голос Сталина: «хозяин» удивлялся, почему

Паукер не заезжает за ним. Счастливый Паукер полетел в Кремль.

Секретари Сталина встретили его игривыми улыбками и громкими поздравлениями. «В чём дело?» – «Узнаете у хозяина!»

Сталин подал вошедшему Паукеру коробочку, в которой лежал орден Красного знамени, и, пожимая ему руку, вручил также копию указа ЦИКа, гласившего, что Паукер награждается «за образцовое выполнение важного задания». Работники ОГПУ злословили по этому поводу, что Паукеру полагалось бы носить орден не на груди, а на пострадавшей щеке.

2

Паукер был очень экспансивным человеком, и ему трудно бывало удержаться и не рассказать приятелям тот или иной эпизод из жизни «хозяина». Мне казалось, что Паукеру, вероятно, даже не приходит в голову, что вещи, которые он рассказывает, дискредитируют его патрона. Он так слепо обожал Сталина, так уверовал в его неограниченную власть, что даже не сознавал, как выглядят сталинские поступки, если подходить к ним с обычными человеческими мерками.

Истории, которые Паукер рассказывал про Сталина, можно разделить на три группы. Во-первых, истории о его жестокости, под рубрикой «О, когда он выйдет из себя!..»; во-вторых, о его политических интригах – «А как он обвёл их вокруг пальца!..»; в-третьих, о том, как он ценит Паукера, – «Отличная работа, Паукер!..»

Мне довелось слышать множество таких историй; перескажу пару наиболее характерных.

В первой половине июня 1932 года Сталин в сопровождении Паукера и многочисленной личной

охраны прибыл на отдых в свою резиденцию на Черноморском побережье, недалеко от Сочи. Паукер оставался при нём несколько дней, а затем был послан в Гагры осмотреть новую виллу, выстроенную по приказу Берия в качестве подарка Сталину от Грузинской республики. Там Паукеру пришлось заночевать. По возвращении в Сочи он узнал об эпизоде, который произошёл в его отсутствие и был им зачислен в разряд историй «О, когда он выйдет из себя!»

– Этой ночью Сталин проснулся оттого, что где-то поблизости выла собака. Встав с постели и подойдя к окну, он спросил: «Что за собака там воет, спать не дает?» Охранники, дежурившие снаружи, отвечали, что это собака с соседней дачи. «Разыщите её и пристрелите, она мешает мне спать!» – грубо приказал Сталин и захлопнул окно. Наутро он встал в хорошем настроении и принялся за завтрак, но за столом вспомнил о злополучной собаке и спросил старшего охранника:

– Пристрелили собаку?

– Собака ушла, Иосиф Виссарионович, – ответил охранник.

– Вы пристрелили собаку? – повторил Сталин.

– Собаку увели в Гагры, – сказал охранник и пояснил, что это была овчарка, специально обученная водить слепого. Её привёз из Германии сотрудник наркомата земледелия, и теперь она служит проводником его слепому отцу, старому большевику. Старик с собакой уже удалены отсюда.

Сталин рвал и метал. «Сейчас же верните их сюда!» – крикнул он в бешенстве. Испуганный охранник тут же связался по телефону с пограничным постом ОГПУ по дороге на Гагры, и старик с собакой были доставлены в сталинскую резиденцию. Сталин, которому доложили об этом, вышел в сад. Неподалёку дей-

ствительно стоял слепой старик, держа собаку на поводке.

– Приказы даются, чтобы их выполнять, – заметил Сталин. – Отведите собаку подальше и пристрелите её!..

Охранники хотели тут же забрать собаку, но она ощетинилась и зарычала. Им пришлось потребовать, чтобы старик пошёл с ними, – тогда пошла и она. Сталин не уходил в дом, пока из дальнего конца сада не донеслись два выстрела.

Другой характерный эпизод, также неоднократно повторяемый Паукером со всеми подробностями, относится всё к той же серии «О, когда он выйдет из себя!»

Однажды, проводя отпуск в Сочи, Сталин совершил небольшую поездку вдоль побережья на юг, в направлении Батуми, и на несколько дней задержался в одной из правительственных резиденций, где грузинские, власти устроили в его честь банкет. Среди многочисленных национальных блюд было подано какое-то особенное – мелкая рыбёшка, которую грузинские повара варят, бросая живьём в кипящее масло. Как знаток грузинской кухни Сталин похвалил это блюдо, но тут же со вздохом заметил, что вот такие-то и такие сорта рыб, приготовленные так-то и так, несравненно вкуснее.

Паукер, радуясь, что представляется ещё один случай угодить Сталину, немедля заявил, что завтра же это блюдо будет на столе. Однако один из гостей, завзятый рыболов, возразил, что едва ли это получится, потому что этот вид рыб в это время года скрывается на дне озёр и не показывается на поверхности.

– Чекисты должны уметь достать всё и вся, даже со дна, – поощрительно откликнулся Сталин.

Эта фраза прозвучала как вызов профессиональной смекалке чекистов, и ближайшей ночью группа сталинских охранников с несколькими грузинами-проводниками отправилась в горы, где было озеро, кишащее рыбой. Они волокли с собой ящик ручных гранат. На рассвете соседнюю с озером деревню разбудил грохот взрывов. Жители деревни бросились к озеру, бывшему единственным источником их пропитания, и увидели, что его поверхность покрыта тысячами мёртвых и оглушённых рыб. Люди Паукера с лодок и с берега вглядывались в воду, высматривая нужную им рыбёшку.

Население деревни запротестовало и потребовало, чтобы грабители убирались подобру-поздорову. Но чекисты, не обращая на это внимания, продолжали глушить рыбу гранатами. Чтобы защитить свою собственность, деревенские жители набросились на незваных гостей, рассыпавшихся вдоль берега. Некоторые сбегали в деревню и вернулись с вилами и охотничьими ружьями. Впрочем, до перестрелки дело не дошло. После короткой стычки, в которой с деревенской стороны участвовали в основном женщины, чекисты отправились восвояси.

Вернувшиеся на виллу охранники выглядели, довольно жалко: у одного было расцарапано лицо, у другого заплыл глаз, кому-то оторвали рукав. В корзине с рыбой нашлась всего пара рыбок того сорта, какой нравился Сталину…

Узнав о том, что произошло, Сталин приказал грузинским «органам» арестовать всех жителей деревни, за исключением детей и дряхлых стариков, и сослать их в Казахстан за «антиправительственный мятеж».

– Мы им покажем, чьё это озеро! – злорадно произнёс «отец народов».

3

В подготовке московских процессов Паукер не участвовал. Охрана Сталина и других членов Политбюро считалась гораздо более важным делом. Но, полагая, что сотрудники НКВД, причастные к процессам, получат ордена, Паукер решил внести и свою лепту и таким образом тоже заслужить орден. Он вызвался лично произвести арест некоторых бывших оппозиционеров.

Летом 1937 года, когда большинство руководителей НКВД уже было арестовано, в парижском кафе я случайно встретил одного тайного агента Иностранного управления. Это был некий Г. – венгр по национальности, старый приятель Паукера. Я считал, что он только что прибыл из Москвы и хотел узнать последние новости о тамошних арестах. Присел к его столику.

– Как там Паукер, с ним всё в порядке? – осведомился я в шутку, будучи абсолютно уверен, что аресты никак не могут коснуться Паукера.

– Да как вы можете! – оскорбился венгр, возмущённый до глубины души. – Паукер для Сталина значит больше, чем вы думаете. Он Сталину ближе, чем друг… ближе брата!..

Г., кстати, рассказал мне о таком эпизоде. 20 декабря 1936 года, в годовщину основания ВЧК-ОГПУ-НКВД Сталин устроил для руководителей этого ведомства небольшой банкет, пригласив на него Ежова, Фриновского, Паукера и нескольких других чекистов. Когда присутствующие основательно выпили, Паукер показал Сталину импровизированное представление. Поддерживаемый под руки двумя коллегами, игравшими роль тюремных охранников, Паукер изображал Зиновьева, которого ведут в подвал расстреливать. «Зиновьев» беспомощно висел на плечах «охранников» и, волоча ноги, жалобно скулил, испуганно поводя

глазами. Посередине комнаты «Зиновьев» упал на колени и, обхватив руками сапог одного из «охранников», в ужасе завопил: «Пожалуйста… ради Бога, товарищ… вызовите Иосифа Виссарионовича!»

Сталин следил за ходом представления, заливаясь смехом. Гости, видя, как ему нравится эта сцена, наперебой требовали, чтобы Паукер повторил её. Паукер подчинился. На этот раз Сталин смеялся так неистово, что согнулся, хватаясь за живот. А когда Паукер ввёл в своё представление новый эпизод и, вместо того чтобы падать на колени, выпрямился, простёр руки к потолку и закричал: «Услышь меня, Израиль, наш Бог есть Бог единый!» – Сталин не мог больше выдержать и, захлёбываясь смехом, начал делать Паукеру знаки прекратить представление.

В июле 1937 года к нам за границу дошли слухи, будто Паукер снят с должности начальника сталинской охраны. В конце года я узнал, что сменено руководство всей охраны Кремля. Тогда мне ещё представлялось, что Сталин пощадит Паукера, который не только пришёлся ему по нраву, но и успешно оберегал его жизнь целых пятнадцать лет. Однако и на этот раз не стоило ждать от Сталина проявления человеческих чувств. Когда в марте 1938 года, давая показания на третьем московском процессе, Ягода сказал, что Паукер был немецким шпионом, я понял, что Паукера уже нет в живых.

Оглавление

Александр Михайлович Орлов

Тайная история сталинских преступлений

16+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Корректор *М. Глаголева*
Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16